

ISSN 0321-0677

Воля

В
1990

Воля

В

1990

Во II полугодии 1990 года журнал «Волга» предполагает опубликовать:

Лев Яковлев. РОМАНТИЧНЫЙ НАШ ИМПЕРАТОР (страницы хроники царствования Павла I).

Борис Зайцев. ЗАРЯ. Первая часть автобиографического повествования замечательного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881—1971).

Реймонд Муди. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ. Перевод с английского священника А. И. Борисова. Книга основана на 150 собранных автором воспоминаниях людей, переживших состояние клинической смерти, но возвращённых к жизни.

Аркадий Белинков. СДАЧА И ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА. ЮРИЙ ОЛЕША. Фрагменты из книги известного литературоведа, эмигрировавшего из СССР в 1968 году.

Юрий Чуйков. ХЛЕБНИКОВЫ В КАЗАНИ. Новые архивные материалы о жизни и творчестве Велимира Хлебникова.

Н. Валентинов. ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ. Н. В. Валентинов-Вольский, в молодости революционер, познакомился с Лениным в январе 1904 года в эмиграции. Автор, покинувший родину в конце 20-х годов, смог нарисовать образ Ленина — человека и политика.

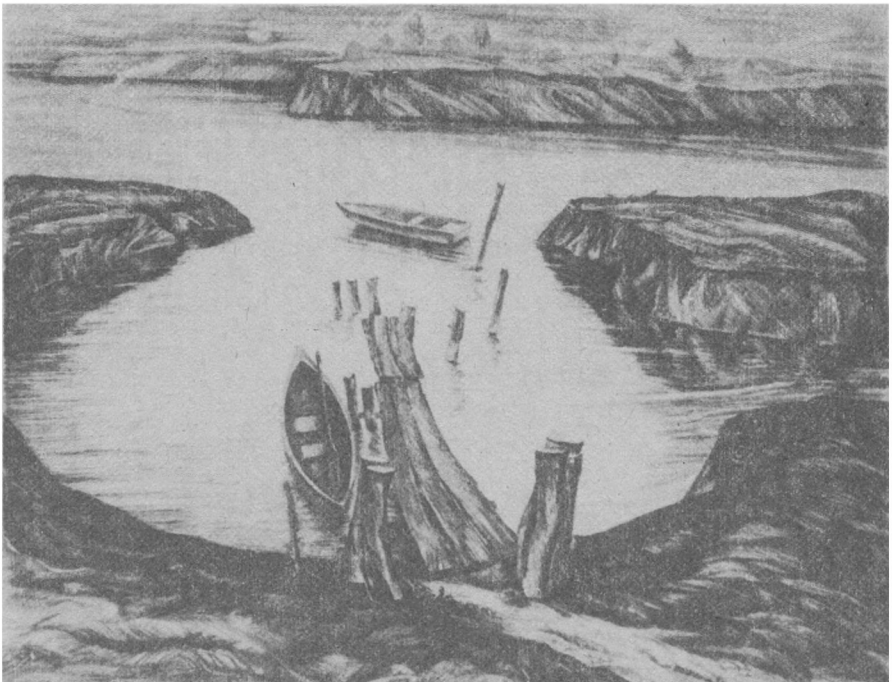


Волга

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И САРАТОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ. ПРИВОЛЖСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



В

1990

Содержание

Елена Крюкова. СТИХИ	3
Юрий Красавин. ОНИ НАСТУПАЮТ. Повесть	8
Фёдор Сухов. СТИХИ	41
Сергей Бардин. ГАЙКА ЛЕВОРЕЗЬБОВАЯ, КЛИН СТАЛЬНОЙ. Рассказ	47
Борис Селезнёв. СТИХИ	56
Алан Черчесов. ДОЖДЬ — ОДИНОКИЙ ПРОХОЖИЙ. Повесть	57
Александр Егоров. СТИХИ	82
Ирвин Шоу. ЛЮСИ КРАУН. Роман. Перевод с английского А. Герасимова	87

Наши публикации

ИЗ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ (Г. П. Федотов о Пушкине). Вступительная заметка, публикация и примечания С. Кибальника	121
Ольга Седакова. О ПОГИБШЕМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПОКОЛЕНИИ — ПАМЯТИ ЛЕНИ ГУБАНОВА	135
Леонид Губанов. СТИХИ. Публикация В. Д. Алейникова	147

Публицистика

Виктор Шавырин. ЖИЗНЬ БЕСКОНЕЧНАЯ	153
--	-----

Среди книг и журналов

С. Боровиков.— Как мы пишем. Н. Рыжков, А. Агеев.— Геннадий Русаков. Оклик. Книга стихов. В. Бирюлин.— Б. Дедюхин. В братстве без обиды. Роман. А. Бондарев.— Е. Морозов. Когда мир тесен. Повести. Э. Бабкин.— Б. Скворцов. Иду на зелёный. Повести. Е. Елина.— В. Ф. Переверзев. У истоков русского реализма	165
---	-----

Искусство

Геннадий Блинов. ЭХО ЯЗЫЧЕСКИХ ВРЕМЕН	175
--	-----

Волжский архив

Владимир Сударкин. СИНЕНЬКИЕ	183
М. Полубояров. ПИЯНЗА И ПЕНЗА	187
Е. Шнайштейн. «СТОИТ С УЛЫБКОЙ НЕДВИЖНОЙ...»	188
М. Гойгел-Сокол. В ПОИСКАХ «СЛОВА...»	189
О НАШИХ АВТОРАХ	192

Елена Крюкова

Перед литургией

Ну что, ударь в лицо мне, крупка,
Режь, вьюга,— жаден твой металл!
Не выдержать ни плоти хрупкой,
Ни духу — он уже устал.

Но постою — пусть не Орантой,
Пусть нищенкой — у церкви той,
Где льются световые кванты
Из тьмы великой и пустой.

Расстрелом меченные стены.
Собаки подзаборной вой.
И перерезанные вены
Той веры, тёплой и живой.

Да, мы не жили, не дышали —
Молчанье уст. Закрытые глаз.
И бабка в крупнозвёздной шали,
Как бы соля, крестила нас —

У звонкой церковки надмирной,
Что выжила в родном аду —
Между торговкой с рожей жирной
И комиссаром, как в бреду,

В ноябрьском ежегодном гуде,
Меж красных флагов, чёрных крыл,
Меж мата и мольбы о чуде,
Когда на чудо нету сил.

Белое Поле

Снег сечёт мою белую спину.
Я иду.
По равнине иду.
Я не верю, что Землю покину.
Я шепчу это в древнем бреду.

И взглядом цепким всё считает
Мы рождены чтоб есть и пить
Всё ж ей копейки не хватает
Чтоб золотую снедь купить

А рядом — пляшут у киоска
Газеты рвут из грубых рук
Ах перестройка переноска
И перекося и перестук
Переработка перегрузка
Лети дави дыми спеши
Идёт усушка и утруска
Больной безбожием души
Качалась просмолённой лодкой
Но где-то рёбра дали течь
И нету водки и селёдки
Чтобы веселье уберечь

Что вырублено топором
Пером весёлым не напишешь
Страна ты сумасшедший дом
Ты криков собственных не слышишь

Праздник Покрова

Это бедное тело должны схоронить.
Комья мёрзлые — кинуть со стуком...
Это знание я знала. Про то, что я жить
Не престану. Про новую муку...

Странно сверху глядеть на рыдающих вас.
Слёзы ветер со щёк вам сдувает!
...Сколько раз погребали меня... Сколько раз...
А я — вот она. Вот я — живая.

На кортеж неутешный я сверху смотрю.
Вижу — курит могильщик увечный.
Слышу — колокол бьёт поперёк декабрю
О любви вознесённой и вечной.

Вижу — чрево земли. Мех во вьюжной пыли.
Кровь атласа. Вместителище ямы...
Вижу — люди стоят, что со мною пришли
В день буранный проститься упрямо.

И, живая смеясь,
из высот я кричу:
— О родные! Не плачьте по телу!
Закопают! А душу зажгут, как свечу,
Потому что я так захотела!

И хотя онемела навеки, хотя
Бессловесна, приравнена зверю,
Хриплым пламенем в маковках сосен свистя,
Вот теперь-то в Бога поверю!

Потому что Он дунет с небес на меня,
Оживляя для воли и силы,
И промолвит:
— Живи воплощеньем огня —
Им брюхата, его ты носила!

И народ, что близ ямы столпился, скуля,
Вдруг увидит лежащий отвесно
Яркий огненный шар! И зажжётся земля
От моей колесницы небесной!

Милый Боже, спасибо!
Да только за что?!
Я же грешница, грешница, грешни...—

...Только мама рыдает в осеннем пальто,
Ибо холоден ветер нездешний.



Юрий Красавин

Они наступают

ПОВЕСТЬ

1

В сквозных осинниках коровы разгребали багряную листву ногами, чтоб добраться до травки, поникшей и пожухлой; стылой сыростью, а то и морозцем дышал ветер, веявший над унылыми полями; куда ни кинь взгляд — всюду печальный, озяблый вид: поле, озеро, деревня... Такая наступила пора — канун октября; белые мухи вот-вот полетят, а пастух Семён Размахаяев всё ещё выгонял стадо погастись. Он знал, что в Вяхиреве скот вторую неделю стоит по дворам, и в Макеевке тоже, и в Глинниках, и в Лопарёве, и в Сенцах; знал и то, что никакой дополнительной платы за продление пастьбы он не получит, но ему было жаль коров, которым предстояла такая долгая зимовка.

Да и себя было жаль: в эту ли пору сидеть дома! На воле так отраден шорох листвы под ногами, сырый и тревожный голос последнего зяблика в безмолвном перелеске, нечаянные находки вроде крепкого боровичка или холмашка со рдяной брусникой, — а впрочем, причина не в этом. Что-то растворено было в эту пору в воздухе, над деревней его, над озером, над окрестными полями и лесами — какая-то властная печаль звала и манила; хотелось ходить неспешно и думать бог знает о чём.

Семён не тяготился, даже если шёл затяжной дождь; надвинет низко капюшон тяжёлого, набрякшего водой плаща, встанет под ёлку и стоит неподвижно, будто статуя воина в плащ-палатке над братской могилой в Глинниках. Ровный шорох дождя, звучное шёлканье редких капель, проникавших сквозь крону шатровой ели, редкий жалобный писк лесной птицы странно завораживали. Одно только было не в лад: в чистом осеннем воздухе гораздо яснее, чем летом, был слышен неумолчный рокот моторов в той стороне, где строили дорогу на Вяхирево. Там же, возле дороги, в сосновом бору черпали и черпали из карьера песок — Семён различал, как зло рычит экскаватор, то замолкая, то ярясь.

Дорога будет — это хорошо. Но пока что песчаная да глинистая насыпь безобразила там поле, изуродовала Панютин ручей, ради неё вырубили ровненький ельничек, а он вырос бы в такой дружный лес!.. И те огромные камни возле ручья, каждый в рост человека, уже не стояли кружком-хороводом привычно и знакомо, как раньше, — их спихнули с холма в низину, нагромоздили беспорядочной грудой. А камни, между прочим, с какими-то знаками и поставлены были в неведомые стародавние времена не зря. Семён пытался заступиться за них, но кто его слушает!

Он не любил теперь гонять стадо в ту сторону и спешил отдалиться настолько, чтоб не слышать рокота и рёва моторов, только тогда душа его обретала желанное состояние. Коровы двигались сонливо, траву щипали нехотя, то-

нительно им было и грустно, а вот домой возвращались охотно. «Подышите свежим воздухом,— говорил им пастух,— настоитесь ещё в неволе-то».

Он собирался со дня на день прекратить пастьбу, но всё отодвигал этот срок: вот ещё денёк, вот ещё... Наконец вчера заявил дояркам: «Всё, нынче последний день». А сегодня утром погода выдалась вёдреная, лучезарная, и он решил прогулять скотину ещё раз.

Сразу же за деревней стадо вступило в мелколесье; осиннички и березнячки с редкими шатровыми елями перемежались полянами — пастбище, привычное стаду. Ночью на землю опустился холодный морозец. На палой листве тут и там сохранилась тонкая изморозь, трава, покрытая ею, была ломка; от солнечных лучей на них проступали длинные полосы и обширные пятна проталин.

Рокот от строящейся дороги нынче забивали два трактора, поднимавшие зябь по Хлыновскому лугу. Вчера они начали работу, а сегодня уж заканчивали. Коровы прошли по краю вспаханного, а Семён остановился здесь в досаде; опять вздрали большой клин луговины — поле год за годом продвигалось к озеру, наступая на береговой луг с редкими деревьями. Пастух посмотрел из-под руки: кто пашет? Наверняка Валера Сторожков. В прошлом году ругал его: «Куда ж ты, собака, залезаешь! Тут же озеро рядом! Как я коров пасту буду?» А нынче он, вишь, назло... И вот ведь что: на этом вздорном лугу всё равно ничего не вырастет, а на ж поди, загадили и несколько молодых деревьев задавили, погубили. Отсюда до озера полсотни шагов; дай волю — борозды спустят к воде. Надо было вчера постеречь это место.

Семён в досаде без надобности хлопнул кнутом: коровы и без того шли бодрым шагом, как на прогулке, травы не щипали. Хотелось поскорее отдалиться от этого места, чтоб не слышать тракторов; лучше всего загородиться лесом.

Прошли мелколесье, дальше двигались лесной опушкой; на тёмной тяжёлой зелени елей лёгкие солнечные краски осин и берёз были особенно яркие. За полем знакомый перелесок из одних лиственных молодых деревьев и в пасмурный-то день казался освещённым солнцем, а нынче и вовсе...

Только было наполнилась душа Семёна хорошим чувством — услышал в отдалении, впереди, стук топоров и напряжённый визг мотопилы. То есть по мере приближения к тому месту звуки становились всё явственнее; послышались треск и шум падающего дерева, глухой удар его о землю; потом второго и третьего...

«Да что это! — возмутился Семён, ускоряя шаги.— Кто безобразничает-то?»

Деревья тут располагались нечасто — это были столетние ели с толстыми сучьями до самой земли. Иногда они объединялись, образуя своими кронами единый шатёр, под которым будто выметено — муравейники тут и там, а уж ихние трудолюбивые жители всё вокруг подметали-подчищали. Семён проломился сквозь такую чашу и даже похолодел: не порубщик повалил воровски два-три дерева — на такого управу можно живо найти, но целая бригада мужиков — шестеро! — вела наступление на лес. Семён сразу сообразил: тут государственные люди с государственным заданием, а это значит — дело серьёзное. Они как раз, уморившись, сели покурить и поглядывали в его сторону. Люди нездешние, Семёну незнакомые,— им что ни прикажут, они выполнят, лишь бы зарплата шла. Раздолбаи, одним словом. Семён перелез через огромную поверженную ель, постоял, оглядывая её от комля до макушки. От жалости не совладал с собой, спросил резковато:

— Что творим, умные головы?

Ему не ответили; он повторил вопрос и снял с плеча кнут, словно собираясь хлестнуть.

— Просеку ведём,— объяснили ему умные головы.— Для ЛЭП-200, от атомной станции.

Час от часу не легче. Куда она пойдёт, ихняя просека?

— Там же озеро!

— Да хоть бы и море, нам-то что!

— Забирайте сюда, левее, левее!

— Вот когда будешь нашим командиром, а не коровьим, тогда распоряжайся,— сказали ему.— Тогда что ни прикажешь, всё исполним, только деньги плати.

Семён мысленно прикинул расстояние до озера, соотнёс с направлением просеки и немного утешился: нет, она пройдёт мимо и даже не меньше чем в километре.

— Кто из вас вот эту ель повалил? — спросил пастух.

— Я,— гордо сказал самый бойкий с мотопилой.

Это был довольно тщедушный человек, молодой ещё, лет тридцати, но этак как бы помятый и оттого казавшийся старше своих лет. Ишь, голову держит немного набок, словно прислушиваясь к чему-то,— не больной ли? Странно было сознавать, что именно он, не шибко-то крепкий, несильный, повалил такое могучее дерево.

— Если тебе нравится эта ёлка, давай договариваться,— сказал кривошей.

— Насчёт чего?

— Ставишь поллитру на пенёк, и ёлка твоя.

— Поллитру — это пива, что ли? — подзудел Семён, меряя глазами бойкого мужичка: вот собака, продаёт Размахаяеву, можно сказать, его же собственный лес.

— Ты что, командир! Мы, кроме как водку, ничего не пьём — здоровье не позволяет.

Они встали, собираясь продолжить свою работу.

— Ладно, командир, сойдёмся на пузыре одеколону,— продолжал приставать кривошей.— Ставишь на каждый пенёк по пузырю, и всё это будет твоё... Если строиться не желаешь, на дрова пойдут! Ну что, по рукам?

Семён, не слушая его, отошёл. Не по себе было и от того, что увидел, и от того, что услышал.

А и в самом деле, если разобраться-то, сильно ли он отличается от этих мужиков?

Он завернул стадо и погнал его к деревне. Яркий осенний день потускнел.

«Просеку прорубят... будто дырку в стене! — думал он, сердясь, и кнутом громко хлопал, подгоняя отстающих коров.— Сквозняк устроят... И никак их не остановишь! Нет прав у меня. В доме своём есть, а на озере или вот здесь, в лесу, я уже и не хозяин».

Неуютно было на душе Семёна, будто обидели его кровно и незаслуженно или не оправдалась дорогая надежда.

«Скорей бы зима, что ли...»

Пригнав стадо в деревню, он, не мешкая, заглянул домой, взял заступ и отправился в лес походкой человека, который одержим одним стремлением и ни на что не согласен отвлекаться.

Если бы чуть попозднее кто-то пошёл следом, то он мог бы увидеть Семёна Размахаяева в Хлыновском логу и, пожалуй, удивился бы: по краю недавно вспаханного поля пастух копал ровненькой чередой ямы, потом приносил из лесу молодые ёлочки и сажал их.

Семён выкапывал их вместе с большим пластом дерновины и земли, боясь повредить корешки, потом, пытая от усилий, тащил на поле, заботливо опускал в ямку, обминал ногами... Надо было видеть в эту минуту его лицо: на нём отражалось глубокое удовлетворение. Но некому было смотреть: вокруг безлюдье. Сиро кругом в эту пору!

К вечеру, когда ёлочки выстроились в несколько рядов, отбирая у вспа-

ханного поля потерянную ранее площадь, Семён и вовсе был доволен. Однако же устал, да и сумерки уже наступали. Он возвратился домой походкой хорошо поработавшего человека.

Ночь, однако, спал беспокойно, бредило сознание, что и в следующий день бригада государственных работников будет прорубать широкую просеку; даже снилось, будто она, та просека, уже упёрлась в озеро и в его собственный дом, будто ствол ружья в грудь, и встали по берегам высоковольтные опоры, повисли над водой тяжёлые гудящие провода. И ещё вспомнилась дорога — она тоже норвила упереться в озеро, чтоб засыпать его песком да глиной, чтоб опрокинуть и Семёново жильё, и самого Семёна... Но жило в душе его некое утешающее чувство, и он, проснувшись, сознавал: что-то было хорошее в минувшем дне.

«Ага! Это как я деревья сажал...»

Не о стаде думал пастух Семён Размахаяев, сажая деревья и страдая душой,— об озере.

2

Озеро было не то чтобы большое, но и не сказать, чтобы маленькое. В тихую погоду его можно переплыть в самом широком месте запросто, только какая в том нужда? Если уж что понадобится в той стороне, то проще берегом пройти. Конечно, ради интереса или удовольствия можно переплыть. Ради интереса-то чего не сделаешь!

А вот хоть и невелико озеро, даже лодок на нём никогда не держали, но поднимется ветер — ого! — волна качает берега.

Так Семён Размахаяев говорил: волна, мол, качает берега. Он даже любил повторять это присловье к месту и не к месту, будто оно остроумно бог весть как. И в самом деле, в нём и напевность, и картинность, и ещё что-то, какой-то весёлый, чудесный смысл. Разве не так?

Иногда это ему действительно казалось — что берега покачиваются. Стоило заплывать на срединный островок — там молодые дубки растут, родничок бьёт, дивный камень лежит — как раз в форме кресла, то есть почти круглый, будто ком теста приготовлен для стряпни да и оставлен так, окаменел; в нём такая выемка — удобно в ней сидеть, глядя на деревню и поля за нею; за полями — перелески, они смыкаются и по обеим сторонам деревни подступают к озеру; и так они по всему берегу — будто стада на водопой подходят: впереди овечки-кусты, за ними большие рогатые деревья; а между ними свободные лужайки, пригодные и для косьбы, и для выпаса.

Красивое озеро... Другого такого во всём мире нет. Семён Размахаяев по всему миру не ездывал, но был убеждён сущей очевидностью: нету! Ну разве что, может быть, где-то ещё два-три, за какими-нибудь высокими горами, да ведь и они обтоптаны людьми, обижены и унижены. А это — вот оно, нетронутое, целенькое, чистое, будто незамутнённое голубое око Земли, смотрит в небо доверчиво и ясно.

Семён смотрел на своё озеро, со всей неопровержимой очевидностью сознавал: вот последнее, что остаётся пока нетронутым. Если его погубят — всё, ничего не останется на всей Земле, освящённого чистотой и красотой.

Между тем накатывающимся валом, несущим смерть, лежало, охраняя Семёна, это царь-озеро, царственное не величиной своей, а чистотой и красотой. Слава богу, что пока на него по-серьёзному никто не покушался. Хотя, как сказать...

Летом Размахай любил заплывать на срединный островок. Вот как усядешься там да раздумаешься, глядя на водную гладь, тут и почувствуешь, будто заколыхается она, и от этого колыханья едва-едва, чуть заметно приподнимутся берег и домишки на берегу, опустятся снова...

Деревня видна с острова — ничто её не загораживает; почему-то она

всякий раз напоминала Семёну старушку в полуотрешённом уже от мирской жизни состоянии: вот-вот помрёт, но ещё держится. Дома старенькие, сарай с просевшими крышами, раскоряки-вётлы... Имя у деревни — Архиполовка. Назвали так потому будто бы, что в какие-то очень давние времена ловили в окрестных лесах беглого мужика Архипа, по прозвищу Размахай, а он долго скрывался в этих безлюдных тогда краях, добывая пропитание себе тем, что ловил рыбу, собирал мёд диких пчёл, ставил капканы на кабана, силки на птицу. Потом будто бы девку украл где-то, срубил дом на берегу озера, деляночку леса выжег и распахал, детишек настругал, вырастил, сыновей переженил, дочери женихов себе приманили... Когда настигли его, чтобы обложить налогом, — уже целая деревенька стоит, вся сплошь из Размахаевых.

Ловкий Архип положил начало деревне многолюдной: не всегда-то она была такой, как ныне, знавала и лучшие времена. Достаточно сказать, что перед войной тут был колхоз и в нём то ли четыре, то ли пять бригад — это уже не меньше полутора ста человек работоспособных. Почти половина — Размахаевы. А теперь вот разъехались по белу свету потомки ловкого Архипа, остался здесь один Семён. И дома архиполовские поумирали — много ли осталось-то! А ведь были тут раньше и школа, и изба-читальня, и родильный дом, и даже церковь — она стояла обочь деревни, на Весёлой Горке.

Теперь в Архиполовке ничего примечательного нет: колхозная контора сгорела, школу перевезли в Вяхирево, избу-читальню разобрали на дрова, деревянную церковку тоже снесли — всё это случилось давно, и остался десяток стареющих домов. Прошлым летом был одиннадцатый домишко, да повалился — не рухнул с треском и грохотом, а вот именно повалился, то есть осел бесшумно набок, даже пыльца старческого праха поднялась над ним облачком. Это очень похоже на то, как у грибов, — есть такие, дождевики называются, белые, будто сладкие, — в старости превращаются они в «мышинные бани», пыхают лёгким дымком... Кстати, верно ли, что мыши в них моются? Или всё это выдумки? Но каждая выдумка опирается на правду, как на фундамент. Ведь любят же воробьи в пыли купаться, небось и мышам нужно что-то вроде того. Некоторые баньки из дождевичков совсем маленькие — должно быть, для мышат.

«Конечно, — размышлял Семён, — если б какие-нибудь москвичи побывали здесь да увидели собственными глазами наше озеро — тут же нетронутый уголок земли! — сразу же и цену хорошую дали бы за любой дом, и дороги не пугались, и про тёплое море навеки забыли. А так — живут, ни черта не знают. Не знают, а всё равно живут...»

Скоро ещё одно жильё опустеет: пока живёт в нём Валера Сторожок с молодой женой и тещей да с четырёхлетним Володькой. Собираются они переехать в Вяхирево, то есть на центральную усадьбу; деревня та стоит на семи ветрах — понастроены посреди поля две улицы коттеджей, и ни реки, ни ручья, ни тем более озера поблизости нет, только лужи. Ну, Валере Сторожкову лишь бы мастерские рядом, лишь бы вонь стояла машинная да гарь бензиновая.

Чёрт ли принёс его в Архиполовку! Да не чёрт, а Танька Бадеева заманила. После училища бухгалтерского уехала куда-то, вернулась через год с пузом и родила здесь. Ну, виноватый отыскался: в армии отслужил, приехал, женился на ней и Володьку за своего признал. Парнишечко-то растёт хороший, и Валера этот — парень деловой, технику любит, но... люди добрые, во что превратился бадеевский дом за три года, пока живёт в нём этот раздолбай! Земля вокруг него изгваздана тракторными гусеницами, истискана полозьями тракторных саней, раздавлена тракторными колёсами, дерновина изъедена пролитой тут и там соляжкой, испятнана мазутом; лежат вокруг дома ржавые колёса от неведомо каких машин, стоит дыбом прицепная тележка, заросла крапивой облезлая сеялка. Ветла-страдалица под окном захомутана ободьями,

мотками проволоки, висят на ней старые вёдра из-под солярки — вся она, та ветла, встопорщена, взъерошена, кора ободрана, корни из земли торчат: будто пытали её, беднягу, да и распнули на всеобщее посмешище. Глядеть больно...

Вот совсем недавно был у них примерно такой разговор:

— Как посреди отхожего места живёшь,— сказал своему врагу Семён.— Ты погляди: птицы над твоим домом не пролетают, всегда делают крик. Курица погуляет здесь — и подохнет в тот же день. Телёнок полежит — чахнуть начнёт.

Валере это — как об стенку горох: сидел на крыльце и лыбился. Вот так, с улыбкой, он любую пакость сотворит.

— Мальчишку-то своего хоть пожалейте — живёт, как на машинном дворе. Он запахи живые не понимает, и ухо у ребёнка стало грубое — пеночку от зяблика никак не научу отличать.

Тут сразу Танька из окна высунулась:

— А у тебя и о нём голова болит? Своего нет, так о чужом?

И Валентина, её мать, Сторожкова тёща, из огорода вышла, тоже подключилась:

— Ты за нашего Володьку не страдай, он с малолетства будет к делу привычен. Не то, что ты: ни товоха, ни севоха. Небось, по-твоему, подрастёт наш Володька — в пастухи пойдёт? Навроде тебя, да? Не-ет, он с отцом вместе на трактор да на комбайн. Вот так-то. В пастухи — это последнее дело.

— Потерпи,— весело добавил Валера.— Скоро уедем в Вяхирево, а ты останешься.

— Поезжай-поезжай, устраивай и в Вяхиреве отхожее место. После тебя только это и остаётся.

— Я тебе сейчас холку намну,— пообещал Сторожок и даже вроде бы приподнялся со ступеньки, на которой сидел.

— А я тебе,— тотчас сказал Семён; подражаться он вообще-то любил.— Сколько раз говорить: здесь-то не погань — озеро ведь рядом! О-зе-ро!

— Да пошёл ты,— лихо послал его Сторожок, а бабы кое-что добавили и смеялись обидно.

Они жили на разных концах деревни, и это было, конечно, не случайно: так распорядилась судьба. Она всегда распоряжается не абы как, а со смыслом. Потому совсем неспроста было и то, что иногда прибегал именно к Семёну Размахаяеву четырёхлеток Володька, пахнувший бензином, испачканный мазутом, в обсолидоленных штанишках, с машинным маслом в волосах... Мудрено ли: возле дома своего шлёпнется ребёнок на бегу — попадёт или в солидол, или в лужу с радужными разводами; поиграть — лезет под трактор, а сверху на него капает; схватился за ложку поесть — ложку только что отец брал грязными лапами...

— Вот собаки! — бормотал Семён и сразу вёл Володьку к озеру.

— Собак разводят, чтоб шкуру с них снимать,— звенел парнишка.— У них шкура тёплая, на шапку годится и на рукавицы. Так папа говорил.

— Надо же! — тихонько дивился Семён и на берегу стаскивал с Володьки одежонку.— Ему лишь бы шкуру содрать.

Семён заводил парнишку на мелководье, они оба черпали воду пригоршнями и пили.

— У нас тут не просто какой-то водоём, а царь-озеро. Ты это запомни. Оно нам в наследство оставлено нашими дедами и прадедами, они его сохранили и сберегли, теперь нам с тобой его хранить и беречь. Соображаешь?

Старший намывивал травяную мочалку и принимался тереть маленького, приговаривая:

— Вот так... вот так... Тут вода целебная. Будешь у меня, как ядрышко из ореховой скорлупки. Как грибок, который с хрустом вылез после дождей.

И вспоминал обидный упрёк Таньки: у тебя, мол, своего-то нет.

Почему, в самом деле, не было у Семёна Размахаяева такого парнишечки? Так опять распорядилась судьба, а она не всегда справедлива. Обострённое отцовское чувство владело им, когда он легонько, бережно тёр мочалкой плечики, выгнутую спинку, старательно намыливал круглую русую голову...
Володька ёжился, жмурился, тёр глаза.

— Дядь Сёма, давай про золотую рыбку,— звенел он,— а то зареву! Мыло щиплется.

Сто раз рассказывал Семён Володьке — можно и ещё.

Однажды (рассказать — никто не поверит!) во время очередного отмыwania Володьки от машинного масла приплыла к ним и в самом деле рыбка из озёрной глуби сюда, на мелководье. Они оба разом увидели её в двух шагах от себя среди кусточков осоки и замерли. И она смотрела на них выпуклыми немигающими глазами, то одним, а то повернётся и — другим. Рыбка была довольно большая, с ладонь, золотая чешуя её просвечивала на солнце, играла, переливалась, когда она так божественно, так хорошо шевелила плавниками и хвостом. Семён явственно увидел, как она открыла рот и что-то сказала им, но что именно, не было слышно. И ещё: Семёну показалось, что рыба улыбается, ласково и дружелюбно. Выпустила изо рта хрустальный пузырёк, повернулась — золотом осянно осветился бок её в крупных и мелких чешуйках — и уплыла...

— Видал? — в восторженном онемении спросил Семён Володьку.

— Видал,— шёпотом сказал Володька и оглянулся на Семёна: как же, мол, всё это понимать?

— Не шевелись, она опять приплывёт... в чешуе, как жар, горя.

Стояли, замерши, напряжённо вглядываясь в воду. Ветер налетел, блики засверкали по всему озеру, и показалось, что тут и там одновременно мелькнули сразу несколько играющих рыбок, уже не в золотой, а в серебряной чешуе.

— Их много, таких красивых лягушек? — спросил Володька.

— Ты что, это ж была рыбка!

— Не-ет,— убеждённо возразил Володька.— Я своими глазами видел: лягуха... только очень красивая, в чешуе. Сначала-то она была рыбка, а потом превратилась в лягушку.

Тут и Семён засомневался: боковые-то плавнички и впрямь похожи были на лапки, и хвостом она шевелила как-то иначе, непохоже на рыбку — может, это не хвост, а задние лапы, сложенные вместе? У парнишки глаза острее, он не мог ошибиться.

Такое вот происшествие случилось, они его долго потом обсуждали и всегда о нём помнили.

3

Размахаяевский дом к озеру самый крайний; стоял, правда, немного бочком, а смотрел всеми тремя фасадными окнами на водное зеркало неотрывно, словно замороженный; таков уж облик у дома: похоже, что приглядывал за озером этак ревниво и строго, как хороший пастух за стадом.

У палисадника перед домом время от времени вырастали кусты сирени, но как дотянутся они до подоконника, Семён непременно вырубал их — чтоб не закрывали вида. А посидеть, уставясь в задумчивости на озеро, для него первое дело, с тем он и вырос, без этого и жизни своей теперь уж не мыслил. Должно быть, от долгого созерцания небесной синевы, утонувшей в воде, с годами ярче синели и глаза Семёна, придавая ему всё более и более простодушное, ребяческое выражение.

Неутолимая жажда смотрения и размышления владела Семёном Размахаяевым, и он тратил на это немалое время, а вообще-то мужик был неленивый

и очень счастливо к ремёслам способный. Понравится какое дело — исполнял так, что любо-дорого смотреть; а не по душе — отвернётся и задумается, тогда его не стронешь. Вот, скажем, выучился на механизатора широкого профиля — и на тракторе может, и на автомашине, и на комбайне,— а проработал только одно лето, после чего плюнул и пошёл в пастухи. Не от большого ума — так все решили. Стадо в Архиполовке невеликое, много не заработаешь, а главное, зачем учился?

Конечно, техника ему легко давалась, спору нет, а вот задумчивость губила. То есть время от времени на него словно остолбенение находило, и тогда всё валилось из рук; он думал углублённо и сосредоточенно, уставясь обычно на озеро, и в эту пору ничем заниматься уже не мог. Такому ли человеку за рулём сидеть? Вот и выходит, что судьба распорядилась мудро, лишив колхоз механизатора и превратив Размахая в пастуха.

Что касается пастушества — скотный двор в Архиполовке давно уже старый — в обед сто лет будет. Пока стоит, а может и упасть, поднявши трухлявый дымок. Коров, которые в личных хозяйствах, на пальцах перечесть: ну, у самого Размахая, конечно, имеется — зовут Светка; у соседки бабы Веры — Малинка; у подруг-доярок Полины да Катерины две холмогорки, сёстры; у безногого Осипа Кострикина, дважды ветерана (войны и труда) — комолая красавица Милашка; у Сторожкова — Сестричка, рыжая, с палевыми боками и в чёрных чулках.

Итого в личных хозяйствах набиралось семь коров. И всё. Ну и, конечно, ферма — это значит, шестьдесят голов. Председатель всё собирался ликвиднуть её, но бог не насовсем ещё лишил этого человека разума — одумался Сверкалов: всё-таки пастбища вокруг озера, а гонять сюда стадо из Вяхирева — далеко.

Десяток домов — вся и деревня. А сколько рабочих рук? Сосчитать: две доярки, Валера-тракторист да он, Семён Размахаев, за старшего куда пошлют — вот и все. Остальные пенсионеры.

Правду сказать, его руки кое-что стоили: мужик работающий (примется за дело — неведомо как унять) — такова, кстати сказать, вся размахаевская порода; плотничать может, столярничать (на огороде в вишеннике теремок для уединения сделал: у людей на такую кабинку посмотришь и плюнешь, а на Семёнову залюбуешься: деревянной резьбой украшено, весёлой красочкой расписано); и печку скласть — лучше его нет мастера; и даже взявшись однажды, колодец соорудил. Один, без посторонней помощи, зато с использованием им самим придуманных приспособлений. Долго, правда, он с ним возился, но и выкопал, и сруб сделал, а над срубом опять-таки затейливый теремок поставил и тоже красочкой расписал, не хуже любого настоящего художника. Теперь они стоят, как два братца, теремочки эти — один перед домом, другой на огороде. Похожи, верно, а только по сути-то что же в них похожего?

«Вот и люди так,— философствовал мастер за этой работой.— Один добро творит, будто чистой водой поит; другой хлеб в дерьмо переводит, и больше ничего. А снаружи-то посмотреть — одинаковы!»

С колодцем, правда, неувязочка получилась: чудной какой-то — зимой уходит из него вода. Не иссыкает постепенно, а как-то в два-три приёма отступит — и нету её. А ведь не на сухом месте вырыл Размахай — берег хоть и высокий тут, но до озера-то рукой подать! Почти весь год черпается нормально, и зимой, и летом, да вдруг однажды отступит глубоко, потом и вовсе ведёрко брякает на промёрзлое дно: нету воды, то ли ушла вниз, то ли вверх испарилась. Словно заговорённая.

Семён колодец свой рыл как раз в январе-феврале. Он с ломиком и заступом вглубь, и вода вглубь — отступала, отступала, всё дальше и дальше. Над ним Сторожок потешался:

— Ты, Семён Степаныч, имей в виду: земля-то имеет форму чемодана, и

с той стороны, как раз напротив нашей Архиполовки,— Вашингтон; выле-
зешь — там тебя изловят, как шпиона, и не оправдаешься!

Размахай не слушал никого, копал и копал дальше, свято веруя в успех.
Глубина в его колодце стала — эхо отдавалось через трое суток. Старушка
Вера Антоновна стала беспокоиться, уговаривать соседа принялась:

— Уймись, Сёма! Выкопаешь какую-нибудь беду.

Это она слышала, что нефтяные да газовые фонтаны, бывает, ударят
из глубины, если этак-то землю дырывать.

Нефти и газа Размахай не открыл, но добрался до загадок: вдруг пошёл
грунт песчаный, а песочек попадался слоями, чистый-чистый; на снег его
выбросишь — горит ярим жёлтым цветом и в нём искры. Вскоре пустота
вдруг открылась сбоку, в сторону озера — то ли карман, то ли пещера — и
это страшно заинтересовало землекопа, но тут вода прихлынула, стала подни-
маться и вытеснила его наверх. Она вернулась в марте, под капель, но то была
не верховая талая, а глубинная вода. Если выпить чарочку — зубы ломит
от студёности, а по жилам холодный огонь — сразу готов к труду и обороне.
Откуда же она пришла? Ясно, что из каких-то неведомых глубин. Но какая
сила её толкала?

Было над чем поразмыслить.

— То-то... Глупый вы народ! — заявил строитель воодушевлённо.— Вам
бы черпать круглый год? Тут вам не водопровод.

Он иногда выражался этак кругловато, по крайней мере ему нравилась
ритмически организованная и даже рифмованная речь, потому и не избегал её.
Нет, не избегал. Молвит — словно из книжки присказку вынет — слова лад-
ненькие, кругленькие, будто колёсики, и что самое примечательное, в каждом
вроде бы два-три «о» лишних. Именно за округлость любил Семён и слово
«озеро».

— Потому «озеро», что обзор большой,— голос его обретал поучитель-
ный тон.— Оглядывать можно далеко, и зори в нём отстаиваются. О-зе-ро! —
произносил торжественно и рукой поводил и взором.— О-зе-ро. Оно и само как
око земное.

Так убедительно говорил, что любой слушавший невольно впадал в раз-
мышление.

А вот жена Семёна в задумчивость не впадала, на неё мужнины рассу-
ждения оказывали совсем иное действие: сердилась. Скажет он что-нибудь
этакое — она упрёт руки в бока и выразится так:

— Из распашонок вырос, до школьной формы не дорос. Не в своём уме —
в ребячьем, так и помрёшь младенцем.

Жене своей муж рассказывал сказки про озеро, она дивилась и ругалась,
не зная, как к этому относиться. Ну, посудите сами: и берега-то качаются, и ка-
мень-то на острове — не камень вовсе, а чей-то престол, на котором кто-то
ночами посиживает; и родничок-то там сочтётся не зря. И есть, мол, меж озёрами
и звёздным небесным миром какая-то неведомая связь, и что сам он, Семён
Размахаев, отмечен...

В подтверждение последнего засучал рукав рубахи: на левой руке ниже
локтевого сгиба семь родимых пятен расположились точь-в-точь как звёздочки
Большой Медведицы: четыре родинки — сам ковшичек и три — его изогнутая
рукоятка.

Такое хоть кого повергнет в удивление.

— А потому меня отметили,— объяснял Семён,— что я у судьбы в резерве.
Я не зря на свете живу и уж недаром, что именно здесь.

— Свихнулся мужик! — говорила жена.— Экое диво — родинки! Да у ме-
ня их поболе, на любой вкус.

— Расположение не то,— спокойно возражал Семён.

Она была женщиной практического склада, отвлечённостей не жаловала,

а читла простой жизненный обиход, потому небесный знак на руке мужа не шибко её озадачивал: работай знай, нечего родинки разглядывать да на озеро плялиться, за это денег не платят.

Именно на этом рубеже супруги и противоборствовали. Пошлёт она его за водой, он забредёт по колено и стоит, будто поражённый громом. Или нагнётся и следит, как перекатываются по дну песчинки, образуя точно такую же рябь, что и на поверхности от лёгкого-лёгкого ветерка; и как торопится по этой подводной пустыне рак или жук, как играют у ног мальки...

— Опять остолбенел! — Жена в сокрушении сердца хлопала себя по широким бёдрам и кричала ему так, что звуки «о» выкатывались у неё из горла, грозно громяхая, как тележные колёса:— Очнись, нетопырь! Что ты остано-вился-то, остолоп!

Она была ругательница, жена Семёна, и шибко его притесняла. Притесня-ла до тех пор, пока не спуталась с заезжим шофёром, присланным с шефами из города на уборку картошки. После увлекательного шефства, которое проис-ходило не совсем тайно — где ж тут утаишь, кругом родные просторы, населён-ные догадливými людьми! — укатила она в Соликамск... или в Солигалич?.. Куда-то в ту сторону, хотя муж из дому её не прогонял да и вообще не попре-кал случившимся, а только очень удивился. Она, может, оттого и уехала, что слишком глубоко было мужнино изумление: хоть и ругательница была, но не сказать, чтоб совсем без совести баба.

Случилось это не нынешним, а прошлым летом, Семён уже привык жить бобылём, но с недавних пор к нему стала навеваться из соседней деревни дальняя родственница Маня Осоргина.

Гостья эта тоже поворчать была не прочь, но именно поворчать, да и то по-доброму, а отнюдь не ругаться.

— Господи, для чего мужики живут? — говорила Маня, едва ступив на крыльцо Семёнова дома.— Они ж чистого места в доме не оставят! Везде намусорят, натопчут, ни одну вещь к месту не приберут. Сто раз наказывала: сапоги снимай у порога. Было такое или нет? В сенях-то, гляди-ка, грязи наносил, будто там лошади постоем стояли. А в избе-е-е... Нет, я спрашиваю, зачем вообще мужики на свет родятся? Какая от них польза?

Семён отвечал, что, мол, если уж они родятся, то наверняка не зря. В при-роде ни камень, ни птаха, ни озёрная вода — что ни возьми! — не появляются просто так, а всё со смыслом. Согласно этому смыслу надо с ними и поступать. И как знать, авось и от него, Семёна Размахаяева, будет толк, авось и ему найдут полезное применение.

Слушая его, Маня усмехалась и, минуты не медля, засучивала рукава кофты, принималась за дела. Все вещи в Размахаяевом жильё приходили в движение, двери хлопали и окна распахивались настежь, так что ветер гулял во всех помещениях вплоть до подклети, стулья и скамьи кочевали с места на место, подушки и одеяла с кровати — на улицу и обратно... при этом самовар шумел, квашонка пыхала ароматом сдобного теста... Но самое удивительное: куры во дворе вдруг принимались дружно нестись, а кошка Барыня привола-кивала откуда-то мышь и клала посреди передней, будто отчёт за минувший период...

Полы и в жилой избе, и в сенях, и на крыльце Маня в обязательном порядке мыла, натирала дресвой при посредстве веника-голичка — натирала вдохно-венно и самозабвенно, то и дело отводя пряди волос от мокрого лба, и любо было при этом смотреть на крепкие её ноги да лопатки, ходуном ходившие по спине, на... впрочем, Семён старался не смотреть особо-то.

— Давай помогу,— предлагал он.

— А иди к чёрту! — посылала его гостья.— Твоё дело только грязь в избу таскать.

Семён удовлетворённо ухмылялся.

Маня топила печь, варила шей ведёрный чугунок, пекла ватрушки невероятной величины и сдобные лепёшки в таком количестве, что Семён не съедал потом и за неделю, они черствели и оттого становились ещё вкуснее; осенью наквасила капусты, засушила грибов, насалила огурцов — всё впрок, всё в запас! Накормив мужика и обстирав его, приведя в образцовый порядок дом и хозяйство, она исчезала. Вопрос, зачем нужны мужики, на завершающей стадии её работы почему-то уже не возникал.

Когда кончалась Манина еда — щи, ватрухи, — Семён некоторое время голодал, искал по углам, не осталось ли чего-нибудь ещё, не завалилась ли где лепёшка или пирожок с грибами, а потом переходил на свою обычную пищу, каковой являлся овсяный кисель. О, это была еда, любимая им!

Вот смелет он на ручных жерновах лукошко овса, замочит непременно в холодной колодезной воде! — с вечера на утро или с утра на обед — десятков горстей овсяной муки, перед варкой хорошенько разомнёт руками это месиво и сцедит молочную жидкость, после чего — на огонь её. Тут уж стой, не отходи.

— Ты это чего варишь, дядя Семён? — спрашивал Володька, когда оказывался в гостях.

— Клейстер, — отвечал Семён.

У него выговаривалось «клизтир».

— А мне дашь клистиру?

— Да уж как водится.

Варить долго не надо: через несколько минут после того, как закипит, начнёт киселёк убираться в середину, этакой вороночкой — ну и готово. Теперь разливай его по тарелкам и ешь в горячем и холодном виде с чёрным хлебом, щедро посыпая солью, — овсяный кисель соль любит! — и, конечно, поливая подсолнечным маслом; можно и с молоком. Еда эта такая, что и жевать не надо, болтанёшь языком — всего и делов.

Кисель утром, кисель в обед, кисель вечером... В сенях два мешка овса, с голоду не помрёшь.

— Еда богатырей, ешь поскорей, — приговаривал Семён, угощая своего юного приятеля Володьку. — Они мясо не ели, потому и силу имели.

Сам он не богатырь, но хорошего роста; правда, немного сутуловат, небравый, к тому же изрядно щербат. Впрочем, щербины видны, лишь когда он улыбался, потому Размахай старался зубов попусту не скалить, а быть построже. Может, из-за всего этого он выглядел старше своих сорока с небольшим — лет этак на десять-пятнадцать; однако шапку зимой и кепочку летом носил, фасонисто сдвинув на ухо, отчего вид имел довольно лихой, молодецкватый. Хоть и не богатырь, хоть и то и сё, но ничем никогда не болел, во всяком случае в больницу нога его не ступала, вот только остолбеневал время от времени. Ну, мало ли у кого что приключается!

Если говорить всерьёз о Семёне Размахаеве, то в первую очередь следовало бы сказать о достоянии, которым обладал он один и больше никто в его деревне да и далеко окрест... Но об этом потом. Тут надо сначала кое-что объяснить; об этом не всякому расскажешь, потому как не всякий может понять. Семён сознавал своё великое богатство, коим владел тайно, а посему поглядывал на людей со снисходительной жалостью и даже свысока — у них этого нет, и они сами в том виноваты. Он жил в своей Архиполовке немного наособицу; не улыбочивый, но и не злой; свой человек для всех и в то же время, чёрт его знает, чудной какой-то.

Свои деревенские знали всю его родоу: и отца — Степана Лукича, пришедшего с Великой Отечественной без ноги, однако же собственноручно построившего себе дом, что и донныне стоит; и мать, умершую после того, как заработала себе от поднятия тяжестей две грыжи; и деда Луку Савельича, носившего замечательную рыжую бороду — он, между прочим, знаменит был тем, что лучше всех сеял — горсть у него была самая ёмкая и рука отмашистая;

и прадеда Савелия Кузьмича ещё помнили — кузницей владел и за кузнечной своей работой петь любил, с чем и остался в памяти... Ну, а самого-то Семёна знали как облупленного, здесь вырос.

Семёна любили и в то же время сторонились, словно даже побаивались, как побаиваются чего-то непонятного, необъяснимого. Впрочем, боязнь — наверно, не то слово. Тут нужно другое, которое обозначало бы настороженность с пренебрежением, шутливостью с издёвкой — вот такой сплав.

Каждый строил отношения с Размахаем на свой манер.

Вот соседка Вера Антоновна, хитрая старушонка из бывших сельсоветских работниц — она убеждена, что умнее её в Архиполовке никого нет. Она, мол, всё знает, всех насквозь видит, всё понимает... а что касается соседа Семёна, то он перед нею совсем дурачок. А чего уж, у самой умишко-то куриный — жалость одна. Но незлобива старушка, и то ладно. К тому же чем старше она становится, тем больше заинтересована в его соседской помощи: то ведро в колодце утопит — «Семён Степаныч, достань»; то хлеб кончился — «Сёма, ты пойдёшь ли в Вяхирево? Прихвати и мне хлебушка из магазина...»; то калитка оторвалась, лист шиферный с крыши снесло, радио «не играет» — Размахай по-соседски сделает, поправит.

А вот Осип Кострикин, хоть и безногий, хоть и больной, никогда ни о чём не попросит. Скорее к нему на поклон пойдёшь: у Осипа лошадь есть. Говорит: я её вместо самоходной инвалидной коляски держу. И верно, куда б ему ни занудилось — запряжёт меринка своего Ковбоя в дрожки ли, в сани ли, смотря по времени года, ременные вожжи тронет и поехал, покатил!

Осип Кострикин — хозяин. У него телевизор цветной, ковёр на стене, хрусталь в буфете и баба толстая, молодая — всего пятидесяти лет.

Ну, доярки Полина с Катериной — эти балаболки. Дома ихние смотрят друг на друга через дорогу, словно переговариваются, как и их хозяйки. Одна замужем побывала, вторая нет, а детей-то ни у той, ни у другой. На Семёна они давно поглядывали-поглядывали, да и плюнули от досады: никакого проку от мужика, особенно с тех пор, как Маня Осоргина к нему наповадилась.

Вот, собственно, и всё население деревни. Остальные — старушки, которые то жили здесь, то к детям уходили. А чаще наоборот, к ним самим кто-то навещался. Сбродная какая-то стала деревня, наполовину неосёдлое население.

Так вот, эти люди считали своё озеро рядовым и настойчивое желание Размахая дать ему имя царь-озера никак не поддерживали. Что ж, то не вина их, а беда: они не знали самого главного...

4

В предзимье, когда стадо уже не выгонялось на волю, Семён Размахая превратился, как и в прежние годы, из пастуха в скотника. А по совместительству, то есть по мере надобности, был ещё и «подменной дояркой», слесарем-наладчиком немудрёных механизмов для поения, кормления и доения коров, иногда и ветеринаром, если настоящий ветеринар не мог добраться до Архиполовки, которая у чёрта на куличках.

Но что бы он ни делал, чем бы ни занимался, душа его была обращена к озеру. А оно в эту пору всегда беспокойно: металось, словно в тоске и муке хотело выплеснуться, вырваться со своего ложа; будто оно живое, и чьи-то неумолимые когтистые лапы уже схватили его, отчего оно и мечется, стонет. Семён в эти дни был и сам тревожен, покоен: бессонница маяла, аппетит пропадал и всё валилось из рук.

От скотного ли двора, от своего ли дома Семён то и дело оглядывался на озеро; ветер наваливался откуда-то из-за леса, рвал последнюю листву с побережных кустов и молодых деревьев, пенил воду и гнал волну — волна качала берега!

Но как и в прежние годы, при первых крепких морозах оно затихло и некоторое время, целую ночь, а потом и день лежало неподвижно: то ли умиротворённое, успокоенное, то ли просто покорившееся судьбе. И вот тут поверхность его схватило ледком, прозрачным и тонким, как оконное стекло. Этот миг был неуловим: только что колыхалась или едва заметно вздрагивала водная гладь, можно было даже слышать игольно-тонкое позванивание льдинок, и вдруг уже остеклена, неподвижна.

Ещё один день и одна ночь — лёд стал с половицу толщиной; от молодости своей он хрупок: чуть топнешь ногой у берега — тотчас бежит трещина из края в край, будто молния по грозовой туче. А уж гулять можно по озеру — ледяной хрящик хоть и не заматерел, не стал ещё костяной крепости, но уже достаточно прочен. Неделю продержался мороз — и вот уже хоть за дровами поезжай на лошадке на тот берег напрямик, будет держать уверенно, как бетонный монолит.

Успокоение наступило в природе; Семён же, однако, волновался всё больше и больше: приближалось то время, когда он ждал с великим нетерпением, с замиранием сердца, как ребёнок дня рождения, когда ему сделают желанный подарок: однажды, уже в декабре, из озера начинала уходить вода. Она ушла не вся сразу, а сперва отступила быстро и остановилась, замерла, а первый лёд не успел осесть, цеплялся за берега, за острова, за кусты, в общем — держался самостоятельно. Морозный воздух проникал под него и на некотором расстоянии от первого на озёрной поверхности за несколько дней намерзал следующий слой льда, такой же крепкий. По нему тоже простреливали трещины, перехлёстывая одна другую, но потом и он затих.

И вот тут наступил долгожданный час, тот самый, о котором столько думалось.

В густом ивняке у берега Семён Размахеев спустился к озеру, пробил во льду широкий лаз, сел на корточки и, как курица, склонив голову набок, заглянул под его верхний слой. Озёрная пустота дышала морозом, инеем, льдом. Жутковато немного было, но что-то властно манило и втягивало — Семён, повинувшись этому зову, лёг на живот и осторожно вполз в пустое пространство между ледяными настилами.

Нижний слой был зеркально отполирован и очень скользок. Толстые прозрачные сосульки свисали с верхнего слоя и упирались в нижний, поддерживая ледяные своды: так столбы в строениях держат потолки и крыши. Отталкиваясь от них ногами, Семён легко заскользил к середине озера, где был остров, потом опять к берегу уже в другом направлении, и опять к острову.

Непрерывный хрустальный звон сопровождал путешественника. Искрился иней прямо перед глазами — это оседал пар от его дыхания. Тонкие льдинки иногда отламывались от движения ноги его или руки, скользили долго, разбиваясь где-то на бесчисленные осколки, которые в свою очередь удалялись, истончая голоса.

Так путешествовал Семён по озеру вдоль и поперёк, дивясь всему, что видел. Переворачиваясь на спину, глядел на размытый лик солнца, на очертания ползущих по небу облаков и радужные разводы вокруг застылых воздушных пузырьков.

Сквозь ясный лёд, ещё не присыпанный снегом, Семён отчётливо различал вверху летающих птиц: бойких галок, живущих в Архиполовке, заполошных сорок да строгих ворон, обитающих в окрестных лесах, — они, конечно же, разглядывали лежащего подо льдом человека и, надо полагать, живо обсуждали меж собой столь необычное природное явление.

А перевернёшься лицом вниз — в воде и вовсе чудеса: там плавали краснопёрые окуни, жирные язи, стаи серебристой плотвы и вялые, дремлющие щуки... Семён вглядывался в подводный мир: «А куда подевались мои лягушечки? Не видать... Небось, зарылись в донную грязь и спят себе... Такие красавицы —

и в грязь. Что же, неужели до самой весны? Чем они там дышат?»

Пролом во льду, сделанный им возле ивового куста на берегу, стал дверью в ледяной озёрный дом. Через этот вход уже залетали воробьи, чирикали оживлённо; тут и там попискивали синицы и снегири; за ними охотилась кошка Барыня. Однажды запрыгнул заяц, спасаясь от кого-то, и забился в обледенелые заросли возле острова; и лиса раза два мелькнула. Даже вороны заглядывали сюда, каркали строго, но не решались пуститься далее. Так что отнюдь не мёртво, а обжито и даже весело было здесь.

Семён возвращался домой в приятной усталости, был задумчив, рассеян — душой его владело прекрасное, волшебное чувство.

— Ты где пропадаешь? — спрашивала навестившая его Маня. — Тебя искали.

— Кто?

— А доярки. У них там компрессор барахлит.

— Я ж им наладил утром.

— А он опять...

— Ничего, перебьются.

Маню удивляло, что отвечает он безучастным тоном, как говорящая кукла. Семён сидел, облокотившись на подоконник, и взглядом тянулся туда, откуда пришёл.

— У бабы Веры пробки перегорели. Сходи, Сёма, вверни новые.

Он молчал. Она нарочно приставала к нему с такими заботами, желая растормошить.

Ему, в общем-то, хотелось рассказать ей, где был, что видел, но нельзя, нельзя: не поверит она, и ничего, кроме полного конфуза, не выйдет из его откровенности; надо смириться с тем, что знание его неразделимо; он один во всём белом свете причастен к этой тайне, а остальным она не дастся, нет... Впрочем, если очень хочется, то можно попробовать ввести Маню в этот мир, как в сказку. Взять с неё страшную клятву, чтоб никому и никогда не проболталась, и рассказать всё.

— С тобой что-то случилось, Сёма? — допытывалась она.

— Тебе только расскажи, — ворчал он, томясь от бремени своей тайны. — Ты всем разболтаешь.

— Я? Да ни в жисть, Сём!

Нельзя было верить этой женщине, а как умолчать? Семён посомневался ещё немного и начал будто нехотя, а потом всё более и более воодушевляясь.

Маня слушала про ледяные зеркала, про сосульки-столбы, подпирающие потолок, про тонкий хрустальный звон, сопровождающий каждое движение путешественника, и прикрывала улыбку ладонью: он и раньше рассказывал ей всякие небылицы, то про лягушек-свистунов, то про ныряющих ласточек, а теперь вот, вишь, про зайца, который заскочил под лёд и забился в оледенённую осоку, где каждый стебелёк — будто зелёная палочка в сладком леденце; зайца этого, конечно же, можно погладить и потрепать за уши; он того и гляди заговорит человеческим голосом; точно так же и лиса, которая разыскивает его, пробираясь по льду, оскальзывается; узнала Маня и про снегирей, скачущих тоже под льдом, — будто раскатываются краснобокие яблоки... Она круглила глаза, надувала щёки и, наконец, не выдержала, засмеялась, вздрагивая пышными плечами и пышной грудью; грубоватое, некрасивое лицо её похорошело от этого смеха.

— Но я же сегодня бельё полоскала на озере — подо льдом вода! Никуда она не отступила.

Семён не смеялся; он грустно смотрел на хохочущую Маню и объяснял вроде бы виновато:

— Возле нашей деревни заводь, она зимой это самое... обособляется. Озе-

ро само по себе, а заводь сама по себе. Но речь не о том, погоди, не смейся.

Нет, она не могла всему этому верить. Да он и сам не поверил бы, но ведь... путешествовал же! И это путешествие повергало его в глубокое раздумье.

— Я ведь тебя к чему подвожу-то!.. Ты представь себе, сколько живности всякой в этом мире! И жуки-плавунцы, и рыбы, и лягушки — все вместе! И тут же рядом с ними звери, птицы... Вон у меня сверчок Касьяшка под голбцом поёт, а в подполе мыши пищат. И так повсюду. Теперь подумай: ведь мы притесняем их безбожно, вторгаемся в их жизнь и вносим великую сумятицу и суматоху, и губим, губим бессчётно. Зачем? Почему? И это у нас-то разум? Это мы-то цари природы?

— А ты не лезь, куда тебя не просят,— советовала Маня.— Не пугай этих рыб да и меня тоже. Бог с ними, Семё! И сверчок твой мне надоел. Ты вот что скажи — корова у тебя скоро телиться будет. Устерёжешь ли?

Он не слушал её:

— Ты не понимаешь. Я-то не вторгаюсь, не обо мне речь. Я беру в мировом масштабе, ясно тебе?

— Там без нас разберутся, в мировом-то масштабе. А вот со Светкой-то как быть? Отелится ночью, а ты по ночам дрыхнешь. Сказки-то мастер рассказывать, а телёночка застудишь: морозы день ото дня крепчают.

По ночам он, верно, спал хорошо: снились ему плавающие краснопёрые птицы и летающие рыбы с клювами, кошки с рыбьими глазами... А однажды ночью в животе у Семёна Размахаяева вдруг проквакала лягушка. Он проснулся, пошарил рукой по одеялу — как она попала в постель? — и нащупал лежащую рядом Маню.

Лягушка проквакала ещё раз, и теперь уже не было сомнений, что это именно в его животе, а не где-то в ином месте.

Семён озадаченно пихнул Маню в бок, а та только сладко вздохнула и не отозвалась.

«Проглотил я, что ли, эту лягуху?» — подумал спросонок Семён, слушая, как щекотно хозяйничает она у него в животе... День был хороший, без особых происшествий, а вот ночь, нате вам, пожалуйста.

— Маня! — позвал Семён с затаённым дыханием и ещё раз пихнул её в бок.

— Му,— невнятно отозвалась та и сладко почмокала губами.

— Ты слышишь?

Она в ответ опять сказала своё «му» или «ну».

— Лягушку, говорю, слышала?

Маня пригребла его властной рукой, ткнулась лицом ему в плечо и продолжала спать. Да, может, так-то и лучше: не дай бог проснётся, тогда уж до рассвета не уснёшь, это точно. Она живо растолкует, что будить женщину среди ночи без серьёзной на то причины просто бессовестно.

Что же, собственно, теперь с этой лягушкой делать? В больницу идти? Спросят: на что жалуетесь, больной? Так, мол, и так, лягушка в животе завелась... Умора! Хорошо, если просто посмеются да и отпустят, а то ведь захотят проверить, все ли дома у мужика...

Семён уснул, и снилось ему, что лежит он — берег вместо изголовья, и ни рук, ни ног, только голова да брюхо просторное, величиной с озеро, и живёт в нём одна-единственная лягушка, а больше никого. А потому одна, что поел он чего-то или даже выпил и вот отравил своё обширное чрево. Семён ужасно расстроился: как так, было столько живности, куда ж подевалась? Пусть бы плавали рыбы, шелестели осокой стрекозы, водили усами клешнятые раки. Как же он мог, Семён Размахаяев, потравить эту всю живность? Уцелела только одна-единственная лягушка... Зато была она красавица, прямо-таки царевна: в чешуе, как у золотой рыбки, с бирюзовыми глазами, весёлая, голосистая. Семён ясно видел её у себя в животе-озере.

«На что мне лягушка?..— продолжал думать Семён.— Была б золотая

рыбка! Приплыла бы ко мне рыбка, спросила: чего тебе надобно, сонная тете-ря? Чего ты, мол, хочешь, Размахаяшко? А я ей в ответ: ничего, мол, не надобно, пусть только останется всё, как есть, нетронутым... пусть только всё оста-нется... чтоб все любили друг друга и никто б никому не мешал. Ведь должно же быть хотя бы здесь разумно и справедливо, хотя бы на моём озере».

— Всё, что в наших силах, сделаем,— утешал его кто-то лягушачьим го-лосом.— Но, может быть, ты что-то хочешь и для себя, а?

«Хочу, чтоб был у меня парнишечко свой, сынок... круглогловенький, с бе-лыми волосиками, чубчиком-скобочкой... с выгнутой спинкой... чтоб свой собственный, своя кровь, моя душа... был бы надёжей и опорой, когда вы-растет...»

— Не кручинься, будет у тебя сынок... Всё в наших силах!

Сон колыхался, как озеро, покачивая его, и из глубин откуда-то выплыли ухмыляющиеся рожи Сверкалова и Сторожка: «А не будет твой сын пастухом — пойдёт в трактористы! Он загонит трактор в озеро, чтоб мыть его, как лошадь, а остатки дизельного топлива сливать в воду...»

«Не-ет! — сердился Размахай.— Не по-вашему будет!»

«Нет, нет, нет» — уверенно квакала и лягушка в лад ему.

Утром проснулся — живот пощупал: нет там никого! Надо же, чего только не приснится человеку.

5

Всё, что было до сих пор — это только начало: как озеро замерзало, как лёд нарастал этажами. Главное происходило потом.

Наступил день в середине зимы, а вернее в феврале, когда в Размахаемом колодце ведро брякнулось на твёрдое дно и возвратилось пустым; Семён до-гадался, что вода ушла и из озера. Вся.

Этот день сразу стал для него праздником. Ликующий, воодушевлённый, отправился он в те кусты ивняка, державшие верхние слои льда наподобие крыши крыльца перед неким жильём, спустился в пролом до самого низа...

Каждый раз в такие минуты у него замирало дыхание и тонкие иголки страха покалывали сердце — это чувство не оставляло его и потом, рождая тот восторг, от которого навёртывались слёзы. Счастье Семёна в эти минуты было всецелым. Именно так: и страх, и восторг, и счастье — всё вместе.

Серые сумерки, подголубленные сверху, окружали его. Где-то хрустально журчал ручеёк, да и не один. Длинные сосули свешивались от ледяного потол-ка, кое-где упираясь в дно, гирлянды поблёклых водорослей обвивали их или просто лежали на дне. Чистейший песок яро желтел, особенно там, где проби-вались из земли роднички. На пригорках, где приходилось слегка нагибаться, чтоб не стукнуться головой о ледяной потолок, хрустело под ногами мёрзлое водяное быльё и пахло почему-то клейкими стрекозиными крылышками. Лёд над головой нестерпимо голубел; жёлтый диск солнца плавился в нём, как комок масла на сковороде.

В бывших заливах и возле острова Семёну открывались пространства с такими высокими сводами, какие он видел разве что на московских вокза-лах. Здесь можно было поместить не один дворец...

«Вот откуда все эти придумки насчёт подводных теремов и водяных ца-рей! — догадался Семён.— Кто-то задолго до меня уже видел такое же, потом рассказывал, а люди ему не верили, принимали за выдумку. А ведь ничего нель-зя выдумать на пустом-то месте, чтоб ни на что непохоже — всё было, было!»

Тут и там в донных ямах с водой видимо-невидимо скопилось рыбы. Страст-ным рыбаком Размахай никогда не был, но тут проснулся в нём ловецкий азарт, который не унять. Он присел на корточки, опустил руки в ледяную воду и гладил лениво шевелящихся щук, заглядывал в тусклые глаза налимов и язей, перева-

ливал с боку на бок горбатых от матёлости лещей; целое месиво плотвы овсяными хлопьями шевелилось у него под ладонями...

Рыбы теперь были дружны меж собой, и щука уже не гоняла окуней, и окуни не гоняли уклек, и жерех не покушался на краснопёрку — они совместно переживали выпавшие им на долю невзгоды; потом, едва лишь прихлынет большая вода, вспомнят они старые порядки, когда одни догоняют, а другие спасаются — а пока мирно плескались в исходящих паром ямах, жадно хватая верхнюю воду.

Семён ходил от ямы к яме, играл с рыбой, приговаривая: «Ишь, ты! Ишь, она...» — и не мог устоять перед искушением: выбирал себе сома. Непременно сома, и чтоб самого большого. Огромную эту рыбину он перехватил по жабрам поясным ремнём и, перекинув ременную ляжку через плечо, выволок на крутой обрыв и через пролом во льду — на берег; она лежала потом у него дома на полу, как бревно, и медленно засыпала.

В Размахеевом доме начался пир на много дней.

Рыбой пахла горячая печь, рыбный дух пропитывал кирпичи её, толкал заслонку, наполняя все углы, пробивался в сени и на чердак. Изба сытно посапывала, довольная своим хозяином.

А Семён посиживал у окна, поглядывал на заснеженное озеро, доставал из чугуна куски пахучей, ароматной сомятины, вкушая, держал почтительно обеими руками.

Жаль, что Маня в эти дни отсутствовала; жаль, что зимой Володька не мог добраться до него по сугробам — Семён сидел в одиночестве и оттого его счастье не было полным.

А как бы удивился кто-нибудь, застав его за такой-то едой! И позавидовал бы да и зауважал бы: забогатель Семён!

— Разве можно поймать такую рыбину середь зимы? — спросил бы... ну, например, Осип Кострикин. — У тебя и сети нет, Размахай чёртов! Как ты ухитрился?

То-то, что ухитрился. То-то, что сумел: голыми руками поймал.

Жаль только: нельзя с Володькой вместе спуститься на озёрное дно и погулять там, держа парнишку за махонькую ручонку. А то-то он подивился бы! Но нельзя, нельзя: он расскажет отцу, а тот...

Если узнает Сторожок — въедет под лёд на гусеничном тракторе; начерпает рыбы в прицепную тележку или сани, наладит стогом и — прямым ходом в город на базар, чтоб продать и потом где-то в хитром месте купить магнитофонные ленты с оглушительной, как бомбёжка, музыкой. Останутся на озёрном дне только следы тракторных гусениц да разводы солярки. Да ещё придётся при встрече выслушивать бахвальство: «А я достал Рони Эдельмаса, Ферлуччи и рок-группу «Ковантере»... Да ведь ты, Семён Размахайч, в этом деле ни бум-бум, да? Глухо, как в танке, верно?»

У Сторожка свои удовольствия: врубит свой заморский магнитофон — домишко ходит ходуном; у коровы-ведерницы, которой придумали такое хорошее имя — Сестричка, пропадает молоко; Володька таращит глаза и начинает заикаться; галка, глядишь, летит по своим делам — над домом Сторожка ошалело закувыркается, плюхнет на землю, а дальше идёт уже пешком и только на большом удалении очухается, взлетит.

Нечего и думать, чтоб кому-то рассказать, как ловится зимой в озере рыба! И — ни-ни! Выловят, выгребут без всякого чуру, всё подчистую, даже мелочь — мало того, повыдергают донную травку, запакосят чистый донный песок, затопчут роднички... И всё-таки Семён чувствовал себя виноватым: уволок рыбину в свой дом, как собака мозговую кость в конуру, и грызёт-наслаждается в одиночестве, ни с кем не делаясь. Нехорошо это. Некрасиво. А как быть?

Если, например, Сверкалову Витьке сказать, он что сделает? Небось, на-

чальство захочет убажить, чтоб ему, председателю Сверкалову, потачку давали побольше. Устроит им выезд на природу, то есть сюда, залезут под лёд пузатые начальники, разведут костёр, поставят водочку на льдиночку... «А мне, Семёну Размахаяву, прикажут у пролома стоять на стрёме, чтоб их там никто не засвидетельствовал...»

«Не-ет!.. Нет-нет, хрен вам всем! Никому я не скажу, а без меня вы ничего не узнаете... Ха-ха! Нашли дурака!»

Он благодушевствовал, он ликовал, держа долю соминой спины в пригоршнях, как долю арбуза, и погружая в неё чуть ли не всё лицо... и варёная голова сома поглядывала на него белым глазом, ухмылялась: владей мной, Сёма, ешь меня, Размахай, не стесняйся...

Вокруг его избы на рыбный запах собрались все деревенские коты, именно на рыбный запах, а не к кошке Барыне. Но они людям ничего не могли сказать, и потому не знали о его, Семёновом, счастье ни соседка баба Вера, ни безногий Осип с толстухой-женой, ни доярки Полина и Катерина, ни Валера Сторожок с семейством.

Рыбу из донных ям можно мешками таскать, даже возами возить! Богатое ведь озеро, рыбное, и никакими рыбхозами не обловленное. Но и в прежнюю зиму, и теперь Семён взял только одного старого сома. Больше ни-ни.

— Что я, спекулянт, что ли! — говорил он сам себе солидно. — Или браконьер какой? Умный человек не может быть жадным, жлобами и скупердяями бывают только дураки. Ну, а я с разумом мужик... У меня всё по чести и по совести.

Можно бы, конечно, бабе Вере преподнести соминый бочок — всё-таки соседка! — но ведь она хитрая разиня-то: станет подсматривать да и выследит его. Сама в озеро не полезет, а другим разболтает, у неё не улежит! Из хорошего получится плохое, из добра — зло.

— Ладно, я ей летом шуку поймаю, она любит, — утешал себя Семён. — Неизвестно ещё, полезна ли старикам жирная рыба...

А что касается Витьки Сверкалова... эх, разошлись дорожки давным-давно. И вот что чудно, если разобраться: они были сначала, на заре-то жизни, вот в Володькином возрасте и постарше, друзья-приятели, то есть один, как и водится, повелитель, а другой — исполнитель. Чего Сёмка прикажет — то Витюшка выполнит; что Сёмка предложит — с тем Витюшка согласится. И никогда наоборот!

В школу ходили в Вяхирево — у Сёмы в портфеле рядом с учебниками ватруха сдобная, у Витюшки — ломоть чёрного хлеба. Размахаявы — народ хозяйственный, не то что Сверкаловы, потому у Сёмки штаны собственные, на него и покупали, а Витюшке достались от старшего брата, уже обсмуруженные со всех сторон. Сёмка учился легко, весело — грамотей! А Витюшка соображал туго, из класса в класс переходил еле-еле.

Так и казалось: быть Размахаяу председателем колхоза, а Витюшке идти в пастухи. А получилось наоборот. Почему? Да вот почему: очень уж читать любил Сёма про всяческие путешествия, сказочные происшествия да про то, где какая живность водится и почему. Говорено ему было отцом: гляди, парень, книжки до добра не доведут, потому как жизни в них нет, одно отражение, как в зеркале, а раз так, то чему ж в них можно научиться! Главное-то всё-таки жизнь! Но разве сыновья отцов слушают...

Мечтательным рос Размахайчик; в школе, верно, всё положенное схватывал с лёту — всякую алгебру, химию, физику, — но как-то быстро забывал или пренебрегал ими, будто нестоящим. А Витька-тихоня усваивал с трудом, но прочно; уж у него из головёнки ничего не выветривалось, всё шло в прок: семилетку закончил на тройки, десятилетку — на четвёрки, в институт хоть с третьего захода, но поступил, а теперь вот прочно сидит на председательском стуле, словно врос в него, как турнепсина в грядку.

В то самое время, когда Размахай чем взрослее становился, тем рассеяней и задумчивей, друг всё увереннее стоял на земле, плечи его наливались силой, взгляд твёрдостью, голос — басовитостью... и вот теперь Сверкалов Виктор Петрович распоряжался всем в округе, вершил судьбы людские, в том числе и судьбу бывшего своего друга, а Размахай ничего не решал, жил в избушке на берегу озера и даже разбитое корыто нашлось бы в хозяйстве у него, если поискать.

Так кто хозяин жизни? Вопрос этот не праздный, он не в самолюбие упирается, а в самое святое — судьбу родины.

«А вправду, кто?» — задумывался Семён, совершенно точно зная, что его друг, теперь уже бывший, этого вопроса себе не задаёт, ему-то всё ясно: он власть — он и наверху.

Но ведь это не совсем так! Семён в утешение себе мог бы сказать, что ему доступно такое, о чём Сверкалов и не ведаёт. Можно жить с человеком бок о бок много лет и не понимать, чем он дышит; ходить по земле и не чувствовать её сокровенной сути — таков удел глупых и глухих. Здесь объяснение их злых поступков. Бедный и нищий человек Виктор Петрович, председатель, именно бедный и нищий — какой он хозяин!

Можно было Размахаяеву Семёну думать так и этак, на то его вольная воля, но, пожалуй, одно преимущество имел Сверкалов безусловно: когда у председателя передний зуб вывалился — он вставил золотой; а у пастуха порушилось в разное время шесть штук, самых передних — ему и железные вставить недосуг: так и живёт со щербатым ртом, в то время как враги его щеголяют или белыми природными, или золотыми.

Каждое лето изо дня в день с апреля по октябрь выгонял Семён коров навстречу солнцу, и как оно неторопко поспешало по небу, так и пастух Размахаяев неспешно двигался со своим стадом вокруг озера. Он не был водителем или повелителем стада, а просто находился при нём, как бы в одной компании с коровами, вот и всё. Бурёнки и пестрянки занимались своим жвачным делом, а он своим: плёл корзины, выстругивал домишки для птиц, толковал с кем попало, будь то человек, или корова, или просто лягушка; читал книги...

Кстати, о книгах: они у него дома стояли на божнице вместо икон, занимали посудный шкаф и лежали в сундуке; но было и несколько любимых, которые частенько совершали вместе с ним путешествие вокруг озера. Вид у них самый жалкий, поскольку уже мокли на дожде или за пазухой от пота (на обложке «Земли Санникова» ухо мамонта размыло), прожжены были угольками, что выстреливали из костра (такому испытанию подвергся многотерпеливый Робинзон), трёпаны и мяты (угол книги Арсеньева «Дерсу Узала» телёнок пожевал) — и от всего этого ещё более любимы.

Ещё одна книга почтительно хранилась дома в потаённом месте за доской припечка, толстая, с рисунками древних городов, странных людей, давно отшумевшей жизни — Семён никому её не показывал. Впрочем, кое-кто знал о ней, например, Сверкалов. Он однажды приехал в Архиполовку с каким-то кандидатом наук, и оба пришли к Семёну посмотреть на его главную книгу. Кандидат многозначительно сказал, что рисунки в ней принадлежат какому-то Гюставу Дорэ, и предложил Семёну за неё сотенную, на что Размахай только хмыкнул презрительно. Тогда ему посулили двести, но ответ услышали тот же. Уехали ни с чем.

Чтение книг повергало его всегда в глубокую задумчивость, и то были самые заветные минуты. Он садился под куст, спускал босые ноги к воде и смотрел, смотрел — не на воду, а на всё озеро сразу. Прекрасно было лицо его — плохо побритое, сильно загорелое, с грубоватым носом и резкими надбровными дугами — а особенно хороши глаза, кроткие, беспокойно-мечтательные, доверчиво-требовательные.

Стадо гуляло само по себе, пастух сидел сам по себе. При такой пастьбе

Размахай непременно ближние поля потравит, и за лето раза два Сверкалов его оштрафует. Но на провинившегося это не влияло; то есть ему, конечно, досадно было, он даже выражался в адрес председателя, однако поведения своего не менял. Да и не мог уже, наверно, изменить!

— Ты что пасёшь, озеро или коров? — не раз увещевал его председатель, с которым некогда Семё Размахаев сидел за одной партией.— Ты в состоянии выполнять самую элементарную работу или нет?

Не просто так спрашивал, а этак распекая, значит. Вина пастуха была несомненна, от неё не отвертишься. В самом деле, кого он пасёт? Не рыбы ли стада? Не водоплавающую мелкую живность? Не побережных ли птиц?

«А всё! И так должен делать каждый человек, кем бы он ни был: председатель или пастух, кандидат наук с сотенными бумажками или парнишка Володька».

— Пашня слишком близко придвинулась к берегу, стадо уже не может пройти свободно,— объяснял Семён.— Зачем ты велишь распахивать берега? Соображай маленько: если озеро лишится леса и кустов, оно обмелеет.

Тут Сверкалов свирепел и выражался, как в прежние времена, то есть по-свойски:

— Да заткнись ты со своим озером! Надоело слушать дурацкие рассуждения! Твоё дело телячье. Ясно? Тебе поручили стадо пасти! Ты слышишь? Стадо! А не пташек да рыбок. Исполняй ту работу, за которую деньги получаешь, а с остальным мы без тебя разберёмся.

На архиполовской ферме коровы самые удоиные, в полтора раза больше молока дают, чем на прочих колхозных,— а это разве не заслуга Размахаева Семёна? И телята архиполовские выгуливаются такие, что хоть на выставку. Председатель об этом знает прекрасно, так что пусть не попрекает куском хлеба.

— Товарищ Сверкалов,— издевался пастух над бывшим другом,— созерцание влечёт за собой наблюдение, а оно в свою очередь рождает открытие. Я не просто так хожу возле стада — я думаю! И не ухмыляйся. Может, я открою что-нибудь такое, чтобы всех спасти от неминуемой гибели. Разве ты не видишь, к чему мы идём? Рубим сук, на котором сидим. И топор, между прочим, у тебя в руках, у тебя! Волна качает берега, скоро нас захлестнёт.

Председатель, безнадёжно махнув рукой — «Завёл свою шарманку!» — отступался.

Они не говорили на задушевные темы давно уже, с тех блаженных детских лет, когда размахаевская ватруха с творогом и сверкаловский ломоть чёрного хлеба с солью разламывались поровну и каждому из закадычных друзей доставалась половина того и другого...

6

Снегири, клесты, свиристели, синицы, оказавшись подо льдом, почему-то собирались к одному месту на водопой — там ключик пробивался из-под каменного пласта, и вода в нём густа, как свёкольное сусло, а цвет имела лимонно-жёлтый. Она оказалась ошутимо тепла, будто из полуостывшего чайника.

Когда обнаружил Семён малую лужицу и в ней пузырящийся ключик, чёрт дёрнул сунуть туда палец, а потом попробовать на язык. Так рассудил: раз птахи пьют, то и ему не во вред. От водицы той у него как-то странно посвежело во рту. Грешным делом подумал: нет ли в ней спиртовых градусов? Наклонился и — была не была! — осторожно схлебнул раз и два. Жидкость не опьянила, как он ожидал, но холодок пробежал по всем жилам; холодок этот лишил тяжести его тело, прояснил голову, сразу захотелось делать что-то, или куда-то бежать, или просто смеяться. А наутро у Семёна сошла кожа на ла-

донях и ступнях, обнажив молодую, зарозовели и стали блестящими ногти, ало залоснились и припухли губы, полезла дружно и густо рыжая борода.

Воодушевлённый такими переменами в себе, он понадеялся, что у него прорежутся и молодые зубы взамен выпавших, но, к сожалению, этого не произошло. Зато он теперь чувствовал необыкновенную силу и замечательную неутомимость: переколот горю дров, выдолбил в мёрзлой земле погреб, который ему, в общем-то, не нужен, и готов был всё на свете передвинуть с места на место, а Маня Осоргина, пришедшая на денёк погостить, заявила, что, пожалуй, останется до четверга.

Немного озадачивало Семёна, что одна из ям на дне озёрном оказалась безрыбна. Тем не менее вода в ней колыхалась, будто где-то в самой глубине ворочалась особенно большая рыбина. Он решил подстеречь её, уселся у этой ямы, представляя себе, как вот сейчас выплывет откуда-то снизу из-под широких каменных сводов...

«Приплыла к нему рыбка, спросила... Нет, не золотая рыбка, а царевна-лягушка... приплыла и говорит: чего тебе надобно? Чего не хватает? Всё исполню, только прикажи...»

Едва успел подумать так — вода заколыхалась сильно, отступила глубоко вниз, обнажая широкую каменную горловину — вот-вот выйдет из земной глубины кто-то! — и хлынула вдруг оттуда, бурля и разливаясь во все стороны. Семён вскочил, отбежал, оглядываясь, — вода уже растекалась по дну, соединяя рыбные ямы, затопляя ложбины, крутя в воронках жухлые водоросли и мелкий песок. На том месте, где горловина, бугрился могучий родник. Пришлось поскорее выкарабкаться на берег, и вовремя: довольно скоро лёд, подтопленный снизу водой, уже потемнел. Вот тут радость охватила путешественника: вовремя заметил прилив. А ну как это случилось бы в то время, когда он ползал между слоями льда! И не убежишь, и не выломишься. Так и останешься распластаным, как лягушка, а случись мороз — вмёрзнешь в лёд.

Вот теперь Семён Размахаяев имел хоть и неполный, но всё-таки ответ на загадку: вода не уходит через дно, как сквозь решето, — у неё есть парадный ход... а куда, куда?

— Будем думать, — сказал он сам себе и, будто очнувшись, огляделся: занятый озером, до сих пор не замечал перемен в природе, а теперь вот с радостью отметил, что на полях снег уже талый и солнце светило тепло, — это означало, что пришла весна и пора отправляться в колхозное правление, чтоб подрядиться в пастухи.

В назначенный срок пёстрое стадо в его сопровождении вышло со скотного двора навстречу вставшему солнцу, ловя чуткими ушами дальше горлового пенья ручья, жадно обшаривая глазами чуть-чуть зазеленевшие луговины и раздувая ноздри; за день оно совершит, словно круг почёта, очередной круг жизни по берегу озера...

Пастух от скотного двора завернул в деревню, чтоб прихватить и частных коров, и был, как и в прежние времена, огорчён оттого, что снег стаял и вешняя вода сошла, а дом Сторожка и окружающий его пустырь были особенно неприглядны: вся бензинно-мазутная пакость теперь обнажилась и прямо-таки оскорбляла глаз.

Потом зарастут крапивой да лопухами все эти ожоги на луговине, а пока...

«Надо измерить шагами расстояние от усадьбы Сторожка до озера. Неужели вешние воды скатываются туда? А куда же ещё! Тогда надо рыть канаву и сооружать отстойник...»

Пустырь вокруг вражьего дома напоминал площадку для ремонта техники или пустой машинный двор, стойбище железных уродин с наполненными бензином потрохами.

«Как его, собаку, вразумить?»

— Эй, хозяин! — крикнул Семён, и Сторожок выглянул в окно. — Твою

территорию надо обваловать со всех сторон, как Чернобыльскую атомную станцию, чтоб заражённая вода не стекала в озеро. И очистные сооружения построить.

Валера в карман за словом не полез:

— А тебя надо обложить со всех сторон навозом — очень уж ты всякую органику любишь.

«Убедить его можно только кулаком по шее или дрыном вдоль спины», — подумал Семён.

— В бетонный саркофаг бы тебя, как вредного гада...

Валера ему в ответ матерно.

— Слушай, Валер, — это Размахай сменил гнев на милость, — ну в самом деле, нельзя же так. Неужели тебе самому не противно? Оглянись-ка вокруг себя.

— Да пошёл ты!.. — и Сторожок захлопнул окошко.

Тут со двора Сторожковых вышла Сестричка, поглядела на пастуха обиженно, словно она тут в тюрьме сидела и пастух в том виноват. Прекрасная рыжая шерсть красавицы коровы испачкана была тут и там чем-то чёрным.

Ну как тут вытерпеть! Самое бы лучшее — это вызвать сейчас Сторожка из дому да и отметить как следует, чтоб век помнил! Семён готов был так и сделать, но вслед за коровой вышел с хворостинкой Володька, улыбающийся Семёну радостно — давно не виделись, — и сообщил:

— А мне уже пять лет. Сегодня у меня день рождения.

— Да ну! — У Размахая сразу потеплело в груди. — Это, парень, очень круглый юбилей — орден тебе пора давать.

— Володька, а ну иди домой! — позвал отец, выходя на крыльцо. — С Размахаем толковать — только мозги засорять. Я тебе карбюратор подарю от космического двигателя, пойдём со мной.

Семён отвернулся и пошёл поскорее прочь, чтоб не сорваться в присутствии парнишки. Выйдя за деревню, сел на берегу озера и предался невесёлым размышлениям. Мысль «как его, собаку, вразумить?» не уходила. Ясно, что к добру у них дело не пойдёт, но какие меры воздействия принимать по отношению к Сторожку, Размахай не знал.

После некоторого раздумья, словно вспомнив что-то, оживился, принёс из дома заступ и принялся за работу: для успокоения нервов лучшее лекарство — сажать молодые тополя, берёзы, липы и дубки, черёмухи и рябинки. Молодняку-то много разрослось не у места — скучились на окраине да возле скотного двора, да на месте сгоревшей старой кузницы, да ещё на Весёлой Горке, где некогда церковь стояла. Семён выкапывал отсюда эту молодёжь, растущую в тесноте и взаимной обиде, пересаживал на берег, туда, где он оголился: озеро, как великая драгоценность, должно иметь зелёную оправу. Это была не просто весенняя посадка деревьев, а протест Размахая Семёна против безобразий, чинимых Сторожком, да и не им одним — мало ли их, холер, на земле!

Сюда к нему прибежал Володька, и они вдвоём — один копал ямы или выкапывал деревца, а другой придерживал переселенцев за их тонкие стволы — очень дружно работали. А если в день рождения человек посадит хоть одно дерево, это очень хороший человек!

Войдя во вкус, Семён за неделю пересадил деревьев триста, не меньше, — роща заняла довольно широкую полосу вдоль берега, у самой воды, куда коровам спускаться совсем необязательно. Размахая было не унять, и он продолжал работу с тем же упорством и пылом.

Молоком и мёдом кто-то брызгал на землю: уже зацветала черёмуха и распускались одуванчики. Наступила пора лягушних свадеб, любимая его пора, и он работал под неумолчное лягушиное ворчание.

Лягушек Семён любил. Случайности в том, что приснилось, будто одна из

них поселилась в нём самом, не было — это всего лишь следствие той дружбы, что уже много лет связывала его с лупоглазым племенем.

Он их любил за лапки-ноги, лапки-руки, так похожие на человеческие, за кроткие глаза, безобидный миролюбивый нрав, да и голосок у них добродушный. В сущности, это ведь единственные существа на свете, от которых человеку никакого зла; птицы, бывает, поклюют посевы или, скажем, ягоды в огороде; кабаны потравят поля, лиса заберётся в курятник, а волк утащит овцу; мухи и комары обидят кого хочешь; а лягушечки добросердечны и никому не мешают.

Летом, шагая за стадом, Семён частенько подбирал их с травы и клал себе в карман. А то и сами они туда залезали без спроса, пока он сидел на берегу, размышляя.

Жена его, когда жила с ним, за то и невзлюбила мужа, что находила лягушек в самых неподходящих местах: в кармане пиджака, в резиновых сапогах, в кринке с молоком, в ведре с водой — она знала, что это Семёновы причуды, и они вызывали её отвращение.

Ну, что о ней вспоминать! Уехала — и хорошо.

Итак, Семён подкармливал своих друзей лапчатых крошками от своего завтрака и живностью, вроде комаров и дождевых червей, сажал на плечи вместо погон, учил говорить по-человечески. В общем, нянчился с ними, так что они его тоже любили. Стоило ему подойти к озеру — тотчас из тины, из осоки высывались забавные мордочки и смотрели на него, жестикулируя лапками, обменивались впечатлениями; но если появлялся рядом с ним кто-то ещё, так и попрыгают в воду с берега, с осоки, с листьев калужниц и кувшинок на дно.

Среди них были удивительные племена. Вот, к примеру, одно такое жило в старой, давно вырубленной дубраве. От той дубравы остались лишь пни, каждый в кухонный стол, не меньше, а вокруг молодой дубнячок в рост человека. И вот на темя того или иного пня обычно при мелком тёплом дождичке выбирались лягухи большие, величиной в кулак — и сидели целыми семействами, блаженствовали. У старших имелось по карману в подзобке, из которого, как птенцы из ласточкиного гнезда, выглядывали лягушата и хлипкими лапками тянулись к губастому рту родителя, доставали пойманных им мошек или мелких червей, тем и кормились. А лягушата покрупнее, постарше сидели степенно рядом, и случись дождичек — гимнастику делали: лапку вытянут, уберут, другую вытянут...

Дубравницы умели свистеть, только свист у них получался толстый и короткий, как через патронную гильзу. Они, вообще-то, некрасивы из-за мешковатости своей да ещё из-за странного геометрического рисунка на спинах — чёрные ломкие линии будто вычерчены с помощью туши и линейки. Рисунок этот никак не радовал, он какой-то неживой, но вот глаза у них хороши: грустные, голубовато-рыжие, под тонкими складочками-бровями.

Совсем иное племя обитало в том месте, где впадал в озеро Панютин ручей. Эти лягушечки махонькие, с ноготок мизинца, паслись на деревьях — там осинник. Они очень ловко прыгали с листа на лист и как бы приклеивались: прыгнут, мгновенно приклеются — и листик тотчас перевернётся светлой стороной вверх; прыгнут — и опять перевернутся, спрячутся под зонтиком-листом от солнца. Подойдёт Семён к осинке, а на ней сидят-покачиваются семейства «ноготков». Они двух мастей: красные, как божьи коровки, — это, должно быть, барышни, потому как очень яркие, красивые; и зелёные с чёрными крапинками по хребту — это кавалеры. Впрочем, может, и наоборот, кто ж их различит!

Ещё одно необычное поселение заняло Рябухину заводь — эти величиной со спичечный коробок и носили замечательные реснички: на веках и на лапках, там и тут одинаковые. Некоторые с хвостами, но таких мало, остальные без хвостов — должно быть, он у них отваливался, как у ящериц. Эти лягушки

имели ужасно хитроватый вид, хотя, в общем-то, все, как одна, простодушные простачки. Вся ихняя хитрость — больше других любили овсяные хлопья, размоченные в сладкой воде. Опустит Семён ладонь с лакомством к самой осоке — хитрецы и лезли, отпихивая друг дружку. По вечерам они устраивали концерты: высывались все из воды, одна поёт «брр-кок, брр-кок» — другие слушают. Потом она нырк в воду и тотчас заплывает следующая: «брр-кок, брр-кок». Сконфузится и тоже — нырк на дно.

Вот теперь как раз эти концерты и начались. Заслушаешься! Семён сажал дерева, слушал лягушек, и лицо у него в эти минуты было глупое — он был счастлив.

Отдыхать пастух садился непременно на бережку, размышляя, и ему всякий раз вспоминалось... вернее, грезилось что-нибудь, как воспоминание или сон, или как только что случившееся происшествие.

У него на глазах озеро затягивало прозрачным ледком, на котором распускались диковинные цветы, папоротники, пальмы... лёгкая снежная позёмка мела — это колючий ветерок чистил лёд, будто веником... и отступала вода вниз, в каменную грудь земли, а морозец крепчал, потому невидимо намерзал под верхним слоем нижний слой льда, образуя плоскую полость от берега до берега... Толстые сосули подпирали верхний слой, пар от Семёнова дыхания оседал невесомыми кристалликами, они тонко-тонко, по-комариному звенели, когда он полз, влекомый непонятным азартом...

Ха! На него, путешествующего, набрела баба Вера, остановилась, вскрикнула и ударилась бежать, да неладом — шлёпнулась, вскочила, опять побежала, голося. Он засмеялся, и от смеха его отламывались и звенели тоненько ледяные ломкие кристаллы.

Под вечер она ему же, соседу, расскажет, как пошла на островок за вереском для бани и увидела подо льдом утопленника, к себе манил.

Смеясь, он перевернулся на спину, и тут набежала на него лиса, остановилась — он явственно видел красные, как цветы с крупными лепестками, лапы её; патрикеевна покружилась-покружилась над ним, метя рыжим хвостом, да и ткнулась носом к его носу. Семён погрозил ей кулаком, она подпрыгнула, будто мышкуя, и исчезла.

И уж совсем ни к чему случилось: наехала лошадь с дровнями — это Осип Кострикин отправился краем озера за сухостоем; приспичило ему, вишь, не запастись вовремя. Конское подкованное копыто ступило прямо на грудь Семёну, и он не на шутку перепугался: а ну как проломится лёд под такой-то тяжестью! Ковбой, слышно, коротко заржал, стук подков сдвоился: поскакал, значит, галопом. Интересно, видел Осип что-нибудь или нет? Если и видел человеческую фигуру подо льдом, то наверняка не поверил собственным глазам...

Семён, сидевший на берегу, следил рассеянным, чуть притуманенным взором, как спустилась с берега корова, потянула ноздрями воздух, как ударила копытом по льду, будто лошадка, и стала пить из образовавшейся полыньи... Семён не удивился этому ничуть, зато корова посмотрела на него удивлённо и вернулась к стаду.

Он же оглянулся на деревню и смотрел долго и сострадательно: жалел людей — они так заняты каждодневной суетой и не знают, не ведают, что если долго смотреть на озеро, то, при желании, его даже в самый жаркий день затянет льдом, а вода уйдёт, оставив ледяную крышу, и откроются глазам сумеречные пространства, так похожие на залы огромного дворца, где в малых бассейнах плещутся краснопёрые рыбы... и катаются по ярко-песчаным полам красные яблочки-снегири.

Семён пробирался в нишу под берегом и видел вдруг, как сверху, из окошка в земле, спустилось на цепи знакомое ведро, упало на промёрзлый грунт, громыхая, подёргалось. Он догадался: это Маня пытается зачерпнуть воды,

не зная, что колодец-то сухой. Размахай выхватил из ближней ямы здоровенного леща и вворотил его под ведёрную дужку. Маня стала поднимать, потом вдруг вскрикнула и ведро с лещом брякнулось обратно.

Семён долго хохотал, сидя и на дне, и в то же время на берегу озера... Не хочет баба рыбы! В кои-то веки поймала леща в колодце ведром — ей бы обрадоваться, а она перепугалась.

Радость его была устойчивой, и казалось, ничто не может смутить её.

7

Но вот при ласковой-то погодке наступил субботний день, а с ним пришла нежданная беда: на новенькой асфальтовой дороге — а это можно было видеть издали — вдруг стали появляться и притормаживать то одна легковушечка, то другая; постояв в нерешительности, они осторожно съезжали на просёлок, ведущий в сторону Архиполовки, и этак совершенно подло, крадучись, подползали к перелеску, высматривали: что, мол, там, впереди. И вот одна завилела между деревьями, другая... Семён впервые озадачился, оставив работу на пересадке берёзок и лип, и стоял разинув рот.

Когда первые машины высунулись на берег и из них вышли весёлые туристы, он почувствовал, как сердце его уронило себя в пустоту, как всегда бывало в отчаянные минуты жизни. Далее Семён Размахаяев только растерянно следил, как прибывающие занимали самые выгодные, самые живописные позиции на берегу и как то тут, то там возникала палатка, а то и две, начинал дымить костёр... Семён чувствовал своё полное бессилие, он не мог предотвратить всё это, как не мог остановить надвигающуюся тучу. А что ничего хорошего от нашествия ждать не приходится, было для него очевидно. Он вспомнил своё ликование по поводу построенной дороги, по которой можно уехать хоть на край света, и решил так: скорая радость — не от большого ума.

Размахаяев Семён Степанович никогда не мог понять, зачем, зачем продают в личное пользование автомашины и ещё лодочные моторы. То и другое приносит только вред человеческому обществу и природе: одни пакостят на земле, другие на воде. Вон Сверкалов ездит на легковушке-«каблукке» — это ещё туда-сюда, терпеть можно: он председатель колхоза, ему необходимо. Да и то: хватило бы ему и велосипеда. А остальным на что? Только для баловства. И это ради баловства понастроили столько автомобильных заводов и наделали столько машин?! И только ради баловства жрут столько бензину, отравляя атмосферу?! Это безрассудно. Это преступление! Если ещё придумают персональные самолёты и будут летать на них за грибами и на рыбалку — а ведь к тому идёт! — тогда всё, гроб, ложись и помирай.

Вечером по берегам озера загорелись костры, какие-то фигуры устроили вокруг них пляски, слышался стук топоров, песенные вопли на разных языках мира — словно объединённая рать татаро-монголов, печенегов и половцев въявь подступила к его озеру и начала планомерно осаду, предавая окрестности огню и мечу. Слышно было, как с треском повалили дерево; как вколачивают в заливе сваи — сооружают мосточки, чтоб удобней было удить; как поливают свои легковухи озёрной водой, и можно легко представить себе, как эта грязная вода стекает обратно в озеро.

Семён сидел на берегу перед своим домом, который тоже пришибленно созерцал нашествие: в окнах размахаяева жилища взблескивали, как слёзки, отсветы костров. Всю ночь оба они — дом и его хозяин — прислушивались к воровскому плеску, к приглушённым голосам людей, явно занятых браконьерским промыслом, и зябко поёживались.

Эта ночь была самой худшей в жизни Семёна. После неё он пал духом и даже похудел.

На другой день, когда туристская рать откатилась и растаяла, Семён

обошёл озеро, прикидывая размеры опустошения: остались кострища, пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты, смятые обрывки бумаги... Там вырублен куст, тут выволокли на берег тину и осоку, в одном месте зачем-то вырыли яму, кое-где попросту выдернули с корнями или сломали недавно посаженные деревца.

В том месте, где Векшина протока вытекает из озера, бобры ещё в прошлом году подгрызли большую ветлу, она упала в воду; Семён никогда не тревожил это место, любимое бобрами, навещавался сюда редко и коров не подпускал тут к водопою. Теперь легко было представить себе, что за люди приезжали, если они здесь с упавшего дерева удили рыбу, тут же причаливала ихняя лодка, осока и тростник были примяты.

Семён перебрался через протоку, чуть дальше, и ухо его уловило вдруг встревоженное одиночное «кря». Он замер, подошёл ближе к воде и не так уж далеко от берега в густой осоке за кустами разглядел острым своим глазом, сидящую на гнезде утку.

Надо сказать, что утки и раньше здесь селились, до тех пор, пока два года назад Валера Сторожков не побаловался тут с ружьишкой. Да и не один, а вдвоём со своим приятелем, участковым милиционером Сбитневым. Побаловались они в законное время, на законных основаниях, то есть в разрешённый для утиной охоты срок, но тогда же Размахай имел с ними обоими разговор, который едва не закончился драматически, то есть дракой. С тех пор облюбованное утками место пустовало. А теперь вот Семён чуть не проследился на радостях: вернулись утки на озеро! Однако же — что это? — неподалёку от утинового гнездовья вчера кто-то вырубал ивовое удище или рогулину для костра.

— Вот собаки! — пробормотал Семён.

Напуганная вчерашними событиями утка была встревожена настолько, что вот даже выдала себя нечаянным «кря», когда пастух шёл мимо. Сохранила ли она кладку вчера?

— Не бойсь, не бойсь! — сказал ей Семён вполголоса. — Свои люди.

Она не выдержала и взлетела.

— Ах ты, бедолага! — пожалел Семён и, любопытствуя, издали заглянул в гнездо — насчитал в нём двенадцать крупных зеленоватых яиц и поспешил уйти.

«Колочей проволоки, что ли, достать? — размышлял он. — Так ведь всё озеро не опутаешь. Что ж делать-то?..»

Ясно было одно: надо сопротивляться. Нельзя так, чтоб чужие люди приезжали, пакостили озеро, а его хозяин и хранитель молча и смиренно сносил такое издевательство.

— Своих подлецов хватает, — бормотал он, — а тут ещё варяги...

В течение последовавшей затем недели он предпринял некоторые охранительные меры. Прежде всего перекопал глубокими канавами просёлок, ведущий к озеру, а у съезда с асфальтовой дороги на грунтовую соорудил шлагбаум из неоструганных жердей. Хотел даже покрасить поперечину черными полосами, как на железнодорожном переезде, но краски не нашлось.

У этого шлагбаума, кстати сказать, застиг его персональный «каблучок» Витьки Сверкалова. Председатель сразу уразумел, что к чему и кто чему виновник:

— Не поел ли ты чего-нибудь такого, а? — ядовито поинтересовался он. — Соображаешь хоть, что творишь?

— Я объявляю район озера заповедной зоной, — сказал Семён твёрдо, почти торжественно.

Сверкалов с минуту, не меньше, изучал его взглядом, потом приступил:

— А кто ты такой? Кто тебя уполномочил? Чьи интересы ты представляешь и чью волю выражаешь?

Вопросов у него оказалось много, на все и не ответишь. От этого Семён стал сердиться и в повышенных тонах объяснил Сверкалову, что человечество правильно изобрело паровоз; самолёты тоже, туда-сюда, дело вроде нужное — правда, надо ещё присмотреться повнимательнее и разобраться; ну и космические корабли, судить не будем, не нашего ума дела, они, говорят, погоду предсказывают, хоть и неверно; а вот что легковушки и лодочные моторы есть дурацкие выдумки — это и ежу понятно.

— Ты потому так говоришь, что у тебя ни того, ни другого.

— И не будет! — пылко отвечал Размахаяев. — Не потому, что денег нет...

— Именно потому.

— Не из-за денег, а из-за принципа.

— При чём тут принципы, когда ты просто завидуешь! Люди приехали отдыхать. Они, вишь ли, рыбку ловят, купаются, а ты при стаде, как привязанный.

Вот этих дурацких объяснений Размахай не мог выносить спокойно и готов был хоть врукопашную.

В тот же день Семён сменил загородку: столбы приволок более толстые, вкопал их в землю глубже, а поперечиной стала служить не жердь, а бревно, которое прибил намертво железными скобами. Такое поди-ка, сломай! Закончив с этим делом, возле перелеска поставил дорожный указатель «Объезд» — это для тех, кто всё-таки как-то одолеет заградительное сооружение из брёвен: широкая, издалека видная стрелка указывала на травянистый просёлок, который шёл под уклон и в кустах терялся. Таким образом Размахай направил поток легковушек в болото; при этом тешил себя отрадными картинами того, как медленно и неотвратимо погружаются в трясину столь совершенные создания науки и техники.

Следующей субботы, дня им проклятого, он ждал, как начала битвы. Был сосредоточен, серьёзен, копил силы. Он знал теперь чувство полководца, готового к набегу с дикого поля: сторо́жа выставлена, главные силы во всеоружии бодрствуют, сердце полно веры в победный исход. И главная мысль бодрит: «Наше дело правое... кто с мечом к нам придёт...»

Но как раз накануне выходных дней разразился дождь с сильным ветром, грунтовые дороги развезло — нечего и думать, что кто-то доберётся до озера! Семён понял, что получил отсрочку, может ещё раз продумать систему обороны и укрепить её.

В середине недели погода немного разведрилась, но к выходным — вот удача! — опять прошёл дождь, правда, небольшой.

Собственно, подступов к озеру было два: во-первых, прямая дорога от Вяхирева — но там хилый мосток через Панютин ручей, трактора ходят вброд, а на легковушке не одолеть и в хорошую погоду; во-вторых — от новой асфальтовой напрямик через перелесок. Со всех прочих сторон — и леса, и болота, и холмы да буераки. Край земли, чего говорить!

Значит, если перекрыть надёжно перелесок, озеро можно спасти.

Хорошо бы наставить «ежей», какими в войну оборонялись от танков. Но нужно рельсовое или швеллерное железо, а его у Семёна не было.

Можно вырыть траншеи, насыпать поперечный вал, поставить частокол из брёвен, наворотить выкорчеванных пней, — вот это ему по силам, но работы много. На технику надёжи нет... в том смысле, что не даст Сверкалов для такой цели.

И тут осенило:

«А-а! Вот что: я засажу этот просёлок деревьями! Прямо посреди дороги — тополя, берёзы, липы. Никто не посмеет выдирать или ломать их — это преступление. А за посадку деревьев наказания не полагается — такой статьи нет в уголовном законе».

Мысль эта показалась Семёну спасительной, и он в эту ночь спал счастливо.

Снилось ему, что опять он путешествует по озёрному дну и набрёл вдруг на какое-то кольцо, вделанное в камень. Долго стоял перед ним Семён в недоумении: не кольцо ж даже, что-то вроде петли, и обросло ракушками — не разобрать, из чего сделано. Неужели железное? Камень, в который вделана петля, похож вроде бы на крышку, четырёхугольную, как у сундука. А есть ли под крышкой каменный сундук — не разобрать. Что, если её ломиком поддеть, а? Что там? Тайник или подземный ход? Вдруг откроется что-нибудь этакое... золото в виде кирпичей с печатями, например.

Попробовал приподнять камень, ухватясь за петлю, — нет уж, где там! И не шелохнулся. Трактор нужен или хотя бы лебёдка. Без техники не обойтись.

«Задача не в том, как поднять крышку, — сообразил он, проснувшись утром, — а в том, куда потом девать золотые кирпичи. Сразу сдать государству — неинтересно. И понаедут милиционеры с водолазами, вытопчут всё, выпотрошат, выгребут. Станет святое место проходным двором».

В общем, получалось некрасиво, если предположить, что там золото. А другого ничего не придумалось. Дурацкий сон!

Но он приснился и в следующую ночь, потому Семён на всякий случай привязал к петле поплавок на шнуре: чтобы летом можно было отыскать, если подъехать, к примеру, на плотике. А то кто его знает: вдруг вода перестанет уходить из озера! Ведь раньше она не уходила: когда ещё в школе учились с Витькой Сверкаловым, ловили рыбу на мормышку во всю зиму, от ледостава до того времени, когда можно покататься на льдинах в весеннее половодье.

Так чтоб не пропадала находка, надо её обозначить. Теперь-то не потеряется, всегда можно поднять. Например, использовать для этой цели штук пять-шесть автомобильных камер... привязать их пустыми к петле ещё зимой, а летом надувать через шланг... всплывёт сундучок, как миленький!

В следующую ночь он опять шастал по озёрному дну и увидел ту самую лису, что столкнулась с ним носом к носу через лёд. Он узнал её, да и она его узнала! Лисица у него на виду очень ловко выудила рыбину из ямы и уволокла, оглядываясь на подходившего Семёна: словно рыжий огонь, легко скользя, прополз по обрыву и исчез в голубом льду.

Пошёл Семён дальше и — возмутился, разозлился: показалось, что какая-то широкозадая баба в шубе то ли полощет бельё, то ли черпает рыбу из ямы. Баба обернулась на его шаги, рывкнула и побежала в сторону на четырёх... Медведь!

То-то встречались иногда на дне обгрызенные рыбы головы! То-то боялись забираться сюда деревенские псы: чуяли грозные следы.

«Ишь, не хочет мишка спать в берлоге, наладился кормиться рыбкой среди зимы... — соображала сонная голова Размахая. — Известное дело: спишь — не живёшь».

И приснилось дальше — медведь тот... нет, большая медведица!.. выломилась из озёрного льда и взошла по ночному небосклону, раздвигая звёзды лапами, и улеглась там, под Полярной звездой, будто в берлоге.

8

Две недели прошло — немного успокоился Семён.

Да и озеро поуспокоилось. Затоптанная береговая трава поднялась, кувшинки разостлали по воде широкие листья, и бутоны их готовились распуститься — самые таинственные, самые красивые цветы на свете! Лягушки посвистывали и напевали по ночам; серая утка насиживала яйца — вот-вот у неё должны были появиться утята; сверчок Касьян давно уже перекочевал из подпечка на волю. Барыня привела откуда-то шестерых котят, уже зрячих — где она успела их вырастить! Кошачье семейство гуляло целыми днями, а вечерами располагалось на диване смотреть телевизор.

В общем, жизнь шла своим чередом. Семён не заметил, как накатилась очередная суббота.

Он, вернувшись домой с работы, смолот лукошко овса на ручных жерновах, замочил на завтра десять горстей, а из замоченного вчера принялся варить свой любимый кисель. У Семёна было тревожное настроение; прогноз погоды на выходные дни был неопределённый: местами, мол, осадки. А будет дождь над Архиполовкой и озером или нет — как понять?

Руки работу выполняли привычно, то есть ложкой в киселе болтали, а вот голова была столь занята размышлениями, что это не замедлило сказаться: в избе запахло вдруг очень знакомо. Семён, матюгавшийся очень редко, тут просто не смог удержаться, потому как был голоден, вследствие чего выразился чересчур увесисто — кошка Барыня оглянулась на него с изумлением. Вылив кисель в миску, Семён поскрёб немного ложкой и страдающе заглянул в кастрюлю — на дне обнажилась угольная чернота.

«Ничего,— решил он хмуро,— годится... Не такой едали!»

Барыня посмотрела на него презрительно — совсем, между прочим, перестала уважать хозяина: рыбой сыта, паскуда (загоняет плотву под берег и очень ловко таскает когтистой лапой), — и привычно уставилась в телевизор; котята спали, уткнувшись носами ей в живот.

За окном разгулялся ветер, в избе же было уютней обычного, только свет иногда мигал, и это тревожило: должно быть, где-то столб вот-вот повалится — небось тот, что за скотным двором, он уже похилился от старости, или другой, у Панютина ручья, там подмыло, упадёт — сидеть без электричества сутки-двое, а то и трое.

Семён посолил щедрой щепотью — овсяный кисель соль любит! — налил поверх лужицу подсолнечного масла, прижимая отверстие бутылки большим пальцем, и сел перед телевизором с миской киселя и горбухой чёрного хлеба, намереваясь коротать вечер в приятном одиночестве.

И вот тут постучали в окно:

— Эй, хозяин! Пусти переночевать.

Семён слегка опешил: за стеклом маячила незнакомая голова в кепочке с длинным-предлинным козырьком — такие кепочки носят только иностранцы.

Кого это черти принесли? Неужели туристы? В такую-то пору! И где же они, собаки, пробрались? Ведь полоса обороны непреодолима для ихнего транспорта. Или они самым верным способом — пёхом?

На крыльце по-хозяйски затоптали — так нахально, незваными могут впереться в дом только туристы. В избу вошли двое, остановились у двери — молодой рослый мужчина лет не более тридцати и хрупкая, болезненного вида женщина в неопределённом возрасте: можно и двадцать дать, можно и в два раза больше. Довольно странная пара, вот что сразу подумалось Семёну: он-то высокий, статный, с решительным волевым подбородком и твёрдыми, красивыми губами, со взглядом смелым и даже нахальным, а она худенькая, невидненькая... кисти рук выглядывают из рукавов плаща — тонкие, слабые, как лягушьи лапки... длинные пальцы словно с перепонками. Она стояла не рядом со спутником своим, а чуть позади, как бы за его плечом, молчаливо, будто тень. Однако именно на неё уставилась Барыня, и шерсть на кошкином загривке поднялась дыбом, а зрачки расширились и стали прямо-таки во все глаза.

— Здравствуй, хозяин! — сказал турист так весело, словно их здесь ждали-ждали, аж ногами семенили. — Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам.

— Не балагурь, Рома, — тихо сказала ему спутница.

Вот чем решительно не понравилась хозяину гостя: плащ у неё был какой-то... какого-то линялого, неприятного цвета, а уж как скроен... наверно, что-то сверхмодное: этакими складками свободными и непонятно где сшито.

То ли из-за этого плаща, то ли ещё из-за чего всё в ней казалось совсем-совсем чужим, даже ветерок веял от неё холодный. Топорщиться, как Барыня, Семён не стал, а просто оглядел гостью без церемоний.

«Страшнее атомной войны,— определил он и пожалел не её, а бравого туриста: — Эх ты, недопёка! Не мог уж получше-то подыскать. Или у вас там в городе и эта за хорошую сходит?»

— Не исключено, что нас сейчас вытолкают в шею,— опять тихо сказала эта особа и отступила за спину спутника, исчезла.

Барыня между тем проворно перетаскала свой выводок под диван.

— Огонёк твоего дома, хозяин, служил нам путеводной звездой,— продолжал гость.— Если б не он — пропасть бы нам в ночи, окаянным.

Уж больно весело он это говорил, и спутница, по-видимому, опять урезонила его. Что именно она ещё сказала, Семён не разобрал, долетела только часть фразы:

— ... не вписываешься в эмоциональный фон... Мы явились не вовремя.

— Позволь в этом усомниться, умница моя. Законы гостеприимства одинаковы для всех, и для ласковых, и для сердитых, и они, между прочим, обязывают... Разве не должны мы этим воспользоваться?

Где-то вроде бы видел его Семён, этого деятеля по имени Рома. Голос знаком да и личность... особенно когда снял кепочку. Волосы у него зачёсаны обыкновенно, то есть прямо назад, смешной вихорек топорщился надо лбом с правой стороны,— Рома пригладил его знакомым жестом. Погоди-ка, кто же это? Или просто на кого-то похож?

— А что ж в гостиницу-то? — Семён с сожалением отодвинул миску: ну не дают человеку поесть! целый день на ногах, а пришёл домой — и тут покою нет.— Налево за углом в вишеннике — люкс для интуристов, а если пару остановок проехать на метро, а потом на трамвае — будет высотная, для особо важных персон.

Гость улыбнулся, а за его спиной раздался вроде бы смех. Нет, не смех, а какие-то странные звуки, похожие на те, что бывают, когда стекло керосиновой лампы протираешь сухой газетой. А что, собственно, смешного в его словах, если не знать, что за кабинетик налево за углом и почему он непохож на гостиничный номер люкс?

Не дождавшись хозяйского приглашения, гости сели на лавку. Тут как раз свет мигнул и погас. Зажглись из-под дивана два зелёных кошачьих глаза — они почему-то были прямо-таки яростными.

— Ну вот,— сказал Семён удовлетворённо.— Теперь сидеть при лучине до понедельника.

Он не спеша встал, уверенно прошёл по тёмной избе, чиркнул спичку и зажгёт не лучину, а керосиновую лампу. Стекло потёр сухой газеткой — ну да, звук похож на странный смех этой особы. Сверчок Касьян вдруг запел в кухонном чулане — чего это он прихромал с улицы? А-а, от дождя спасается! Или на гостей решил полюбопытствовать? А чего он распелся-то?

— Хорошо, да? — сказал гость своей спутнице.

— Ради этого я сюда и ехала,— тихонько отозвалась она.

Всё-таки до чего знакомый у него голос! А вот заколодило — никак не вспомнишь, кто это, где видел. Семён установил стекло в лампе, покрутил фитилёк, прибавляя свету, и осведомился:

— И куда же, извините за выражение, путь держите?

Ему хотелось так ядовито выразиться, чтоб им стало тошно и они поняли бы, отчего в старину говорили: незванный гость хуже татарина.

— Озеро ищем,— объяснил турист.— Тут где-то замечательное озеро есть.

Лицо его при скудном свете керосиновой лампы выглядело особенно мужественным: резче обозначились прямые линии бровей, губ.

Вишь чего им занудилось! А нужны ли вы озеру, подумали?

— Что ж, погода подходящая,— сказал Семён, ожесточась.— В эту пору хороший хозяин собаку со двора не прогонит, а вы, значит, порыбачить или позагорать?

— Просто полюбоваться, чистым воздухом подышать.

— М-да... Под дождичком да ночью оно, конечно, отчего не полюбоваться. А дорога досюда одно удовольствие... Вы пешим порядком?

— Нет, на автомобиле.

«Ха! В болоте утопили... А мужик то ли из военных, то ли из спортсменов».

— И где ж он, ваш автомобиль?

— Да тут... у крыльца.

Что-то не слышно было, как они подъехали. Однако гости не выказывали тревоги, значит, не завязли. Почему?

Гостя внимательно, будто изучая, оглядывала внутреннее убранство и устройство Размахаяева жилища, переводя взгляд с одного на другое; больше всего ей понравилась, видимо, печная занавеска, сделанная, кстати сказать, из Маниной юбки. На юбке был карман, так он и на занавеске остался. С неё эта женщина перевела взгляд на голбец, заваленный всяческой одеждой и подушками; потом на западную в подпол, в которую вкручен был бурав с кольцом; с западни — на вешалку, где висел мокрый брезентовый плащ хозяина; потом повернулась к божнице с книгами. Даже щели в полу и потолке её, по-видимому, интересовали.

Она сидела почти невидимой, только лицо бледно проступало в темноте, а вот глаза — глаза были видны Семёну отчётливо, они немного светились, как у кошки. Кстати, на Барыню она не обращала никакого внимания, а когда, наконец, посмотрела, та дёрнулась, как от удара электрическим током.

— По-моему, пахнет овсяным киселём,— заметил тихонько турист,— причём подгорелым. А по-твоему как, умница моя?

— Ты ошибаешься,— ответила ему умница так же тихо.— В этом доме пахнет рыбой, причём очень большой рыбой. Тут некогда варили сома, да и не один раз.

Услышав про сома, Семён немного смутился.

Они же продолжали разговаривать меж собой вполголоса:

— Неужели в здешнем озере водится большая рыба?

— Не сомневайтесь, Роман Иваныч, оно не простое, а царь-озеро!

Семён, чтоб повернуть беседу в иное русло, сообщил гостям, что, во-первых, колхоз у них недаром называется «Партизанский край»: здесь некогда шли упорные бои и местность до сих пор не разминирована; сапёры недавно наведались, заявили, что мины проржавели, снять их уже нет возможности, так что ходить по берегам озера запрещено. Кстати, на прошлой неделе корова наступила на противотанковую — рога до сих пор висят на ёлке, любопытные могут посмотреть. А во-вторых, по распоряжению Сверкалова, председателя местного колхоза, в озеро сбрасывают ядохимикаты, чтоб не травить ими поля. Вся рыба передохла, даже лягушки не живут; зато расплодились жёлтые змеи без глаз, они выползают по ночам и жалят до смертельного исхода; на прошлой неделе укусили заезжего уполномоченного сквозь резиновый сапог — теперь лежит в реанимации, никак не могут выходить.

Гости слушали со вниманием, во всяком случае не перебивали его, и это подогрело Семёна. Он хотел уже рассказать про озёрные испарения, которые столь вредны, что у приезжающих сюда выпадают волосы. Но его опередил голосок со странненьким смехом:

— А по ночам над озером поднимается туман, от которого люди лысеют и у них выпадают зубы.

— Ну да,— отозвался Семён озадаченно и замолчал.

Как она могла знать то, что известно было одному лишь Размахаяеву Семёну?

Тут как раз порывом ветра где-то, небось у Панютина ручья, качнуло столб в нужную сторону, разрыв в электросети замкнулся, в доме вспыхнул свет. Телевизор мягко загудел и, секунду спустя, экран трепетно полыхнул синей зарницей: появилась хрупкая дикторша, она извещала интересующихся о событиях в мире. Где-то горели леса, стадо китов выбросилось на берег, посёлок горняков провалился в шахтные выработки, два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб в туннеле под горным хребтом...

Барыня не обращала никакого внимания на любимый ящик, она не сводила глаз с незнакомых ей людей, а вернее, с женщины в плаще; куда она захватила своих котят, неведомо — они не показывались. А уж Касьяшка распелся — не унять. Чему-то он ужасно радовался, раз так напевал.

Вот теперь можно было хорошо разглядеть обоих гостей, но Семён невольно смотрел только на женщину. Что-то настораживало в ней и в то же время властно притягивало. То есть при явных недостатках эта особа странным образом была ужасно интересна и даже привлекательна: лицо узкое, умное, уши прозрачные (или так кажется?), волосы... рыжие или, вернее, оранжевые, а впрочем, при различном освещении они разные, давеча при керосиновой-то лампе показались чёрными. А что до всего прочего, то и не разглядишь ничего.

Надо же, бывают такие бабы, а? И на что только польстился этот хахаль! Вон Маня Осоргина — что рука, что нога, что всё прочее — всё основательное, надёжное, есть на что глаз положить. А тут какая отрада?.. Но всё ничто по сравнению с глазами госты! О каких недостатках можно толковать, когда такие, прямо-таки неземные глаза!

Гости негромко переговаривались, и хозяин уловил отрывок их разговора.

— Нет-нет,— тихонько убеждала своего спутника женщина,— здесь самое заветное место. На всей земле другого такого не сыскать!

— Но ты слышала, что он утверждает?

— У него есть основания так говорить, Рома.

— Вот видишь!

— Ты не понял меня. Тут чистейшее озеро, незамутнённое, как око земное. Вода исключительно чиста, животворна, волшебна. Леса по берегам не знают больших бед, разве что маленькие обиды, но они не в счёт.

— Но ты здесь не была раньше, потому и заблуждаешься...

— Того я и сама не знаю, Рома, была ли, не была ли.

— ... а наш хозяин — человек здешний, абориген, можно сказать. Так что он владеет полной информацией. По-моему, он механизатор.

— Нет, у него иное призвание. А пока он пастух.

— Что, судьба к нему несправедлива?

— Я у судьбы в резерве,— сказал Семён пересохшим голосом, однако довольно дерзко, и повторил: — Она держит меня про запас... для особо важного дела.

С минуту, не меньше, длилось молчание. Или так показалось?

— Переночуем здесь,— решил Роман.— Мне лично нравится и дом, и его хозяин.

Она ему прошелестела:

— Зато мы с тобой не понравились хозяину!

— Вот как... Жаль. Но уже поздно нам искать что-нибудь другое!

— Который час? — спросила женщина в телевизор, спросила твёрдо и властно.

Дикторша озадаченно ответила ей:

— Половина двенадцатого.

Ответила!.. Семён обомлел. Под сердцем у него испуганно ворохнулось.

— Вы обещали завтра в Москве дождь, а откуда ж он возьмётся, если тучи иссякают, не доходя при северо-западном ветре до Волоколамска и Талдома?

— Я не виновата,— пролепетала дикторша.— Сводку не мы составляем...

— Ну так сообщите им! Кто там у вас сочиняет сводки погоды? Зачем же вводить людей в заблуждение!

О, каким тоном она может разговаривать, эта слабенькая, хилая женщина!

Растерянную дикторшу в телевизоре сменил какой-то испуганный тип, наверно, кто-то из осветителей или операторов; у них там начался явный переполюх — телевизор мягко щёлкнул и выключился сам собой.

— А всё-таки пахнет овсяным киселём,— сказал Роман вставая.— Меня таким угощали в Полесье, правда, не подгорелым.

Женщина опустила в карман плаща тонкую руку, вынула какой-то прутик, разломилла его несколько раз и бросила на пол — слышно было, как просеялся по половицам этот мусор — тотчас ветерком опажнуло Семёна, и в избе густо запахло рыбным ароматом — да, варёной сомятиной, не иначе; будто на шесток вытащили ведёрный чугуи, откинули прикрывшую его сверху сковородку, и пар от разваренной рыбы растёкся по избе. Барыня порскнула из-за дивана в подпечек.

Семён ничего не ответил на «до свидания» своих гостей, сидел, как онемелый. А они вышли с самыми невозмутимыми лицами.

(Окончание следует)

Фёдор Сухов

СОЛОВКИ

Слово С о л о в к и я услышал в детстве, в годы Великого Перелома, слово это так страшило моих односельчан, моих земляков, что я не решался кого-либо спросить, что оно означало.

— Вырастешь — узнаешь, — так сказал мой дядя Фёдор Петрович, когда я попытался спросить у него о злоедей тайне произносимого слова.

По всей вероятности, дядя мой чувствовал, что ему не миновать той участи, какой не могли избежать многие мои односельчане, поэтому он и поспешил войти в колхоз... Но так уж случилось, колхоз был признан кулацким, вошедшие в него, по большей части зажиточные мужики, все они были высланы из родного села. А куда?

— А кто знает куда... Наверно, на Соловки.

Так говорили мои односельчане, мои земляки.

Впоследствии слово С о л о в к и подзабывалось, заслонили другие слова: К о л ы м а, В о р к у т а, У х т а. Позабылись и те, кто стал жертвой Великого Перелома. Правда, в моём селе, в моём Красном Осёлке, многое напоминало о хозяйственных, до самозабвения трудолюбивых стариках: справные дома, гибнущие сады, вырытые почти у каждого дома колоды, воркующие в ивовых зарослях родники. Да и сам я часто вспоминал своих земляков, хорошо зная, что Великий Перелом не мог пройти безболезненно, всякий перелом — рано ли, поздно ли — скажется, даст о себе знать. Возможно, потому-то и позвало меня на Соловецкие острова, дабы мог я воочию узреть окаменелые слёзы русского земляшца, русского оратая, да и не только русского — на Соловецких островах каменеют слёзы и украинских хлеборобов, и белорусских селян, каменеет боль всей страны, всего народа.

2 августа 1989 г.

с. Кр. Осёлок

Земляки

Их ссылали, их гнали на Соловки,
Знать, такая судьба, знать, планида такая.
Под дождём да под снегом они волоклись,
Уроженцы приволжского знатного края.

Земляки мои, односельчане
В арестантском, понуром шагали строю,
В тягостном-тягостном стыли молчанье,
Вспоминали калину, малину свою.

Подоконней рябины багряную кисть
Берегли вдалеке от родимого дома,
У студёной воды долго-долго толклись,
Невеликого ждали паром.

А когда на паром усадили себя,
Ночь кромешная на воду пала...
Знать, такая планида, такая судьба,
Позабудь, как грустит луговая купава.

Позабудь, как звенит колокольчик лесной,—
Ночь кромешная хлещет стеклянной крупью.
Отоснился, забылся отжиночный сноп,
Осень поздняя ходит по полю.

А по весям, по градам слезятся огни,
Плачет осень по весям, по градам.
Земляки мои, смиренно сидели они,
Пряча взгляд свой от дикого волчьего взгляда.

Отводили от глаз конвоира глаза,
Что полынью грустили да лебедою...
Моря Белого белая стыла краса,
Над солёной восстала водою.

Высоко поднималось стеной крепостной
Беломорское древнее диво,
Что кромешною ночью, её тишиной
Земляков моих огородило.

Успокоило их лебеду да полынь,
С потайными сроднила лугами...
Может быть, потому-то такая светлынь
Над морскими стоит берегами.

Голгофа

Где-то рядом Мезень, где-то рядом Печора,
И Онега, совсем-то она недалёко...
К милым северным пожням, к их травам, к их пчёлам
Прикоснулось моё просветлённое око.

К диву белому, к белым ночам прикоснулась
Неутихшая грусть василькового лета.
Не чужая — моя возвращается юность,
Потому-то так дивно всё, всё-то так лепо.

Катят воды свои величавые реки,
Много-много воды утекло, укатилось!
По лесам белоглазо взирают орехи
На небесную, шумно сошедшую милость.

Дождь пролился! Резвился на радость сорокам,
По Мезени скакал, по её глухоте.
Припадая к оленьим размытым дорогам,
Близоруко плутал в непроглядном тумане.

К диву белому, к белым ночам прикасался,
Освежал, омывал эти белые ночи...
Буду помнить до самого смертного часа,
Как земля посорошек свой высоко возносит.

Возвышает себя молодой подорожник,
Колокольчик и тот приподнялся высоко.
Василькового лета зелёные пожни
Кажут небу своё просветлённое око.

Озерцо невеликое кажет урёма
И не кажет небесные дивные страсти.
Снами белыми, белою-белою дрёмой
Усыпляют себя соловецкие старцы.

Значит, ведают старцы, что случилось, случилось
Со святою обителью в некую зиму.
Показала свой норов нечистая сила,
Повалила стоящую смирно осину.

Всё-то, всё повалила. Осталась Голгофа.
На Голгофе белеют мужицкие кости,
Да заветные камушки, вроде гороха,
Долго-долго хранят беломорские гости.

Секирная гора

Здесь осины светлы, как берёзы,
А берёзы не так уж светлы.
Сгибших узников жгучие слёзы
Обожгли всем берёзам стволы.

Не смогу рассказать, не смогу,
Не сумею правдиво поведать,
Как на белом блескучем снегу
Не моя ль ночевала Победа?

Не моя ль присмирела война,
В неглубоком укрылась овраге?..
Вся страна, вся страна, вся страна
Обратилась в зловещий концлагерь.

Мой окопный товарищ, позволь
Прикоснуться к открывшейся ране,—
Не зажившую давнюю боль
Ни в каком не укроешь тумане.

День и ночь она кровоточит,
Омрачённой тоскует зарёю.
А взошедшего солнца лучи
Над Секирной темнеют горою.

Я и сам каменею лицом,
На великом вздыхаю погосте.

Знаю я — под каким колесом
Неповинные хрустнули кости.

Под какую секирой сложил
Эти кости мой друг, мой ровесник.
Потому-то так долго кружил
Лиха чёрного пасмурный вестник...

Плач олонецкого ведуна

Темнеет вода от нахлынувших дум,
Мрачнеет её оловянное око.
Рыдает Олонца лесного ведун
Слезами Иереми пророка.

Известный — да всей-то России — поэт
Изводит себя неизбывной кручиной.
Успокоения прежнего нет,
Угрюмо глядит бородатый мужчина.

Блится слезой, что светло пролилась,
На зорю рассветную пала.
«Неужто и вправду Советская власть
Осталась без власти, без права?»

Сам сатана всё захапал, всё взял,
Над всей-то страной верховодит.
Уразумить бы... Да нету, нельзя,
Случилось затмение вроде.

На Соловки вся страна подалась,
Уныло бредёт под конвоем.
Советская власть... Да какая тут власть?!
Тут пахнет всесветным разбоем.

О мужике неусыпно скорблю,
О голубиной печалюсь стае,
Слезами кричу... Никакой лизоблюд
Утихнуть меня не заставит!

Взойду на костёр, как входил Аввакум
В опальном своём Пустозёрске.
Освобождаю свой пасмурный ум
От книг, от стихов богомерзких.

К «Поморским ответам» уходит душа,
К онежским былинам уходит,
В них шорох, в них шёпот, в них шум камыша,
Должно быть, к грозе, к непогоде.

Уже непогодит, уже моросит,
Робеет осина, берёза...
По всем-то по весям, по всей-то Руси
Народ не желает колхоза.

Не принимает, идёт супротив,
Народ-то всё ведаёт, знает,—
Не усыпить никакой коллектив
Медовыми сладкими снами.

Тогда-то и показала себя,
Нечистая грянула сила,
Не пощадила она воробья,
Она никого не щадила.

Не пожалеет она и мою
Волшебную дивную флейту.
Молю я, о Господи, слёзно молю:
Придвинь мою грусть к бересклету.

К калине, рябине скорее приблизь
Мои потаённые слёзы.
Скорбящей души половеющий лист
Утешат утиные плёсы.

Освободят от нахлынувших дум,
От зорко смотрящего ока».

.....
Рыдает Олонца лесного ведун
Слезами Иеремии пророка.

Глазами пророка взирает на мир,
На ту логовину взирает,
Где серого волка так долго кормил
На Соловках замордованный заяц.

* * *

Всем усопшим и всем убиенным
Память вечную воздадим!
Словом праведным, словом нетленным
От забвения огородим.

Да возвысится вешнее слово
Над житейскою суетой,
Обернётся сосновой
Несгибаемой прямоюй.

Колокольною медью
Расплескает свой звон.

Прикоснётся к бессмертью
Белой полночи сон.

Сон морской голомяни
Сторожат маяки,
Что маячат, что манят
На мои Соловки.

Может, с Кеми, а может,
С Печенги приплывёт
Мрачноватый, но всё же
Милый-милый народ.

Тот народ, что Корелой
Величает себя,
Что сосной обгорелой
Слышит стынь сентября.

Посредь красного лета
Слышит осени грусть...
Бредит взбалмошным ветром
Беломорская Русь.

Беломорская чайка
Неутешно вопит.
Жизни тёмная чаша —
Чаша горьких обид.

Неутихшая горечь
Плещет пенной волной,
Белой ночью глаголет
Над печалью земной.

Над великой обидой
Всех озёр, всех морей,
Над забытой, убитой
Давней жизнью моей.

Сергей Бардин

Гайка леворезьбовая, клин стальной

РАССКАЗ

Приходит Иван с работы домой, а там у него в коридоре дорожка ковра-вая новая лежит. Дорожка наша, отечественная, с рисуночком — её Ивану тёща подарила, золотая старуха. Простая наша советская старуха — и вот поди ж, такое благородство по отношению к зятю, то есть к Ивану. Она сперва дорожку слишком длинную купила, но потом порезала ножницами на две половинки. Одну — Ивану с Надюхой Захаровной, дочке её. А вторую — богатенькому своему сыночку. Но тот от своей половинки отказался: «Неудобно нам, — говорит, — мама, такую пошлую дорожку брать, поскольку мы в заг-ранку ходили и теперь сильно богатые, у нас люди разные бывают». Истин-ная правда — у них на стене ятаган висит турецкий, и на комодке сальная стоит индейская свеча!

Но потом они дорожку, конечно, взяли. И Иван взял тоже, ну и, нату-рально, бережёт её, не позволяет пацану своему Кирюшке Ивановичу на неё велосипед с улицы ставить. А тут: здрасьте! Приходит — стоит новый вело-сипед прямо на дорожке. И не жалко Ивану её, она же дарёная, а просто её пылесосом не откачаешь от пыли. В пылесосе вкладыши кончились, где их теперь взять? Иван не знает. Я не знаю. И никто не знает.

А с другой стороны — где же его ставить, велосипед? На лестнице не бросишь. У соседа нашего с Иваном коляску увели с пятого этажа и красное пластмассовое мусорное ведро. Теперь вот коды начали ставить. Поспокойнее стало. Хотя о чём это говорит — если раньше не требовалось, а теперь без них житья нет? Ведь чего только у нас на лестницах не делают, только что детей не делают. Да и детей тоже делают — сам был молодой, знаю, и в дружине добровольной десять лет. Но вот велосипеды и коляски раньше не крали. А теперь, код не код — если захотят, то обязательно сведут. Потому что красть стало почётно. А обворованному быть — хоть ты семи пядей во лбу — всё равно что голому выставиться перед всем миром.

И вот видит Иван, что велосипед на дорожке стоит. А рядом с ним педаль-ка лежит с рычагом, клин и большая гайка, и слетела цепь. Иван пацана Кирюху вызвал — и сразу по заднице для острастки, чтобы понимал, откуда вещи берутся и как их беречь. А сам потом присел и стал смотреть, в чём дело. И видит, что клин выпал, потому что его на заводе не то что молотком вгоняли, а просто врубали топором: резьба всмятку и гайки малой нет. А главное, видит он, что большая гайка леворезьбовая с шайбой тоже сорваны и тихо рядыш-ком лежат.

С этим велосипедом длинная история. У Иванова Кирюхи росточек ма-ленький, они все крепенькие такие, Мухины, род их такой — гённая инженерия то есть.

Я вот Кирюхе и говорю всё: не горюй, мол, Кирюшка, малый.— не большой. Ещё спасибо скажешь, мало ли что может быть, а маленькие — они живучие. Сколько за это время больших и большеголовых погубило, не счесть, а вы капелька за капелькой вечно капаете и будете капать. Не в этом, говорю, суть!

Вот и попросил Кирюха Ивана: «Хочу велосипед „Орлёнок“!» Как ни уговаривал его Иван: «Доезди, Кирюшка, на «Школьнике» до взрослого состояния», — нет, не хочет. Переживает из-за роста. Хочу, говорит, новый «Орлёнок», а на «Школьнике», говорит, ручка резиновая отвалилась и крыло, ты мне обещал поставить, а не поставил. Иван пытался подольститься: «Ты ж у нас сам рукастый, Кирилл, весь в папку». Но тот упёрся — и ни в какую. Иван уже сам чувствует — нет. А тот к деду подкатился, намекнул, ну старый и колонулся с ходу, что вхожу, мол, в долю и даю от пенсии на веломашину 30 рублей. А тут Кирюшку в пионерский лагерь отправили на лето, деньги и разлетелись по пустыкам. Но потом, когда из лагеря назад возвращаться, то он всё про велосипед спрашивал. А Иван ему: не бойсь, за нами не заржавеет — и всё такое. Тут и его супруга Надька расхныкалась: не обманывай ребёнка, покупай. Подзаянли они у меня деньжонок, и стал Иван охотиться за этим велосипедом.

Дефицит на них стоял страшнейший. В семь часов папаши-мамаши к магазину бегут, час ждут, потом, как универмаг откроют, как отпрыгнут от дверей продавцы — они все, как дикие, несутся в отдел велосипедов. Прибежали — нет велосипедов, и спокойно идут на работу. Иван раз восемь ходил, однажды через это чуть в тюрьму не попал. Пришёл он в то утро в магазин, увидел, что нет велосипедов, и пошёл на работу. Стал к автобусу срезать через сквер по газону. Мимо урны идёт, смотрит, а там на дне её чистеньком лежат пять кошельков. Кожаный, «подковка», женский с пуговкой и ещё два. Присел Иван, смотрит — ничего не может понять. И тут сообразил. Это ж карманник поработал в толчее! У Ивана сердце упало — он хват за карман, аж испарина пробилась — но деньги на месте, слава богу. Он ещё раз заглянул в урну. Лежат. И тут он поднимает глаза и видит, что наряд милиции приближается к скверу. У него снова сердчишко — прыг! А ну как, думает, возьмут тебя над этими кошельками да с деньгами на велосипед в кармане — докажи потом, что ты не верблюд. И Иван бочком, бочком, потом шажком, а потом бегом из этого сквера.

Настрадался он с этим велосипедом несказанно, и вдруг ему повезло. Он днём с работы сорвался, приехал — стоят. Новенькие, синенькие такие, а колёса красные. Обрадовался Иван, стал выбирать. Штук двадцать перебрал, пока выбрал приличный. Всё ему проверил — ход, тормоза, спицы, раму, руль — и пошёл отдавать кровные его с дедом сорок семь рубликов в кассу. Купил и домой повез.

А дома глядит, седло, которое было высоко поднято, не опускается вниз. А Кирюшка-то у него низенький. Снял тогда Иван седло, стал прощупывать изнутри раму и нашёл выступ. Взял он напильник круглый, высказался по этому поводу матом и через полтора часа посадил седло на место. Маслицем смазал и посадил. Шины подкачал, масло вытер, оттер пот со лба и выкатил машину в коридор: «Катайся, Кирилл, наследник ты мой дорогой!»

И теперь, через неделю, присевши и посмотревши на эту большую леворезьбовую гайку и клин, лежащие на ковре, понял Иван, что придётся всё тут менять. Он бы гайку на родном предприятии выточил, но она нестандартная. И тогда он находит книжку гарантийную. И хотя ему жалко отдавать талон за такую ерунду, как гайка, но сделать он ничего не может. Потому что откатался Кирюшка у дома всего неделю и теперь ревет там. И велосипеда жалко, и тут папка ему ещё по заду надавал. Стало что-то так тоскливо у Ивана на душе от того, что не смог он своему сынишке хорошую вещь купить,

как он ни крутился.

С утра он в мастерскую гарантийную не поехал. Иван мужик тёртый, он понимает, что они там себе начало сделали часов с десяти, не раньше. Поэтому он утречком слетал на работу, отметил, отпросился и поехал в гарантийную на улицу Романа Роллана. К полдвенадцатого и прибыл. И как только подошёл, так сразу увидел, что не он их, а они его умнее! Возле подвальчика народу полно, и ещё не открывали. И тогда он догадался — в двенадцать они открывают, конечно.

Занял Иван очередь, сел возле подвальчика на каменный забор. За ним ещё несколько человек подошли. Сели, стали ждать.

А народ не молчит, обменивается, выстраивается, кто за кем, шебуршит. Минут через пятнадцать ещё три человека подошли, спокойные, тихие такие. Стали в начало очереди. Молчат. Это те, что с утра пришли, к девяти часам. Они в разговоры не вступали — уварились.

Тоже верно сказал кто-то, когда тебя по мелочам обижают, то криком кричать хочется. А когда тебя по-крупному нагреют на три часа времени, когда не отойдёшь далеко с этим велосипедом — ни в магазин, ни на работу, ни домой — и знаешь ещё, что от начальника за опоздание выговор будет, тут уж не до крика. Тут уж тихо стоишь, потому что пар за три часа весь из тебя вышел: «пши-и!»

А один молодой человек, из поздних, начинает жаловаться и рассказывает такую притчу. Решили ему жена и дочь подарок сделать, пока он в командировке был. Накопили они сотню тайком, потому что все деньги у кого? У них, у негодяк. («Если их вовремя не пропьёшь», — влез тут чей-то голос.) Вот именно. И купили они ему за сотню рублей велосипед «Салют», разборную машину. Брала сами, хотели, чтобы был сюрприз. А разве бабам такое поручить можно? Его, этот «Салют», надо из ста штук один отбраковывать. Ну, делать нечего, купили. Приехал он, посмотрел, поблагодарил своих женщин, чмокнул их в розовые щёчки, машину собрал и повёз пробовать. Метров через двести, чтобы не соврать, рама у него и лопнула. Три раза он «Салют» сюда возил, чтобы приняли. А вот теперь второй раз за три месяца приходит, назад получает.

Стали сердобольные советовать из очереди: ты бы позвонил им, прежде чем приезжать, а то вдруг снова не выдадут? А парень, он теперь опытный, звонил — говорит, выдадут.

Народ же в очереди интересуется, спрашивает, а где ж они делают его, это дерьмо железное; и кто-то книжечку гарантийную у парня взял, листал, листал, и потом всё-таки нашли они, что за город чудной такой. Йошкар-Ола. А, говорят, тогда понятно.

— Что понятно-то?

— А то, что людей чем-то и там занять нужно.

А другой:

— А там и жить не надо.

— Умный ты больно!

И тут ещё один:

— Был бы умный — по телефону бы звонил, не сидел с утра.

И кто-то:

— Ну и что? Я ихнее расписание, кажется, наизусть выучил, а всё равно сижу, как пенёк.

— Все мы пеньки.

— Вот это точно!

— Да бросьте. Вы тут сидите, а время рабочее идёт, и всем хорошо. Кому охота пахать?

— А мне отрабатывать придётся.

— Это, как говорится, твои трудности. Отрабатывай на здоровье.

- Э-во, из-за таких, как вы...
- Пошёл ты!
- Деловой!

Но тут крикнули: «Тихо, вы!» — и все замолчали. Точно — изнутри кто-то дёрнул с лязгом задвижку, и шаги его прошуршали затихая. Секунду постояв, публика опомнилась. Первые решились, толкнули дверь, она открылась, и все с сопеньем и шарканьем ног повалили в подвальныйчик.

И по прошествии малого времени выстроилась очередь в приёмной комнате. Сразу же две бабки, которые поглупей, стали ругаться между собой, а два мужичка молчаливых шмыгнули к мастерам в комнату. Они за неразберихой быстро получили своё, кинули денежку и ушли. Время потянулось. Пришёл представитель велосипедного магазина и отнял много минут. Он шёл без очереди. Народ засопел было, но представитель стал нарочно громко называть главного мастера Геной, и все утихли. «Знакомый», — тихонько загудели голоса. «А чего ж он для себя берёт?» — «Эх, теперь если кто по знакомству у мясника мясо на глазах у всех берёт, то никто и не вякнет». — «Потому что боимся». — «Как в восемнадцатом году, я читал». — «Убивать таких надо». — «Тихо вы, а то он вообще отпустить не будет». И какой-то в импортном плащике: «Вот и построй с таким народом коммунизм». И все шарахнулись от него на всякий случай, как от чумного.

Мастеров было всего два. Один здоровый такой бородач в «адидасовской» кепочке — это Гена. А другой молодой, лет двадцати пяти, мордастый, под автосервисного мастера работает, Николай Иванович. Когда они свои дела закончили, то молодой в приёмную вышел. Народ заёжился, заволновался, потому что наступила та роковая минута, когда властный человек объявляет свою волю. Что он сейчас скажет? Что велосипеды будут выдавать завтра; или что будут обслуживать после трёх; или что сегодня санитарный день. Но он ничего такого не сказал. Сел и вежливо так спрашивает: «У кого что? Давайте квитанции».

И тут все обрадовались, задышали. Получающие выдвинулись вперёд для получения. Второстепенные по мелкому ремонту откатились назад, чтобы не нарушать стройного ритма сдачи сломанных и стремительной выдачи отремонтированных машин. Сдающие же держались средней группы, понимая, что получить свои велосипеды — это быстро. А вот сдатчики далеко не все сдадут. Мастерская может не успеть всех принять к обеду, может пресытиться велосипедами, а может прийти машина с запчастями, и тогда сдача перенесётся на вечер или на завтра.

Первым пошёл тот многострадалец с «Салютом», трёхмесячник. Вызвали Гену звоночком, и пошли они искать его велосипед. Никак не найдут. Пожалел Иван, что Гена этот занят, он ему с самого начала попроще показался. Но нечего делать — ищет и ищет Гена тот починённый велосипед и найти не может. А у Ивана очередь всё ближе и ближе к молодому подходит. И вот когда минут через двадцать подошла, Иван пододвинулся к столу, разжал кулачок и протягивает на ладони гайку леворезьбовую и клин стальной. А другой рукой книжку гарантийную даёт, показывает, что, мол, имеет все права.

Молодой же Николай Иванович спокойно поднимает на Ивана спокойные свои глаза и даёт ему справку, которую Иван сперва даже не понимает. Молодой терпеливо повторяет: «Все эти детские велосипеды «Школьники» и «Орлёнки» две недели как переведены отсюда в металлоремонт на Пятницкую улицу, потому что перегрузка». И Иван понимает, что ему крупно не повезло, и начинает вдруг сильно тосковать в душе. А снаружи он не хорохорится, а только старается сдерживать свой темперамент и говорит, что как же так и даже объявления у вас нет, и всё такое. И ещё он пытается объяснить, что ему и чинить-то не надо, а только надо бы гайку леворезьбовую и клин стальной.

Молодой мастер молчит, ждёт, пока Иван не выскребет себя до доньшка. А Иван: «А вообще, ладно, клин не надо, я его сам выточу, мне бы только гайку, товарищ, потому что она нестандартная...» Говорит Иван, говорит, а потом поднимает на мастера глаза и вдруг начинает понимать, что тонет. Тонет, братики и граждане, барахтается и не может всплыть. А мастер спокойно так и терпеливо смотрит на него и отвечает, что рады бы они ему дать, но вот ремонт детских велосипедов на Пятницкую перевели — две недели тому назад.

И обращается к следующему: «Что там у вас?» А Иван всё ещё здесь стоит, хотя его как бы уже и нет в помещении. Он переживает двух человек, а потом всячески старается привлечь к себе внимание мастера. Он ёжится, извивается и, наверное, от этих движений тела у него щёлкает что-то в голове. Он старается понравится мастеру, чтобы тот заметил его. Чтобы он заметил его, выделил и полюбил, как брата родного, как отца и сына, и Святаго Духа. И чтобы тогда он непременно дал ему гаечку. И для этого Иван готов, как Данко, вырвать из грудной клетки своё пылающее, бухающее кровью сердце и протянуть его мастеру на ладони: на, кушай, жри! Но тот уже занят следующим посетителем.

И тогда Иван по своей русской привычке начинает бубнить: «Ну что ты, мужик, ну не будь падлой, ну дай гаечку леворезьбовую, а клина не надо, одну гаечку, жалко тебе, что ли? А то я вот заплатить могу, хочешь — возьми рубль или два, а хочешь — могу сделать тебе чего хорошего, хочешь — возьми коня любого или юную пленницу с берега дальнего...» — и так далее, и тому подобное, и от усердия и отчаяния Иван то ли в самом деле начинает немного подвывать, то ли это радио поёт и стонет. А мастер ему: «Отойдите в сторону, граждане, вы людям застите и работать мешаете».

Как только он это сказал, Иван вдруг ощутил в руках новую силу, он чувствует, что сейчас у него всё в руках запрыгает, и он ему... Но это — стоп! Этого вот не надо. Это уже было, проходили. И потому Иван отходит прямо на склад, где Гена всё ищет и ищет среди двадцати велосипедов тот страда-тельный трёхмесячный «Салют», ищет — и не может найти. И там, внутри, практически один на один, трогает Иван его за лацкан и говорит: «Геня, друг, нате вам рубль, как человека тебя прошу, дай гайку». А Геня вдруг ужасно напыживается с похмелья и от безысходности поиска и отвечает, что эти гайки, мол, ужас какой дефицит. Про них даже статья была в «Советской России», в «Крокодиле», в «Работнице», в «Уральском следопыте», в «Московском комсомольце» и в «Курьере ЮНЕСКО». Ясно? А мастерская детских велосипедов теперь на Пятницкой улице, её две недели назад, как туда перевели.

И тогда Иван выходит на улицу и всё вдруг понимает. И вот что его больше всего беспокоит. Елы-палы, думает он, ведь если такой ушлый мужик, как я, на этих велосипедах нагорел, то любая инвалидная бабушка со своим внучком тут полздоровья оставит. И с этим он выходит на улицу и чует: морда горит, кровь клокочет. Остановился он, отдышался, слёзку обиды из уголка глаза вытер — эх, невротики мы, невротики! — высморкался, выmaterился и пошёл на работу.

По приходе он сперва получил выговор от начальника. И вот стоит, трясушимися руками заказ-наряды разбирает. Тут ему расчётчица Маша и говорит: «Зайди, твой тебе звонит из дома». Пошёл Иван наверх, взял трубку и сразу слышит: «Па, ты велосипед починил?» Иван ему в трубку и просвистел, что я тебе дома покажу «починил». Сын для виду захныкал, конечно, сразу: «За что?» Иван поругал его немного, чтобы успокоиться, и сказал: «Суп на плите, котлеты в холодильнике. Матери позвони», — и повесил трубку. Полегчало ему очень от этого разговора, и стал он спокоен, как скала у моря, и стал думать про пользу маленькой своей семьи.

А как только звонок прозвонил, он с работы на трамвай и с пересадками, с пересадками на Пятницкую улицу. Едет, а сам уверен, что раз утром у него не получилось, то и теперь ничего не выйдет. Это как наваждение — хотите верьте, хотите нет. Знает, и всё.

Приехал он, мастерскую нашёл и видит, что там бабуся зонтики принимает и выдаёт. Иван её про велосипеды спросил, а она ему в ответ: всё верно, перевели их сюда недавно, но мастер в отпуске и будет только пятого — через восемь дней. Что интересно — раньше, утром, то есть когда Иван был ещё молодой и необученный, он бы начал скандалить, кричать, ножками топтать, слюнями брызгаться. Но теперь он эту бабушку вежливо так спрашивает: «Где тут у вас начальство?» Она равнодушно себе за спину ручкой показала. И понял Иван, что всё ей в жизни её догорающей до самой лампочки, что эта новая велосипедная служба её не касается вовсе, да и начальства там нету никакого.

Всё, домой пора, понимает Иван своей головой. Но остановиться так уже не может. Он откидывает прилавок и проходит прямо в дверь, ведущую во внутренние покои. Туда, где газовые зажигалки заправляют. И видит он там, что сидят под лампой в глубине и уюте, среди светящихся аквариумов, пять мужиков. И так хорошо сидят, курят и беседуют, что захотелось ему окунуться туда же и забыть все, велосипедные свои заботы.

Как хорошо теперь все жить залюбили! Сесть вот так под нежным зелёным светом, среди производственной тишины, от подруги-супруги вдалеке, работу отставить и тихо, душевно покурить, помолчать или «погугукать» от души. Однако Иван просовывает голову в эту благодать прокуренную и кидает им такое своё веское слово: «А нельзя ли мне товарища начальника позвать или дать жалобную книгу?»

И сейчас же от компании отделяется один мужчина седоватый и худой и подходит к Ивану. Он одет в форменные офицерские брюки и в кремовую военно-морскую рубашечку. Он подходит и спрашивает: «Вам кого?» И тогда Иван, нашедший наконец слушателя, выдаёт ему всю свою историю: про велосипед, про гайку, про жизнь и про клин стальной. Мужик внимательно Ивана выслушивает и говорит: всё верно, велосипеды сюда перевели; но мастер в отпуске и будет только десятого, придётся пару неделек подождать.

И тогда Иван твёрдо требует жалобную книгу, чтобы излить в ней свою злобу и печаль. И наверное, пена начинает капать у него с усов, потому что мужичок этот военно-морской слегка забегает ему за спину и, придерживая Ивана за локти, ведёт его дальше во внутренние помещения. Там он сажает Ивана за начальниково место, сам садится напротив, кладёт перед ним книгу жалоб и кладёт худую руку на его горячую ладонь. «Давай помозгуем,— говорит он Ивану,— я не начальник, я мастер. Я тут ремонтирую зажигалки. Запчастей к ним отродясь нет. У меня их полная касса. Где я их беру, моё дело. Проверка ОБХСС нагрянет, меня за эту ценнейшую мою кассу запчастей посадят. А если нет запчастей, то я плана не даю — и меня в шею... Что скажешь?» А что Иван может ответить? «Посадят тебя»,— говорит. Тот кивает, и молчат оба. И Иван, он бы со всей душевной теплотой подошёл к его проблемам, потому что видит: мужик служилый, тёртый и не сволочь. Но только Ивану-то нужно гаечку леворезьбовую и клин стальной. Без этого его сынишка не может на велосипеде кататься. А дети — это в газетах пишут — наше будущее. Хотя один общий знакомый, Моисей Глухман, пьяница и патриот, он говорит, что дети — это наше прошлое.

Вот всё это Иван и говорит мастеру. Тот его снова внимательно выслушивает; потому что он сам битый и держит Ивана за своего. А потом ведёт его по коридорам и подводит к двери с новеньким замочком. И дёргает несколько раз дверь — для образности,— чтобы себе и Ивану показать, как крепко она заперта. А стоят они среди сваленных в коридоре велосипедов.

Мастер смотрит при этом на Ивана грустным взглядом. А Иван смотрит на мастера — но очень выразительно, в том смысле, что чёрт с ним, давай! Снимай скорее гайку с любого велосипеда, я отвернусь! А мастер руками разводит: во-первых, инструмента нет, а во-вторых, увидит кто-нибудь и стукнет — сам знаешь ведь, где живём. И Иван молча кивает: знаю.

Тогда мужик улыбается приятной умной улыбкой и произносит: «А вы говорите!» А Иван ему: «Слушай, я же знаю, что у тебя есть ключ от этой двери. Открой её, дай мне гайку эту. Я тебе заплачу. Да и ещё вот гарантийный талон». Тот нос потёр, на Ивана посмотрел. Видит Иван, что колеблется мужик, вот сейчас не выдержит и даст. Но нет, тот только трещинку даёт, но не ломается до конца. Покрутил головой: «Дело не в гайке. Этот новый мастер мне плешь проест за то, что я без него в его подсобку заходил. Идём, вот тебе телефон, звони-ка ты лучше на завод. До конца рабочего дня ещё у них полчаса. А на меня не обижайся, я сам у Исаева работал, я тебя понимаю, но ты на меня не обижайся».

Стал Иван звонить. И как стал набирать номер, так его ударило двумя мыслями сразу. Он вспомнил, во-первых, что велосипеды, которые он тут в коридоре видел, это были не одни только детские, а ещё и «Камы», «Салюты», которые он видел утром в другой мастерской. И значит, что это не так уж строго. Здесь берут и взрослые, а там, наверное, принимают и детские. Вторая же мысль, которой его осенило, была та, что в городе проживают миллионы людей. У многих есть дети. И стало быть, на все эти сотни тысяч детей и их велосипедов существует один мастер. И если он заболел или, оборони Бог, померёт, то все эти сотни тысяч пропали.

Иван, потрясённый этим своим подсчётом, всё это мастеру тут и высказал. И добавил от себя: «Не может быть!» И так он, видать, этим мастера достал, что тот не выдержал и как закричит! Что всё это не только может быть, но что всё это так и есть. Только ему вот, Ивану то есть, не было известно. Что он у самого Исаева работал, пока его не съели. А с гайкой этой проще простого. Кто-то, кому за место платят, а не за работу, сказал: «Давайте, ребята, сделаем экономию металла и за рацуху премию поймеем. Гайку станем делать тоньше, а сталь на неё будем ставить гораздо лучшую». И начали они эти гайки тонкие гнать, и осталось на них полторы нитки резьбы. И все знали, что стали лучшей на гайках никогда не будет, потому что это ширпотреб, а не ракета. И знали, что такую гайку будет с резьбы рвать и что ты будешь потом у них же эту гайку на коленях выпрашивать. Сделай её на полмиллиметра толще, её не то что на велосипед — её на танк можно будет ставить. Звони на завод, мужик, звони!

Крутит Иван диск телефона, но никого на заводе от директора до вахтёра застать уже не может. Ни один телефон не ответил ему.

И тогда Ивану приходит третья по счёту мысль. Он понимает вдруг, что только одно и может его спасти посреди этого грустного безобразия — то хорошее человеческое отношение, которое у них тут успело сложиться с мастером. А иначе ему конец по всем официальным законам. И тогда находит он в списке телефон мастерской на Романа Роллана, а сам кричит мастеру: «Прошу тебя, поговори ты с теми ребятами, чтобы они дали мне гайку». А сам набирает номер. Мастер заколебался было... Иван понял, что те ребята потом с него что-нибудь стребуют за услугу. Но всё же они с Иваном были уже не чужие друг другу — поговорили. Да и живой человек в глаза смотрит. «Я сам на производстве работаю, может, чем тебе ещё пригожусь», — говорит Иван.

Взял мастер трубку.

— Кто это? — спросил он так, как у нас пол-России начинают телефонные разговоры. — Ген, ты, что ль? Ноткин с Пятницкой. Не узнал? Богатым буду. Как сам-то? А баба твоя как? Ну, ладно. Слушай, к вам тут утром приходил один, просил гайку с педали и клин. Ты дай ему, что ли, он заедет.

С «Орлёнка». Я вам потом отдам. Не надо? Ну, ладно. Ну, заскакивай. Спасибо. Ну, давай. А то у нас Козырь в отпуске и будет только пятнадцатого...

И он трубку положил и на Ивана посмотрел — всё ли ему ясно? А тому давно ясно, лет тридцать пять, но вот окончательная ясность только сегодня наступила, в этот день. И Иван уже лезет в карман, чтобы вынуть рупь и сунуть по сегодняшней нашей хамской манере хорошему человеку за душевную щедрость. Но тут входит крепкий и лысенький такой дядя, по всей видимости, этой мастерской начальник. И он удивляется, потому что видит на своём месте постороннего. Иван быстренько выметается, и только они успевают с мастером подмигнуть друг другу и пожать руки.

Уходя, слышит Иван:

— По какому вопросу?

— Ремонт у него велосипедный.

— Не можем принять, — говорит начальник. — Козырь-то в отпуске и будет не раньше двадцатого.

«Ага!» — говорит Иван и выскакивает на улицу. Потому что ясно ему: нарвись он на этого дядю — быть ему без ремонта. И теперь чтобы ковать железо, пока оно горячо, он бегом на трамвай и с пересадочками, с пересадочками, а потом на автобусе — в мастерскую. Бойтся, что закроются они, черти, а завтра смена другая, а послезавтра они его и не вспомнят.

И тут начинает ему везти. То ли от того, что он рубль сунуть не успел, не испохабил хорошего, или ещё отчего, но начинает ему везти. Словно кто-то дёрнул за верёвочку, открыл жалюзи. Кончилась чёрная полоса, началась полоса светлая. Автобус подошёл сразу, Иван через сквер срезал путь, добрался. Смотрит — открыта мастерская, открыта, родимая! Проходит Иван сразу внутрь к мастерам и говорит торжественно Гене бородатому: «Здравствуйте, Геннадий, про меня звонили с Пятницкой, я насчёт клина». И Иван улыбается во весь рот металлическими своими коронками, потому что хочет показать, что он блатной, свой. И Гена бородатый с козырьком над тусклыми глазами кивает ему. Он подходит к настенной кассе, какие всегда имеются в каждой приличной слесарке, спрашивает, чего надо, и вынимает из разных отделений гайку леворезьбовую и клин стальной.

И тогда Иван, сатанея от удачи и хмелея от предчувствия беды, спрашивает себе ещё и гаечку простую на М6. Геня, не оборачиваясь, машет рукой на верстак, и Иван лёгкой прыгающей походкой подходит к верстаку. Он видит там роскошные россыпи железа: в беспорядке лежит там всё, что душа пожелает, — и гайки, и шайбы, и клинья, и винты. И всё это в огромных количествах.

Тогда истомившаяся душа его не выдерживает такой простоты и силы. Он спрашивает: «Что ж вы, — говорит, — сукины сыны, ребята, с утра меня гоняете? За что? Я ж тоже человек, Геня, а Геня? Почему ж вы мне её не выдали сразу, за что?» И уже понимает, что зря это говорит, потому что Гена посмотрел на него и пошёл в подсобку. А второй, спокойный товарищ его, взял Ивана твёрдо под руку и вывел из служебного помещения на улицу. И говорит: «Он вам не Гена, гражданин, а Геннадий Петрович. И беги отсюда, до свидания, пока цел». И ушёл внутрь.

Идёт Иван по улице, гайки и клин сжимает в руке. И стыдно ему, что он базар затеял, поручителя своего подвёл. Уж лучше б они мне по морде дали или я им — думает Иван. Он идёт долго, низко голову склонив. Он идёт и молчит.

И потом вдруг маленькая мыслишка отмщения влетает в его воспалённую голову: талон-то ремонта гарантийного они ему не оторвали, ага! «Так что, выходит, не зря я день потерял, и не они меня сделали, а я их. Ага! Ага!» И становится Иван вдруг как-то не по-хорошему весел и не по-хорошему радостен. Словно всем на головы вороны накакали, а ему нет. У-ух! И бежит он домой бодрый и здоровый телом, но умом, кажется, уже не совсем.

И он влетает в квартиру, как зайчик, и ещё из прихожей слышит, что на кухне работает телевизор, там фильм дают про войну. Иван падает животом на дорожку, на ковровую свою и ползёт, ползёт к велосипеду, словно боец под обстрелом. Он обкусывает колючую проволоку, но тут по небу проходит осветительная ракета, и он замирает, и тотчас над ним трассирующая очередь из тяжёлого пулемёта. Нет, не попал, врётся, говорит он, гад, не возмёмшь! И он бросает мускулистое своё тело во вражеский окоп, руками душит часового, выбивает ногой дверь в блиндаж и сразу туда — гранату. И слегка оглохнув от грохота разрыва, врывается он в гарь и пыль и видит — стоит его велосипед, стоит родненький, совсем не изувеченный врагами, а только один рычаг у него вырван, гайка соскочила леворезьбовая с шайбой и выбило клин стальной!

А сын, Кирюха, ему не помогает, он сидит и смотрит, подлец, телевизор. И там наши ещё окоп не взяли ихний, ещё они колют и рубят врага в капусту, а враг хрипит, собака, хрипит и бьётся. Но главное не в этом, главное, что велосипед живой, он будет жить! Потерпи маленько, браток! У меня всё с собой! Гайка леворезьбовая, клин стальной. Потерпи,— кричит ему Иван, а тот стонет в бреду и всё шепчет: «Брось меня, сестричка!» Какая я тебе сестричка? Совсем плохой стал. И больше не размышляя, ставит Иван на место рычаг с педалью, вводит клин и вкручивает гайку, потом ещё одну, крепёжную, закрепляет ключом,— и вот он готов, велосипед.

«Кирюшка! — кричит Иван победно, потому что слышит — наши взяли окоп.— Кирюшка, паразит, иди получай свой велосипед из капремонта». А тот из кухни: «Погоди, па, не мешай». И Иван понимает, что, может быть, он всё это старался зря. Он начинает замечать, что он как-то не в себе... Сидит на полу, и поджимает ему сердчишко мягкой рукавицей, кружится голова. И он так понимает, что может в одночасье помереть в этой позе — ноги расставлены, дышит ртом.

А через пять минут входит с сумками супруга его дорогая, Надька Захаровна, и застаёт его сидящим на завоёванной позиции, на ковровой его. И говорит, сморщась: «Ты что, Вань, того, что ли, а? Встань». «Надюха! — отвечает ей Иван снизу.— Никогда в жизни не был я за рубежом и в загранку не ходил никогда, как брат твой Юрий. Но не хуже всякого брата скажу тебе: нигде так не проживёшь, как у нас! За гайку леворезьбовую и клин стальной в один день столько узнать можно, как ни в какой Америке за сто лет. И родился сегодня, и умирал, и чуть сам не родил!» Тут она в слёзы и орать: «Опять нажрался, гад!» А он ей торжественно и чинно: «Нажрался, Надюша, ей-богу, нажрался сегодня до отвала. Кори меня, родная, кори!»



Борис Селезнёв

* * *

Город. Ночь. Ночные тени. Спят дома, нахмурив лбы. Лоскутами объявлений Забинтованы столбы.	Шёпот нервный различаю, Чей-то сиплый бас ловлю: — Сдам, сниму, продам, меняю, Консультирую, куплю...
--	--

Ни души... Чего бы ради Быть народу в два часа? Я иду, но только сзади Будто слышу голоса.	Обернусь, не сбавив шага,— Никого в пяти шагах. Лишь шевелится бумага, Как живая, на столбах.
--	--

* * *

Этот парень решил непреклонно:
Для него больше выхода нет.
И с моста, как с родного балкона,
Жизни кинул последний привет.

Оттолкнулся с неведомой силой
От судьбы, от своих невезух.
Только вздрогнули тихо перила,
Только всплеск разлетелся вниз.

На мгновение замерли птицы,
Берег пуст — никого, ничего...
Только надо ж такому случиться,
Что заметили с лодки его.

Рыбакам ли такие печали?
Но суровы законы реки:
Рыбаки с того света достали,
Откачали его мужики.

Развели костерок, отогрели,
Дали кружку простого вина...
Он смотрел на зелёные ели,
Что тянулись, казалось, со дна.

Алан Черчесов

Дождь — одинокий прохожий

ПОВЕСТЬ

— Прохожий, — хрипло выдал старик.

Внук тоже прильнул к окну, но разглядел лишь пожёванные изморосью чахлые листья, жидкую траву да густеющие ручьи по обочине.

— Не-а, не вижу.

Старик поморщился.

— Видишь... Дождь.

Тимур не понял:

— Что — дождь?

— Одинокий прохожий.

Внук опять не понял, но переспрашивать не стал. Он вернулся к распахнутой двери, опёрся спиной о косяк, сел на корточки, расправил под ногами газету и принялся строгать шершавый брусочек. Под верандой, как всегда в дождь, что-то журчало, плескалось, копилось и, словно питаясь собственным шумом, медленно глотало звуки. У длинных кормушек на дворе плотнели лужи. Под навесом дремали куры, вжав головы, полуприкрыв левой глаза, а в решётчатом закутке дрожали шерстью овцы. Небо зарядило надолго, река будет хоть куда, думал Тимур, мягко снимая стружку. Из покосившейся будки, уложив морду на лапы, изредка взглядывал, дёрнув жёсткими веками, Никто.

Сначала была просто будка, потом пришёл Никто, а раньше — ещё раньше, до будки, — были скворечники. И вот теперь всё вместе: скворечники, будка и Никто. Когда он пришёл (нет, позже, но почти тогда же, едва стало ясно, что не уйдёт), Тимур увидел двор, — не так, как обычно, а словно без забора, — что-то долгое и глубокое между тем, когда ещё ничего не было или было всегда, и тем, когда оно (скворечники, будка, Никто) уже есть. Но это «есть» — как туман над задним полем или как свет сквозь бутылочное стекло, — не сразу поймёшь и не сразу поверишь. И оно — не просто там, но и здесь, близко-близко, в нём самом. Потому что Никто ещё не было, и была только будка, а Тимур уже знал... И даже до будки — иначе зачем он её сколотил? Но ведь сперва — скворечники, — и тогда он тоже знал, а вышло — нет, наоборот, — из тех же ящиков в сарае, теми же руками?.. И утром — хлеб на приступок, в жестянке вода, внутри солома, и никого, кроме воробьёв, одного ранил, сбил из рогатки, но стало жалко и сунул в скворечник, настелив поверх соломы куриных перьев и ошмотков бараньей шерсти... Но наутро (другое, с которого ТО уже кончилось) воробей издох, и он, Тимур, плача от жалости и злости, похоронил его под вишней в огороде. Скворечники были, но ТО кончилось. Никто ещё не было, но ЭТО, с ним, началось, и через пару дней — будка, а потом и он сам: как, когда и откуда — неизвестно, заметили только во дворе, на вспугнутых кур и краем глаза не повёл, овец обнюхал — Баба уже целился

с крыльца жёлтой палкой, — фыркнул, побродил по двору, потёрся боком о будку — та показалась разом хилой и кривой, — зевнул, пометил привычным действием, влез внутрь и стал смотреть, не отзываясь ни на одну из кличек, ни на одну из команд, следил лениво за суетливостью людей — без раздражения, без спешки — и молчал.

Так пришёл он, Никто, и ушло всё остальное, что было до него — скворечники, будка, шалаш у канала, соседский тутовник, бикфордов шнур, подобранный в карьере, кабанья голова над дверью, удочки, мяч, телевизор, материн живот, огромный и страшный, так что даже рукой не хотелось потрогать, сморщенный влажный комок, ещё противнее живота, и мать, опять враз худая, бритоголовый носатый заморыш, пришедший на смену младенцу, — братишка, брат, а до того лишь две сестры, и старшая помнит его, Тимура, таким же, каким он помнит Руслана, а средняя младше на год, и он вообще не знает, помнит её или нет, а мать таким вот образом помнит каждого, и никто из них вот так не помнит мать, даже Баба, который помнит так их отца... Всё ушло, хотя и осталось, и больше, Тимур это знал, не вернётся, а если вернётся, то совсем иначе, потому что уже однажды ушло. Новое приходило, и старое отступало, пряталось, как сейчас в будке Никто, и вместо него — шершавый брусок в руках, дождь и тёплые стружки...

— И твой отец, — сказал Баба.

Тимур обернулся. Дед сидел у окна на гладком прочном табурете и, опираясь на палку, смотрел на улицу. Палки было две — выходная и «рабочая», на каждый день. По вечерам, в хорошую погоду, Баба толкал калитку и, уложив левую руку на поясницу, отправлялся на «охоту». Через полчаса он возвращался и раскладывал на печи окурки. Тимур опускал глаза и краснел, злился, но молчал. Как-то на собранные за неделю медяки он купил старику папиросы, но Баба, ни слова не сказав, швырнул их в печь. В тот день Тимур внезапно понял, что так плохо с ним ещё никогда не поступали, и с того дня не мог понять, любит деда или ненавидит.

— Что — отец? — хмуро спросил он.

— Отец и дождь... И потом — все вы... — произнёс старик, но не повернулся. Свет из окна скользил по голому черепу и ближе к шее терялся в морщинах. Челюсть вычерчивала на стекле острый силуэт, худая спина под мундиром слегка горбилась. Сидел он прямее, чем ходил: прогуливаясь с палкой по улице, был похож на истлевшую лозу или выбранную из котла черемшу. Недавно ещё тело его казалось поджарым и молодым, и Тимур с любопытством разглядывал в бане — маленьком пятачке из ржавых загоронок в поле — смуглую мускулистую фигуру. Лицо было старое, а тело молодое. Но затем, как-то сразу, состарилось и оно, и Тимур, робко водя мочалкой по уставшей спине, боясь задеть толстый, как кишка, позвоночник, с досадой глядел на дряблый живот и жидкие мышцы, думая: как тестом замазали.

— Мы?

— Все, — кивнул дед, — но сперва — твой отец.

Он снова умолк, Тимур пожал плечами. На улице лило — щедро теперь, хорошо, свободно, времени оставалось немного. Обточить нос, загладить бока и днище, прикрепить парус. Интересно, подумал он, сколько их было, до этой? Сколько ливней, столько и лодок. Каждый раз новая, а брат злится и плачет. Стащит лодку, спрячет — где — убей, не найдёшь, — а в дождь вынесет на дорогу, как свою, пустит рядом и смотрит, закусив губу, голова квадратная, в шишках, хуже тимуровской, хуже дедовой, а упрямый — хуже Розки или тощего ишака, смотрит, рядом плетётся, глаз не оторвёт, и до конца улицы, будто не ясно, что проиграл, будто у неё, у лодки его (то есть вовсе не его), вот-вот моторчик включится или крылья вырастут, и сапогом притопывает, волну гонит, а она её с парусом накрывает, только первую, новую, вперёд кидает; психует, кулаки сжимает, но в глаза и не взглянет, расплакаться боится, а потом

схватит лодку, свою, старую, — и за топором, стукнет пару раз, расколет, присядет на корточки, рот открытый, слёзы уже бегут, быстро-быстро, нос большой, широкий, как совок, губы кривые, урод уродом, и жалко делается, хотя сам не лучше, это уж точно, сам не лучше, а всё равно — дашь подзатыльник, чтоб не привикал, чтоб не позорил, сопли не распускал, и тут же кинется на тебя, маленький, крепкий, даже больно, хоть рука не больше сливы... Потом глядишь — твоей нет. Исполдობья хмурится, ясно, что не сознается и не отдаст, а искать — не отыщешь, без толку. Видно, суждено прятать, а Тимур вырезать, руки без дела глупыми становятся. Только вот у Баба лежат себе на палке, но кажется, что работу делают. Красиво. Дождь идёт, он в окно смотрит, страшный — а красиво. Под верандой всё плещется, полнится, будто вот-вот выглянет, поползёт — но нет, ничего... И никого, кроме деда и его. В город поехали, воскресенье, базар. Вдвоём в целом доме, не считая Никто, но того из будки не выманишь, шкуру бережёт. Вдвоём — и не скучно. Потому что дождь. Это когда снег — хорошо вместе, чтобы вся улица... Или когда солнце. А так...

— Тогда — тоже дождь. Такой же, — сказал Баба.

Тимур помедлил.

— Тогда?

Дед кивнул головой.

— Отец твой по лужам шёл, сверху лило. Много, сплошная вода. В конюшне брезент взял, укрылся. А я смотрел из окна и знал, что вернётся.

— Угу, — без всякого интереса буркнул Тимур.

— Не мог не вернуться. Это я понял, когда он под дождём шагал, а перед тем верил, потому и коня продал. С конём бы легче ушёл.

Тимур молчал, но взгляда не отвёл. Баба кивнул через плечо:

— Дай сигарету.

Внук подошёл к печи, выбрал окурочок подлиннее и взял спички. Дед закурил, с сипом вдохнул дым. Тимур стоял рядом, выжидая, не решаясь двинуться к двери.

Старик разговаривал редко: начнёт, до середины не доберётся — и смолкнет. А спрашивать — не спросишь. Вынесет на улицу табурет и сидит весь день, будто, кроме палки и табурета, ничего ему в жизни не нужно, лишь бы глаза смотрели, а там — и язык ни к чему. Молчит, словно устал, сто лет говорил, а потом вдруг понял, что кругом глухие.

Баба пошаркал носками по половице, расправил под ногами, так же, сидя, откинул палкой занавеску, уставился в окно и застыл — там, на улице, и остался. Где взгляд — там и Баба.

Внук засопел, негромко постучал ножом о деревяшку. Старик никак не отозвался. Тимур застучал сильнее, но не часто, чтоб не злить. Дед выждал паузу, пустил дым, медленно большим пальцем указал за спину, на голову под потолком.

— Пока в кабана целишься, жалко не бывает. Да и когда выстрелишь. Смотришь, как глаза стеклом стынют — опять не жалко. Кровь в висках стучит, запахи забивает. Без них жалости не почувствуешь. Но вдохнёшь хорошенько — а воздух уж не тот, плотный слишком, словно глину глотнул, тут-то и поймёшь. В горле застрянет, и не выбьешь ничем. Запахами отравлен. Три всего: родной его, кабаний, второй — чужой, порохом пахнет и шкурой палёной. Он сильнее всех. От него и плохо становится. А как эти два почувешь, кажется, что и третий разбираешь — свой собственный. Знаешь, что так не бывает, а всё равно. Тогда и жалость приходит, нехорошая, пустая. И вроде как стыдно. Видишь, твоя взяла, и теперь — только так, как задумал. Освежевать осталось. Но это не охота. Охота кончилась, когда курочка спускал, тогда ещё вместе решали. А после охоты — одна жалость. Видно, закон такой. От запаха это всё. Ох-хо...

Он крепко затянулся, мундштук в руке скользнул.

— Коня за бесценюк отдал: торопился. По-моему вышло. Но разве лучше? Как понял, что вернётся, больно стало, мокро там,— он ткнул пальцем в грудь.— Глядел на него, видел, что придёт, и, ей-богу, молился, хотел уже, чтоб смог, чтоб получилось... Давно было, а с нами сидит. Как дождь — так вспомню. Да и без дождя... Я помню, он помнит — нет покоя. Люди памятью несчастливы. Потому и не рассказывали — ни он, ни я. Чужая память сладка не бывает.— Он ненадолго задумался.— Но и так не легче. Теперь вот про-снусь — дух перевозжу. Нехорошо это. Значит, скоро. Чувствую, надо уже... И только тебе, чтобы понял...

Он взглянул на внука. Глаза подёрнулись влажной плёнкой, но посередке горели, словно взрезались, раскрылись. «Уже видел,— подумал Тимур.— Когда-то видел...»

— Отец хотел, но не смог. Захочешь ты — иди. Иди и никого не слушай. Лучше так, лучше, как я. Ему тяжелее. Сможешь — иди!.. Только потом не возвращайся. Вернёшься — всё с ног на голову перекрутится. Вот это-то самое трудное. Всегда назад тянет.

«Вспомнил»,— подумал Тимур.

Велосипед сломался, и они шли по пыльной дороге семь километров, ему двенадцать, брату четыре. На спине тяжело, рядом он с колесом и мелкой цепью, молчит, ноги дрожат, но идёт, чёрные руки на колесе, на локте кровь, и на колене тоже, пыль, как сумерки, и сумерки, как пыль, но уже гуще, и кукуруза, а края не видно, широко, высокая, над головой, только бы до ночи успеть, а то расплачется, не дойдёт, ещё много, очень много, а он, хитрец, даже не спросит,— и так страшно,— и пыль, чёрные ноги в стоптанных сандалиях, кровь на локте и колене, самому тяжело, самому страшно, а тот идёт, закусив губу, и молчит, и уже меньше, но ещё так много, но главное — не говорить, тогда точно меньше, и вот идёт, не выпуская колеса, не останавливаясь, как заведённый, и не смотрит, только вперёд, такой дойдёт, но очень уж маленький — всего четыре,— а сумерки ближе, чернее пыли на ногах, и закат чернее спёкшейся крови, наверное, больно, конечно, больно, но не плачет, а дома так всегда ревет, что же это такое? откуда в нём? и уже ночь, черным-черно, только край неба над чёрной стеной, синий край над кукурузой, а широко или нет — не видать, но широко, знает и помнит, и, наверное, тот тоже, но всё не плачет, только дышит, очень слышно, и самого себя тоже, и цепь, и ноги шуршат по пыли, один бы не дошёл, без него, без Руслана, ни за что не дошёл, почему? потом, сейчас не понять, а пыль мягкая, как вода, сначала твёрдая, а теперь вот мягкая, но это хуже, и ноги мягкие, но мягче всех ночь, всё мягкое, кроме железа на спине, колется, и идти в мягком тяжело, а он впереди и дышит, ещё цепь, и его почти не видно, и дыхание твёрдое, хотя нет, не то, но совсем не то, что пыль или ночь, и твёрдый силуэт, и весь он твёрдый, теперь уж дойдёт, не может не дойти, не вечно же! — очень уж громко! не видно, только слышно, слышать страшнее, чем видеть, слышать страшнее, чем видеть, потому что громко, но уже мало — слишком мягко, особенно ноги, а не дойти они не могут, поэтому и мало, и потом — сразу, как боль или радость, как звон разбитого стекла — свет, и голоса, и двор, и люди, и голоса, и свет, кричат, но ничего не слышно, дошли, уже стоят, шагать не нужно, и ничего не слышно — свет мешает, нельзя смотреть и слушать — нету сил, сейчас — смотреть, старик, женщина, две девчонки, мальчик, брат, братишка, на губе красное, кровь, была где-то ещё, забыл, глаза, одни глаза, долго шёл — и пришёл, очень долго шёл, шёл, шёл и дошёл, и этого столько, что поместилось лишь в глазах, больше бы нигде не уместилось, и там останется, и хватит до конца...

И вот теперь — дед...

А мать сказала что-то, сказала опять, потом повторила, но ничего не понять, потому что слишком громко и ещё нужно смотреть, слёз нету, но

взгляд такой, что лучше бы были, а руки хуже взгляда, места не найдут, и вдруг — чах! — ударила, аж зубы цокнули, в щеке жарко, и сразу слышно, и сразу слёзы, а он, Тимур, не плачет, и вовсе не странно, будто никогда до того не плакал или вмиг разучился, а тот всё стоит, колесо в руках, и Ритка, старшая, никак не отнимет, слишком робко тянет, глаз боится, все боятся, кроме отца, потому что нигде нету, не видно, и слава богу, а Розка жмётся к оgrade, подальше от Руслана и матери, и коса в зубах, испугалась, реветь будет, а Баба старый и кривой, руки на палке, весь на палке, и челюсть дрожит, а тот всё стоит и молчит — долго шёл и дошёл...

А ночью оба в одной комнате с чернеющим окном, и ещё мать и старшая у кровати, с братовой стороны, а тот лежит и смотрит в потолок, руки на груди, будто по-прежнему с колесом, но на одной — ладонь матери, а на другой — сестры, шепчутся и тихо плачут, чуть ли не про себя, но голоса ровные, тугие, и чёрное за окном покойно греет, заволакивает, подплывает, словно толстый сон, и он, Тимур, закрывает глаза, потому что не спать больше не может, но через мгновение (всё шепчутся и плачут, а тот не спит и смотрит в потолок) вздрагивает, очнувшись: спать он не может тоже, и длинная свеча оплывает жиром, и волнует длинный огонёк, и слышен запах табака сквозь длинные щели — Баба тоже не спит, и спит одна Розка, и, может быть, спит отец, если пришёл, ведь ему ничего не сказали, ему не могли ничего сказать, ему редко когда что скажут, — и длинная-длинная ночь (не повторится, ночи, если их видеть, никогда не повторяются), и снова он; никто, кроме Розки, не спит, а кажется, будто не спит только он, Руслан, и ещё — будто вырос, повзрослел, перерос себя, перерос Тимура, перерос их всех, постарел, и даже старше Баба (тот тогда ещё так не смотрел), будто он один в тёмной комнате, и все это знают, потому как видели, что у него в глазах, и ночь принадлежит лишь ему, и ни с кем он делиться не станет, а все они в своей комнате (хотя сейчас — вовсе не своей) вчетвером против пары глаз и безропотно ждут, когда ночь уйдет и он вернётся. Ночь уйдёт, он закроет глаза и вернётся, скоро — свеча уже коротка, и короче стёны, и короче светлеющие окна, и короче взгляд в потолок...

Он заснул и вернулся. Но иногда вспоминал и уходил снова, и всякий раз казалось, что навсегда.

И вот теперь — Баба. Долго шёл и пришёл. Но этот пришёл впервые. — Следующий ты, — сказал старик.

«Один на один, — подумал Тимур. — Тем было легче. Ты был среди них. И он тоже был среди них. А теперь он ушёл, а ты всё там же, только без никого. Ты снова не там, где нужно. Почему?»

— Почему? — сказал он вслух.

— Потому что до него был я. Но ты не должен.

Дед смотрел в глаза, и Тимур мучительно сдерживал взгляд, чувствуя, как запотели ладони на тёплом бруске, а где-то внутри, под глоткой, колет, как от чужого пальца. Стоит человеку... дойти... Стоит человеку только дойти, — размышлял он, с натугой подыскивая слова, — как с ним невозможно сладить... Будто ты ему что-то должен, и этот долг он из тебя вытряхнет... Хотя бы вместе с душой. Хоть с потрохами.

Ему захотелось пить, он потянулся к полке, взял кружку. Потом сходил к двери, выронил на газету нож, деревяшку, зачерпнул в ведре воды, выпил, зачерпнул снова и принёс деду. Баба пил, запрокинув голову, как старый петух, работая огромным, с локоть, острым кадыком. Выпив, он отдал внуку кружку, и тот поставил её на место. Глаза повлажнели, но ТО осталось. За окном лил дождь.

— Он ушёл, но вернулся в тот же вечер, — сказал старик. — И я вернулся — через сорок лет. Вот и получается, что прохожие. Оба — одинокие прохожие. Путники не возвращаются, когда не хотят. Мы не хотели. Ему я помешал. Если б знал, не мешал бы... Но я не знал, потому что сам вернулся позже,

хотя видел уже, что это такое — вернуться... По твоему отцу видел. Ты слушай...

— Я слушаю,— ответил внук.

— Хорошо слушай и поймёшь. Так просто всего не расскажешь. Когда Дахцыко руку оторвало, он два месяца всё говорил, говорил, а объяснить не мог... Думали, умом тронулся. Плохо слушали. Тут похлеще руки. Здесь многих задело. Всех нас. И тех, кто будет,— тоже, если ты не поймёшь!..

Он привстал, крепко сдвинул пальцами тимуровское плечо, и оно заныло, протолкнув боль к самым глазам. Хотелось вырваться, но внук сдержался, неотрывно следя за лицом старика. На мгновение Баба замер, потом ослабил хватку, медленно осел на табурет.

— Ох-хо...

Плечи его обмякли, голова упала на грудь, палка в руках играла. Тимур потёр ушибленную кость, отступил на шаг, нервно огляделся. Двор мутнел в лужах, и сквозь открытую дверь веранда, казалось, тихо ползёт по ним, дальше и дальше, прочь от стены, прочь от дома, прочь от старика и мальчишки, и отползает мокрый двор, и пахнет дальним, новым, и со стены бьёт древними часами время, и оба вздрагивают, а он, мальчишка, едва услышав, знает, что теперь уже не скрыться, не выйти через распахнутую настежь дверь и даже не подобраться к брошенным на полу ножу и бруску, потому что они уже кончились, хотя не кончился дождь, но теперь и он, дождь, всякий раз будет другим, потому что прежний заслонил старик, и ещё отец, хотя его здесь нет, и ещё он сам, Тимур, хотя он-то есть всегда...

Дед очнулся, вскинул подбородок, с горечью произнёс:

— В город хотел. Будто там лучше. Равнина людей счастливей не делает. Чего ему не хватало? Пусть без любви родился, зато в любви вырос!

— Без любви?

Старик смутился. Секунду колебался, затем сказал:

— Так получилось. И не только с ним...— И твёрдо повторил: — Да, не только с ним.

Тимур раскрыл губы, пытался что-то спросить, но не спросил. Отчего-то стало душно, к горлу подступила тошнота, он протестующе замахал руками. Баба молчал, безжалостно глядя на внука, и словно выпрямился, поздоровел, раздался ввысь. Комната зашаталась, поплыла в тряском крике, в ненависти, в протесте, руки сами сжались в кулаки, и Тимур поплыл вместе с ней, к этому старику, к бурым морщинам в коричневой коже, к жёстким усам над беззубым ртом, поплыл, подхваченный могучей волной своего голоса, собственных слёз, собственной силы, но вдруг завис на самом гребне, и тут же волна спала, рухнула навзничь, а вместо неё набежала другая, ещё мощней, ещё огромней, и прибила его, беспомощного, несчастного, маленького, к белой прохладной стене. Старик не произнёс ни слова. Минутой позже он встал, сам подошёл к печи, прикурил новый окурок и, не глядя на внука, сел на табурет.

— Прости,— сказал Тимур.

Дед вытащил из кармана галифе серый носовой платок, скомкал и кинул внуку. Тимур поймал и в недоумении посмотрел на него.

— Вытри,— сказал Баба.

Тимур потянулся к лицу и тут нашупал под носом что-то липкое и мокрое. Платок стал красным, а немного позже красное потемнело. «Сама потекла,— подумал он.— Такой нос, что от удара никогда не бежала, а тут — сама...» Он задрал голову, глотнул кровь и послушал, как шумит в ушах от выпитого тишиной крика. Баба мерно попыхивал мундштуком. Кровь перестала, но Тимур всё держал у носа платок, не опуская головы, не решаясь взглянуть на старика.

— Хватит,— сказал Баба.

Тимур послушно кивнул, набрал в ковш воды, опустил платок внутрь.

Вода порозовела, и краска мутно поползла вниз. Старик поманил его пальцем, задышал в лицо, неловко прижал к щеке, зашептал:

— Может, и рано я это затеял... Мал ты ещё. Но для дурного маленьких не бывает. Ты слушай!.. Только выслушай, а уж потом, время придёт — вспомнишь.

Тимур стало жарко, и он несмело отстранился. Деда он ненавидел. Теперь он знал точно. Ненависть была горяча, и от неё пылало нутро. Он знал, что долго не выдержит, огонь слишком силён, и оттого ненавидел больше, и было это нестерпимо, и он чувствовал, что ненависть его умрёт, сгорев дотла, ничего не оставив от себя самой, и что, выходит, ненавидел он как-то не так, и потому, косясь на Баба, вспомнил мать и вспомнил отца, сестёр и брата, твердя себе, что ненавидеть должен, потому что любит их и любил всегда, и никогда не любил деда, и никто его никогда не любил... Но было в этом что-то не то, а слёзы ушли вместе с кровью.

— Когда он женился? — спросил Тимур и услышал, как голос отпрянул от него и прозвучал откуда-то сбоку, со стороны.

— В тот же год. В тот же месяц. Привёл из нижнего села и даже не перестроился... Хотя он-то мог перестроиться. Ему надо было перестроиться. Но он отказался, поэтому свадьбу сыграли здесь, в том же доме.

— А потом родилась Ритка...— сказал Тимур.

— Через год.

— А потом — все мы.

Он сказал, и ему стало стыдно. За окном лил дождь. По дороге неслись толстые ручьи, оставляя посреди забытую полоску. На ней, чуть виляя хвостом, мокла соседская собака. Уже несколько дождей она выползала из подворотни, трусила к нетронутому течением пятаку и терпеливо ждала. Потому что несколько дождей назад, в такую же погоду, на дорогу выскочил Никто и позвал её тихим лаем. Когда подъезжали машины, они расцеплялись и убегали в разные стороны — каждый к своим воротам, — но затем сцеплялись снова, а Мишка, первый бабник в округе, плакал в противоположном окне, грозил кулаком и надрывно кричал: «Стрелка!.. А ну домой!.. Стрелка, кому говорят!» — но она туда даже не смотрела, осёдланная Никто, тяжело дышала, раскрыв пасть — самая послушная собака на улице, — и не посмотрела потом, когда он швырнул в неё тапком, всё так же плача, но уже беззвучно, уже не зовя, а когда они разбежались в последний раз, на дороге остался один тапок, и дождь всё шёл, лил и лил, торопя течение, и лил ещё долго, и после того, как закрыл окно Мишка, и после того, как снесло водой к обочине измазанный лапами тапок, и ещё потом всю ночь...

И вот уже много дождей Стрелка исправно ждёт Никто, но Никто спит в тёплой будке...

— Все вы, — повторил старик.

— Каждый из нас? — спросил Тимур, хотя мог бы и не спрашивать. Так стыдно ему было только дважды: когда он заметил вбитый в дедовскую палку гвоздь, и когда этот гвоздь заметили другие. Тогда палку и называли «рабочей». Баба бродил по улице, всматриваясь под ноги, и накальвал на гвоздь разбросанные по земле окурки. А купленные Тимуром папиросы швырнул в печь.

Но тогда было легче.

И до того, когда он проткнул проволокой пятку и смотрел, как сочится по грязной подошве кровь и с ней ещё что-то, какая-то жидкость, светлее крови и потому страшней, вперемежку с бурой ржавчиной и всё-таки светлей, и тогда он впервые подумал о смерти. Было больно, а он смотрел, смотрел и не мог остановиться, и не останавливалась кровь, красным стекая на землю и густея в ней, как пластилин. И потом услышал крик, повёл за ним глазами и увидел бегущую к дому Розку и понял, что не умрёт, что смерть его ещё не пришла, и страх порвался, сник, словно устал (хуже страха труда нет), и стало так

гадко и противно от крови на земле и светлой жидкости на пятке, что его скрутило, вырвало, и от обиды выступили слёзы. А после дед сказал, что то светлое и липкое спасло его. Но он думал о другом, весь вечер, тёплый душный вечер с миллионом осыпавшихся звёзд и сухих теней, он думал о том, что умрёт.

Но и тогда было легче. И позже, когда он ВИДЕЛ смерть.

Сначала она прикинулась змеёй и расстелилась тонко по жёлтому песку в карьере. В первое мгновение он замер, оцепенел, будто уколотый в самое яблочко. Потом, уже поняв, что обманулся, всё же бросил в ту штуку камнем. Затем подошёл сам. Это был шнур, но, рассмотрев серую начинку, он вновь подумал о смерти и уже знал, что увидит её. По-настоящему, а не в красном гробу. Вместе с Городским, Мишкиным племянником, они устроили засаду, накидав хлебных крошек под подпёртый клином таз. Ждали воробья, но попала ворона. Когда она опустилась в самый центр, Тимур потянул верёвку, а Городской выловил её из-под таза. Ворона клевала и царапала когтями, и о жалости они подумать не успели. Той штукой её обмотали вокруг туловища, а конец сунули в клюв, поглумив, перевязав крепко тряпчочкой. Тимур зажёл бикфордов шнур, и они следили за спрятым внутри ползущим пламенем. Шнур слегка дымился. Городской хрипло сказал: «Ворона — вредная птица». Тимур кивнул и сплюнул. Пламя кралось медленно, а затем быстрее и быстрее, но, наверное, так казалось. Потом Городской робко пошёл за ним, догнал, остановился и, поразмыслив, наступил ногой. Дымок исчез, но через пару секунд появился снова — с другой стороны. Городской передвинул ступню дальше, но это не помогло. Он взглянул на Тимура, и в глазах был испуг. Тимур сказал: «Уйди», — но он отрицательно покачал головой. Тогда Тимур схватил его за плечи, сделал подножку и навалился сверху всем телом. Ворона беспомощно прыгала у них перед глазами, и тот уже не сопротивлялся. Пламя резво бежало по ней и подбиралось к клюву. «Поздно», — подумал Тимур. Птица прыгала, изо всех сил стараясь взлететь, прыгала, мотала головой, прыгала, шипела, и шипело пламя. Потом, подпрыгнув, ворона захрипела, и дым повалил через дырочки в клюве. Густой и жёлтый. Она ещё прыгала. Сцепившись вместе на земле, они тягуче плакали, а Городской несильно бил Тимура по рёбрам.

Они видели смерть, но и тогда было легче.

А потом он увидел красоту, и это было плохо, очень плохо. Люди поделились и стали другими, они были красивы и не слишком, а иные были уродливы. Девчонка была красива, и он рисовал её, бегущую под длинным небом, и ей нравился Городской. Тимур был сильнее и смелее его, но ей нравился Городской. Тимур был урод, и уродом был Руслан, и дед, и обе сестры. Мать была красива, но лишь для Тимура, и он это знал. И было оттого мучительно. Но всё-таки легче. Было больно за мать, за себя и за всех остальных. Кроме деда. Он во всём виноват. С него началось. Вот только отец... Тот не был похож ни на старика, ни на собственных детей.

— Он не похож на нас, — сказал Тимур. — Он красивый.

Дед вскинул брови, повторил:

— Красивый.

— Да. Красивый.

Баба нахмурился, погладил палку. Самый страшный из них. Но уроды пошли от другого.

— Она была красива, — сказал старик. — Та женщина.

— Его мать? Наша бабушка?

— Да.

— Твоя жена. Она рано умерла.

— Едва успев родить. Через пять месяцев. Потому и вышла за меня. Тимур опешил:

— Как это?

Дед пожал плечами:

— Детей хотела. Для обоих хорошо.

— Хорошо? Что значит «хорошо»?

— У неё выхода не было. Род меченый. Все женщины молодыми умирали, никто брать не хотел. Она седьмая была. На ней всё и кончилось.

Он полез в карман за платком, но, не найдя, потёр мослатой рукой веки.

— С фронта в сорок третьем вернулся, хромал ещё, и в голове гудело. Нана старая-старая была, глаза зрячие, острые, а тело слепое. По дому ходила — на вещи натыкалась. А тут как-то собралась, новые дзабырта надела и к Дахцыко пошла, просила ишака запрячь. Через неделю меня послала. Самого. Без сватов. «Два раза свадьбу не делают, — говорит. — Да и время сейчас лихое. Она согласна. Пойдёшь и приведёшь сюда. Хоть кровь останется».

— Я не понял, — сказал Тимур.

Дед согласно кивнул.

— Нана умная была, наперёд видела. Через давнее — в далёкое. Только ты, повторяла, не возвращайся. Даже перед смертью. Вся жизнь кукишем вывернется. Если б сразу — то можно. А теперь поздно, говорила. То не рана уже, то язва. Права была.

— Я не понял.

— Нана всё знала. Только она. Сам ей рассказал. Не сразу, а лет шесть спустя. Тайну легче забыть, чем сохранить. Я не смог, а она сохранила. «Нана» её после смерти стал звать. Как-никак твой отец её помнил. Не мать мне, никто, а вот больше, чем мать. Для неё «Нана» мало, но лучше ничего не придумано. Потому и «Нана»...

Дед запнулся, сжав влажные губы, потёр ладонью о галифе. Покосился на Тимура. Тот стоял, раскрыв рот, прилипнув к стене, и нервно мотал головой. В животе топталась тревога, ногти ковыряли в известке, плечи передёрнуло. В глазах Баба мелькнуло беспокойство.

— Это не страшно.

— Сначала... — прохрипел Тимур.

— Не так уж это страшно...

— С самого начала! — закричал он.

Дед отвернулся. Внук ждал. Тишина ждала вместе с ним. На улице мокла соседская собака.

— Когда я уходил, горы свежие были, будто только проснулись. И вода в реке густая-густая. Гуще я нигде не видал. Но у родника не остановился. Нельзя было, дальше бы двинуться не смог. По дороге никого не встретил. Ни одной живой души. Если б встретил, прятаться бы не стал. Выходит, скрывал одной буркой, а сердцу кричать хотелось. Долго шёл, не спеша. Решил сперва винтовку у водопада бросить, но потом передумал. Это потому что никого не встретил и сказать никому не мог. Плохо, когда надо сказать, а некому. Вроде как жажду росой утоляешь: сколько бы ни пил — всё мало. Сам себе пересказывать начинаешь. Каждый день. А накопится всего — ко-го угодно сторбит. Да ещё годами сверху присыплет. Года ведь на боль ложатся.

Он помрачнел. Свет забежал под табуретку, заскоблил по половику, а к старику прислонился холодным боком, застыл. Старый человек, подумал Тимур. Старее не бывает. Столько старости в одном старом старике...

— Иногда глаза забываешь. Вроде — бог с ними, ведь от них бежал... А целый день мучаешься, ночи ждёшь. Ночью всегда приходят. От привычки это. У боли зубы стёрлись. Не все, конечно. Иной раз ещё схватит — крепче прежнего: тело сохлось, душа к коже ближе стала. Сподручней ухватить. И на войне так было. Думал, отделался. Какой там! Как в сон ступишь, тут тебя и ждут. Свыкся с ними, как с мозолью, а страдать — не страдал. Но

вернулся — опять началось. Нана поняла, потому и женила.

— Второй раз? — спросил Тимур и сглотнул слюну.

Дед медленно перевёл взгляд на внука, жидко, криво усмехнулся, пережав на щеках морщины, голо задрезжал разбитой глоткой:

— Вот и хорошо. Теперь легче пойдёт...

Растерзанные зрачки его расширились, сверкнули, и Тимур подумал: как замахнулся.

— Теперь уж не отвертишься. Плуг в землю вошёл. Я всю жизнь за ним хожу, целое поле перепахал. А ты всходы увидишь. Да. Спасёшь и сам спасёшься. Не может так, чтобы поле пропадало. В нём все мы...

Тимур вспотел, но жар уже прошёл. Руки вскинулись к лицу, смахнули испарину, пробежали по плечам, груди, по стенке, там нашли опору, остановились и сжались в кулаки.

— Говори,— сказал он.

Дед встал, подошёл к двери, на пороге задержался, вытянул руку, подложил под дождь ладонь, выждал. Потом провёл мокрым по лицу, расправил спину, прежде чем вернуться, глубоко задышал, впуская в лёгкие воздух, дождь, двор, его запахи, всё, что осталось там, за пределами комнаты, за пределами слов, воспоминаний, тревог, сомнений, что останется за пределами его жизни, и жизни его внука, и жизни самого двора, останется, потому что вечно, а вечно потому, что быстро, изменчиво, мимолётно, неуловимо, как капля — воды или воздуха,— а быстрее капли Тимур ничего не знал, и ещё,— оно живо — так, что живее любой жизни, ибо никогда не останавливается, не замирает, не неволит самоё себя, не болит и не болеет, и наверняка помнит всё, но никогда не вспоминает (откуда ж время вспоминать!), так что по сути лишено памяти; память — удел других, тех, кто живёт не так, совсем иначе, ДЛЯ ЧЕГО-ТО и, наверное, потому умирает, что живёт для чего-то, но живёт в ней, в вечности, которую он, Тимур, только что — вот только — ощутил впервые, глядя на старика, вбиравшего в себя со вздохом малую толику её, часть того, что ему ещё осталось, что она, вечность, оставила для него. Баба обернулся.

— Мост,— сказал он.— Над рекой висячий мост был. Каждую осень подновляли. За лето дощечки отбивались, дырявый становился, щербин полно. А подо мной лишь раз доска сломалась — когда уходил. И тут как треснуло под ногой, дёрнуло его, зашатало, едва удержался. А до края дошёл, оглянулся — стоит цел-целёхонек, в одном только месте дыра. Странно это было, за день или два перед тем мост опять выстилали. Там аул кончался, всё кончалось, и стоял я, сердце рукой зажал, реку слушал и ждал чего-то. Такого, чтоб вернуться можно было. Но дощечка-то выпала, и её же обратно не вставишь — вода унесла... Да и ичиги на мне новые были. В новых ичигах — в новую дорогу...

— Расскажи о ней,— попросил Тимур.

— О них,— поправил дед.— О них, в этом всё дело. Она и брат. Младше меня на два года был. Отца потому совсем не помнил. Да и я — едва-едва. Тела его так и не нашли.

— Брата?

— Отца. Ушёл без коня, без ружья, без хурджина. И бурку оставил. Её, эту бурку, вместе со сбруей и хоронили. Месяц перед тем ждали, везде искали, ущелье от края до края излазали. Говорят, в тот день, как ушёл, лишь в бушлат завернулся, а снегу за ночь навалило — еле дверь отворил. Днём на ближней вершине человека видали, но глазам не поверили, решили — показалось. Да и как по такой погоде на гору подняться! И потом, когда уже осознали, всё равно твердили: не может быть такого.

Мать не плакала. Только сидела у люльки да в огонь глядела. Раньше всех поняла. Даже на похоронах слёз не было. Рыдала в голос, волосы рвала, но ни единой слезинки. И дядя весь месяц сумрачный ходил, на нас с братом

и не смотрел почти, а до того играл всегда, сахаром баловал. После похорон — когда бурку через весь аул пронесли до нихаса, а оттуда к кладбищу свернули и в яму уложили рядом с дедом и бабкой и всеми, кто до них был — вернулся в дом, сел за фынг напротив нас с матерью, напротив люльки, где брат спал, только очаг посреди горел, но мать туда уже не глядела, глаза на дядю подняла и ждала, когда тот взглянет, тихо, без звука, без стопа, лишь рука на плече моём дрожала, как пламя в центре комнаты, как плач, которого даже не было, весь внутри остался; и он ждал, тоже ждал, пока в груди довольно сил не скопится, чтоб голос не дрогнул (сказать нужно, выхода нет, и все это знали, кроме нас, двух несмышлёнышей), и вот, решившись, оторвал от фынга глаза и сказал — а голос дрогнул:

— Так значит...

И мать кивнула, потому что целый месяц готовилась к этой минуте, к тому, чтобы выдержать взгляд и кивнуть:

— Так значит... — повторила и легонько меня вперёд подтолкнула, а мне страшно стало, почему-то очень страшно, и я упёрся, пока она не пихнула меня вмиг отвердевшей рукой к нему, к дяде, к её новому мужу, к моему новому отцу, ибо так решено временем, обычаем, так решено законом и, стало быть, самим отцом. Тем человеком, что стоял в полдень на заснеженной вершине в одном старом бушлате и решил всё заранее, ещё ночью.

— Что это? — спросил Тимур.

— Это начало. Ты ведь хотел с самого начала.

— Так первым был не ты? Первым был он, твой отец, наш прадед? Баба усмехнулся.

— И не он. Обычай. Для него — обычай, а для меня — он сам. Но и обычай не первый. Потому что будь он первым, не был бы тогда обычаем.

— Но зачем это он? Для чего?

Старик одобительно кивнул. Потом вернулся на место, сел на табуретку, посмотрел в окно:

— Скоро кончится, — сказал он. — Столько воды разом не бывает. А больше неё человеку в этом мире ничего не отпущено. Но эдак вот сразу — слишком много. Правда?

Он пристально посмотрел внуку в лицо. Тот молчал. Старик тоже. Он ждал ответа.

Тимур сказал:

— Лучше сразу.

Дед улынулся, взял его руки в свои и тихонько погладил.

— Выдержат, — сказал он. — Конечно, выдержат.

Тимур покраснел и стыдливо отдернул кисти. Затем, внезапно разозлившись, потребовал:

— Так если выдержат...

— Мать перед смертью рассказала, а до того никто и словом не обмолвился. Ради этого он и ушёл, чтоб люди забыли. О покойнике дурное вслух не вспоминают и на детей его не переносят. Со своим позором он сам рассчитался. И дня не тянул. Потому и смысл.

— Кровью?

— А чем ещё? Чем ещё, если позор всю кровь отравляет? Всю! Ты понимаешь? От отца — к сыну, от сына — к внуку, пока сама кровь жиже не станет...

— Значит, из-за вас?

— Ради нас! Из-за себя...

Баба нахмурился, замолчал. Взгляд его уткнулся в пол, тело обмякло и съёжилось. Он зябко прижал к бокам локти. «Как я и отец, — подумал Тимур. — Точно. Так и есть. Как я и отец. Только ему мать рассказала. И потом её положили рядом с пустой буркой...» Он оторвался от стены, чуть слышно про-

шёл к вешалке, снял с неё выцветший древний мундир, укутал деду спину.
— Джеоргуба была, праздник,— сказал старик.— А перед тем у соседа сын родился. Родственников отовсюду понаехало — уйма. Распогодилось, день тёплый был. Скачки решили устроить. К дороге спустились, в низину. Отец и не думал, что проиграет. Тридцать лет прожил и не проигрывал. Лучше коня у нас в ауле не знали. В Кабарде покупал, всех овец продал и впридачу плитняка на два дома, а сами в хадзаре жили — хуже лачуги. Но никогда не проигрывал! Можешь себе представить, что это такое — никогда не проигрывать...

Но в тот день на полкрупка отстал. Незнакомец выиграл, соседский родственник. Даже не из нашего ущелья. Да и лошадь вроде обыкновенная была... Тогда отец сдержался. Если б сразу коня пристрелил, сам бы жив остался. Но он сдержался — из гордости. А гордыня с временем долго воевать не может. Поэтому, как из-за стола встал (а пил столько, чтоб обиду затопить, только обида всегда поверху плавает, так что ничего у него не вышло), в дом вернулся, сорвал с гвоздя винтовку — и на двор. Когда стрелял, конь и не шелохнулся — мать из окна смотрела, всё видела, и как промахнулся — тоже. С десяти шагов не попал! И тут же оглянулся к хадзару, проверить, заметил ли кто, с матерью глазами встретился, пуще разозлился, ругнулся и винтовку перезарядил. А сам уже плакал, мать говорит. И шатался, как больной. Снова прицелился — и голос тут: «Зря ты. Завтра стыдно будет». Незнакомец у плетня стоит, головой качает. Мать поняла и успела закричать, но он уже выстрелил. Попал, но плохо,— щеку оцарапал. И больше перезарядить не успел: тот через плетень перескочил, подбежал и по лицу ударил. Отец на спину упал — и без того еле на ногах держался,— но винтовки не выпустил. И пока лежал, всё целился, а тот всё стоял над ним и ждал, хотя мог бы её из рук вырвать или хотя бы ещё ударить, сделай так — может, отец бы и жив остался,— но он не сделал: решил полностью победить, окончательно... И потом, когда ясно стало, что не выстрелит, вытер щёку рукавом и медленно пошёл, но не к плетню теперь, а к калитке, не спеша и не оборачиваясь, чтоб выйти как хозяин, зная, что винтовка в спину смотрит, и зная, что больше уж ничего не будет...

И потом была ночь. Он лежал неслышно, будто и не дыша. Мать глаз не сомкнула, вслушивалась, но без толку. А когда утром встал, оделся и ушёл без слов (ни разу не взглянув, лицо пряча), она — к его постели, подушку перевернула, а та сырая вся. Тогда мать и узнала, но догадалась раньше...

Тимур стоял, запрокинув голову, приткнувшись затылком к углу. Сердце скакнуло в груди и зависло в вязком трепете. Он подумал: «То, что от него осталось. Что во мне течёт. Что текло во мне всегда. О чём я даже не подозревал».

— У него выхода не было?

— Позор выхода не оставляет. Правильно это.

— Я понял.

— И другое поймёшь.

Баба отвернулся, сжал руками колени. «И в нём течёт, только больше. Вон как жилы затопило»,— снова подумал Тимур.

— Теперь про себя будешь? — спросил он.

— Нет. Очередь не подошла. Мы маленькие были. Зато глаза смотрели, видеть могли. Как он, дядя, на пороге сидел, вдаль глядя, как в дом входил — словно и не в свой, хотя с рождения в нём жил. Войдёт, осмотрится, а глазам и успокоиться не на чем. Будто стены вдруг чужими стали, и он — чужим стенам хозяин, чужим детям отец. Своих не хотел. Или хотел, но не так. Чтоб от нас не делить. Жену ведь не выбирал. Другой выбрал. И выбором этим все жили, потому и хадзар чужим для всех сделался. Хуже чужого дома нет ничего, если ты в нём хозяин.

— Я понял.

Дед отрицательно замотал головой, неожиданно сердито прикрикнул:
— Не спеши! — но сразу сник.— Ты главного не знаешь. Всё повторяется. Для каждого — по-своему, а повторяется. В этом секрет. Мне тринадцать было, когда мать умерла. Брату одиннадцать. А ему — за сорок уже. Но через год, срок выждал — опять женился. Тогда и дети пошли.

— И дом родным стал?

— Он думал так. Но пять лет спустя нам отдельный построил. Не к старому комнаты прибавил, а новый выстроил. Чтоб рядом, но не вместе.

— Выходит, не любил?

— В том-то и штука — из любви сделал! Ты вот это пойми! Для нас-то дом, как ни поворачивай, чужим оставался. Помочь нам хотел, а люди как ты рассудили.

Старик горько зацокал языком:

— Легко за других думать. Тут же вина отыщется. А он лишь братовым долгом жил, все годы! И по долгу поступил. Ох-хо!..

Баба опять смолк, облизнул губы. «Курить хочет»,— решил Тимур, охотно направился к печи.

— Не надо,— дед поднял ладонь.— Позже. Сейчас садись.

Он нагнулся и придвинул внуку скамейку:

— Ну!

Тимур колебался, затем сел робко, в мозгу пронеслось: словно на равных. Поделился — и словно на равных. Больше уж сам, видно, не может. Равный нужен.

— Всю жизнь искал,— сказал старик,— а не нашёл. Про дом я.

— Про дом уже было.

— Так ведь всё про него. С него начинается, им и кончиться должно. А не сходится. У меня не сошлось...

— Ты о них? — спросил Тимур, а себе сказал: «Спокойно. Их в тебе нет, так что спокойно. Они в стороне остались, и её в тебе никогда не было, а тот второй не в счёт. Её она поглотила».

— Для любви много не нужно. Ей минуты хватает. Не опускай, подними лицо. Здесь нечего стыдиться.

Брат тогда ногу сломал, дома сидел. Пришлось мне за хворостом идти. И знаешь, день до того обычный был, хоть повязку на глаза завяжи — ничего не переменится, тело само сделает. В рощу вошёл, через молодняк продирался, солнце ещё высоко стояло, небо над лесом прохладное, сочное, пока тучи туда не подоспели, а как дальше пробрался, будто темнее стало, тише. Деревья огромные, глядеть трудно... Шёл — не таился, листья под ногами шуршали, громко шёл, но она не услышала. На коленях сидела, и руки вниз. Словно перед тем молилась. Да только кто из осетин когда молился! Замер я, остановился, дух перевёл. И веришь, будто не я подглядел, а меня подглядели — так задрожал. Уйти хотел, но решиться не мог. Чувствовал, шаг сделаю — услышит. Странно, правда? А она боком ко мне была и не видела. Не обернулась. Вниз смотрела и руками над землёй водила, осторожно так, как над огнём. А там, кроме листьев жёлтых, ничего и не было. Потом трогать их стала. Как живых, одними пальцами. И взгляд... Такой, будто из глаз тоска льётся. Вот она, минута эта! Не шевельнулся, не дёрнулся, только внутри горит, а кожа наоборот — стынет. И уже поменялось всё, и ты не сам по себе, а как порвалось что-то, не зашьёшь ничем, и до того открыто в груди, словно дыра скалится, и подсмотреть её всякий сможет, весь лес смотрит, небо, она — едва с места сойдёшь (раньше потому не замечала, что иной пришёл, прежний, а нынешнего глухой услышит, слепой увидит)... Тут дождь начался, закапало, и сквозь ветви капля не каждая долетала, но, казалось, та, что долетает, бьёт, точно в боль метит... А она встrepенулась, спохватилась, платок с головы сорвала и по земле расстелила, листья прикрыла, печаль свою прикрыла, потому что

им её принесла, на них излила, на жёлтые эти листья, не на деревья и не на те, что за них ещё держались, а на слетевшие, обречённые... Сколько же в ней печали томилось, если к ним пришла... И как подумал об этом — не выдержал, побежал, до самой дороги нёсся, и лишь потом смотрю — топор в руках. Но вернуться не смог. Стоял на свернувшейся пыли, пока пыль эта грязью не стала и топор тяжёлым не сделался, как сами ноги, как небо, как мокрая черкеска... Как листья, что там остались.

«Дождь всё идёт, — думал Тимур. — А для него никогда и не прекращался, хоть рана язвой стала. Но в тебе её всё ж таки нету, той женщины. Она в нём. А он в тебе. Значит, и она? Если в нём живёт? Слишком много. Прав он был, слишком много, если ещё и она...»

— Долго ждал?

— Когда ждёшь, всегда долго. Весной свадьбу сыграли.

— И следующей осенью ты ушёл.

Дед вскинул брови:

— Как узнал?

— Ты про мост говорил. Мост, дощечка...

Баба улыбнулся:

— Запомнил... Хорошо. Повторять не придётся...

Он убрал влажные глаза, суетливо ошупал ворот на рубашке, потёр лоб, обхватил ладонью подбородок, хотел стереть улыбку, но, пока прятал глаза, ею защищался. Наконец справился, взглянул в лицо:

— До осени полгода было.

— Вас трое оставалось? То есть... Ну... В общем... — Тимур смешался. — Ты, она и брат?

— Всевышний четвёртого не допустил. Сами должны были решать. Сами — значит я. Поначалу нормально казалось. Вернее, со стороны нормально. Но... Будто идёшь на запах дзыкка, а на чурек приходишь. Я ведь душу искал, чтоб печаль растопить (а она в ней повсюду была: в руках, когда масло сбивала, в спине, если вечерами за солнцем следила, в косе, когда к своему, потайному отворачивалась, в каждом молчании, что смех сменяло, что всегда в ней пряталось, потому как ею оно было — во всём молчание), согреть, увести хотел, а до неё, до печали, так и не дотянулся. Везде — а поймать не можешь. Как тревога. Но беды ещё видно не было. И надежду я лаской кормил...

Тимур напрягся. Мальчишка, а он рядом посадил. Неужто не понимает, что мальчишка! Для ЭТОГО мальчишка. Не хочу!

— Вас трое было, — перебил он.

Дед осёкся, пошамкал ртом, по лицу разлилась краска. «Нельзя было. Сейчас ударит. Никогда не бил, но сейчас ударит. Пусть», — подумал внук и выпрямился. Старик размышлял. Потом согласно кивнул и сказал:

— Трое. Дороже третьего у меня ничего не было: что её потеряю — не знал тогда, считал, на всю жизнь решено. А с ним, чувствовал, расстаться придётся, не удержать. Он с детства такой был. Будто огнём питался. На птицу был похож. Хорошую птицу. По утрам вставал и так кругом глядел, что вроде уж и в дорогу собрался.

Он ей козлёнка подарил. Маленького, пушистого, копытцами только траву щупал. Выйдет за двор и по аулу затрусит, никого не боится, заблеет тоненько — как расмеётся, как удивится... Весь хрупкий, и где ни тронешь — всюду сердце слышишь. Как жизнь в руках держишь. Мимо бежит, а собаки морды опускают, словно не замечают, чтобы не лаять, сердечка не испугать.

Угадал брат. Хотя, думаю, сам ещё тогда и не знал что к чему. Я не смог, а он угадал. Выходит, когда не твоё, угадать проще.

— Не твоя? Ты хотел сказать — когда не твоя?

— Верно. Только и не моя была. В себе осталась. Я ждал, а она при мне и не запела ни разу. Но ведь должна была! То есть не то, что должна, —

не могла не петь! Наедине-то точно пела, куда ж печали выйти, как не в песню. Но не слышал никогда. Даже за дверью стоячи, вслушиваясь. Ненавидел себя, но знал: должна петь!

— Не надо,— попросил Тимур.

— Так и не услышал. Не по мне, значит, слушать было. Мне видеть выпало... Ты не жмись! А то не так поймёшь. Здесь чисто всё.

Из города саженцы привёз. Сирень. Для неё привёз. Как цвела, понравилось. Решил под окном посадить, чтоб рукой могла достать. Брат на дворе корзины плёл, ловко работал, пальцы быстрые, тонкие. А я с заступом у стены возился, о них обоих думал. На саженцы взгляд кину — легко станет, весело, смешно. Дерево вроде, а букетов полно, что за штука такая, думал. Ей понравится, думал. Весна придёт — ахнет, думал. Листьев-то теперь для неё не будет. Какие листья, если... Ну, если жена моя. Уверен был. На брата посматривал, и душа радовалась: вместе. И никого мне больше нужно не было. Честное слово! Даже о ребёнке в тот день не вспоминал, забыл, напрочь забыл. А перед тем мучился, пора бы ей, думал. А тут... Такой запах от земли шёл, что в ушах звенело, в зобу щекотало. Осень ещё тёплая гуляла, земля её залпом глотала: ест, ест, а наестся не может. Только я с саженцами кончил, здесь козлёнок заблеял. Жалобно так, тоскливо. И до того смешно мне это показалось, что уже захохотать готов был, выпрямился, на заступ опёрся, потом оглянулся и... смех свой сплюнул. Пусто в горле стало, весь голос пропал, одна кислятина. Брат словно так и сидел, как прежде, и руки корзину держали, но только изменилось что-то. ПЛОХО было. Он в дом глядел. Я знал, на кого он глядел. Потому что видел, КАК глядел, что в глазах у него. И не удивился. Не удивился я! Самое это жуткое, будто заранее подозревал. Но ведь не было такого! Клянусь!.. Или про неё знал? Наверно, про нас с ней. Лишь надеждой себя дурманил. Но когда заступ к стене прислонил и дальше прошёл, надежды и в помине не было, век, как не было, никогда будто не было. Знал, ЧТО увижу, проверить хотел, до конца испить...

Она у порога присела, и козлёнок на руках. Но снова заблеял, а раньше никогда и голоса не подавал, если она держала, моргал лишь и о грудь её тёрся. Только она сейчас не на него смотрела. Его черёд кончился. Сперва листья, потом он (а меня так и не было), потом тот, кто его принёс, кого я с детства знал, кто был на птицу похож и сидел теперь с корзиной в тонких пальцах, которыми сплёл бы что угодно, только не гнездо. Гнезда бы сам не сплёл. И вот это в глазах у них было. Это во мне и засело.

Потом на меня посмотрели. Не знаю, кто первый. Долго смотрели, не таились. И взгляда не отвели. Ни он, ни она! Я отвёл, потому что не смог, сил не хватило. Стыдно сделалось, сухо во рту, будто на живую нору наступил. И сказал — противно так, словно оправдываясь: «Козлёнок... Плохо ему. Заболел, видно...». И потом опять молчали, уж не знаю сколько.

Вечером она ушла. Брат во дворе сидел, корзины доплетал. А как вернулась — он поднялся, к реке пошёл, я из дому видел. Друг на друга не смотрели. Только я следил. Как со стороны наблюдал. К платку её сломанный лист присох, понял, что в лесу была. Но меня уже будто и не касалось. Успокоился вдруг. Потом брат прибежал, на руках козлёнка принёс, тело на берегу подобрал, с обрыва, верно, упал. Тут я на неё взглянул — снова, как со стороны,— у неё только ноздри дрогнули, но глаз опять не отвела, будто ни при чём была.

А наутро брат вещи собрал... И я сказал: «Подожди до завтра»,— но он словно и не услышал. Тогда я опять сказал: «Подожди. Завтра тоже день будет». А он ответил: «Такой же, как и сегодня». И я опять сказал: «Ты подождёшь до завтра, потому что никто ничего заранее знать не может». А он сказал: «Что ж тут знать?» И тогда я его чуть не ударил, и он это понял и вспомнил, кто из нас старший, и нехотя кивнул. И я сказал: «Пойду поохочусь. Погода вроде в самый раз». И он опять кивнул, но ещё ни о чём не догады-

вался. На птицу был похож. А я взял винтовку и пошёл. Её не встретил. Да и не нужно было. Глаза их с собой уносил...

Что-то хрустнуло. Тимур метнулся взглядом к дедовой груди, потом посмотрел на вздутые артритом пальцы. Те, что свили гнездо. Что свили другим их птичье гнездо. Старик застыл. Окаменел, уйдя душой в искорёженное пальцами прошлое, позабыв щуплое тело здесь, в этом доме, последнем пристанище его последних лет, заперев тягучий взгляд в прочном молчании, на непрочном полу, припорошённом давними его шагами.

Он был иной. Не тот, что прежде. Тимур впервые увидел его так, ЦЕЛИКОМ. Как статую в школьном парке. Полнее статуи. И полнее оленя на жёстком холсте.

Того Тимур создал сам — из тумана молчания, в зябком ожидании чуда. Он рисовал его жидким маслом по грубому холсту, видя сперва одни линии, пятна, слушая собственную робость прикосновения и чуя запах железа из пивного котла в углу. Его он создал сам, врачуя серость полотна и с ней ещё что-то — в себе самом, что кричало изнутри, взмывало из уродливой оболочки, взрывало её смутной жаждой, пока на холст ложились терпкие краски и согревали тусклый сарай, пока сидел он против тугой шершавой ткани, нанося мазок за мазком, рисуя по памяти, призывая опять и опять ту девчонку, что бежала в порванном сандалиии под длинным небом и принесла ему красоту, видение, беду, — и вот сидел он под тухлой крышей в гниющей сырости сарая и создавал её по памяти, мазок за мазком, миг за мигом, прыжок за прыжком, под калёным небом, в негодном порванном сандалиии, бегущую вдаль, ускользящую, казнящую, а на холсте выходило не то, там был не миг, а больше мига, шире времени, острее беды, дольше длинного неба, там было лучше, пронзительней, ближе, хоть до того видал лишь раз — и то не в жизни. Там был олень.

Потом он спрятал его за дровами, завернув в ветхий отцовский ватник и закидав всяким хламом. Это был ЕГО олень. Но он ошибся. Олень был хуже. Он был ничто. Он кончился. Потому что был всё-таки меньше. Меньше, чем нужно, хоть и не миг. И кончилась девчонка, потому что была мигом. И теперь был дед. ЕГО дед, который кончиться не мог, потому что был целой жизнью.

— Ты красивый, — сказал Тимур, только старик не услышал. Услышал голос, но не слова, и медленно вернулся.

— Камни, — сказал он. — Камни, река, трава, опять камни... Люди затем богов на небо посадили, чтоб, молясь, камней не видеть.

— Каких камней?

— Повсюду которые. И дорога на камнях держится, и небо, где они сидят. Боги то есть. Камни всё подпирают. И одиночество тоже. Потому что память по ним стелется.

— Ты по камням шёл?

— Шесть дней. Над нами ещё два аула было, а выше — там уж одни камни. К ним пошёл, чтоб не раскрыться. Только винтовка в руках да бурка спину греет. Почти и не ел ничего. Несколько раз туров видал. Да вот вскину винтовку (ту, что от отца осталась, ту, что у водопада не бросил, чтобы поняли, чтоб и другие догадались, из мести не бросил), прицелился, а курок спустить сердца не хватает. Козлёнка вспомню — насквозь пробирает... Будто в себя мечу. А ночью холод приходит. По костям топчет. Сон от него дрожит. Наутро до того проморозит, что уж клятву себе даёшь: с рассветом спущусь, вниз отправлюсь. И голод сосёт, голову мутит, невозможно терпеть. Чуть солнце привстанет, тень отпечатает — спешишь, скорей-скорей... К людям, к реке, к ущелью... За ночь-то сильно любить себя начинаешь. Но только к полудню остановишься, присядешь, думать примешься. Встречи боишься. Сказать боишься. Обиды много, злости много, хотя кто виноват? Вот это и муторно, что виноватых нет. Любой поймёт, и что тогда ответит? Промолчит? Пожалует?

Да жалость с позором — как брат и сестра... Они сильнее холода.

И вот на третий день пристрелил. В глазах уже верности не было, ползло кругом, но голод резать перестал, навалился теперь, и с плеч не сбросишь, стало быть, хуже, наглее сделался. И я подумал: «В себя целю? Так и чёрт с тобой, что в себя!» Особо и не старался, а попал. С двухсот шагов уложил. И даже противно не было. Подошёл к нему (матёрый оказался, рогастый, зрачки застыли — мертвее тины на воде), по горлу кинжалом полоснул, кровь хлынула, ичиги новые обрызгала, и полегчало прямо: По камням бурая струя бежит — бойко так, хоть худенькая,— а мне не то что не жаль — сладко в груди! Освеживал его, шкурой ичиги вытер, костёр развёл и мяса нажарил. Вкусное, сочное, зубы радуются. Аппетит дикий, как у ребёнка. Да только объелся, видно. Прилечь не успел — скрутило всего, чуть желудок не выпрыгнул. Плохо стало. Голод внутри крепко сидел, обратно пищу вытолкнул. Ещё кровь эта бурая на камнях! А на руне — как краска. Не мог я там больше, снова в гору двинулся. Забыл даже мяса прихватить...

— Не забыл,— сказал Тимур.

— Что? — спросил дед.

— Не забыл, говорю. Просто не прихватил.

Старик поджал губы:

— Может, и так. Но жалости не было. Тошнило только. Их глаза рядом стояли. От них тоже тошнило. Всё ущелье поверху прошёл, до конца, но уже не охотился. У перевала к чабанам пристал.

— Рассказал?

— Духу не набралось. Они и не спрашивали ни о чём. Не для того же человек от людей прячется, чтоб душу другим раскрывать. Чабаны умный народ, с горами в обнимку живут, а те болтать не любят, не привыкли.

— Выходит, ты спустился? Если чабаны? К траве пришёл?

— Казалось, прямо иду. Но выходит, что так. Значит, боль пообветрилась, задубела... А от них всё ж таки отстал.

— Чтоб не сказать?

— Чтоб не бояться сказать. Ещё двое суток плутал. Рассчитывал, больше смогу... Но на рассвете село увидал.

Сверху на руки было похоже. Дома и река по бокам вытянулись, а посрединке поля спали. Поля — те грудью были. Глядел я на них, дивился: ладонь подставь — сами на неё посыпятся, руки-то игрушечные, между нами как-никак полдня висело. Потом подумал: всего полдня. Потом подумал: погляжу ещё малость и дальше двинусь. Потом подумал: руки, ни дать ни взять, вылитые руки... Но подумал потом: иди пора. И опять себе говорю: вечером, где вечером будешь? А тут полдня. Значит, тоже вечером... Но решил: плевать тебе на вечер. На другие плевал и этот переживёшь. И совсем то не руки, а омут да капкан и яма меж них. А потом подумал: сверху гладкие, как кожа. Но осерчал снова: не по тебе гладкое, по тебе камни... И пока думал так, ремень на винтовке тискал, и вдруг — грах! — смотрю, а она уж вниз катится. Лопнул тот ремень. Я — за ней. Добежал, да ступил неловко, ногой задел — винтовка дальше покатила. Ещё спускаться пришлось. Злюсь, себя ругаю, в голос кричу: «Гяур безрукий... Когда свои не годятся — чужие мерещатся! Своих уже мало!» И тут осёкся, встал, повторил те слова последние, поднял винтовку, ремень затянул, потом опять сказал: «Своих, стало быть, мало. Не хватает своих». Вслух сказал, словно убедить хотел. Говорил, а сам головой мотал, не верил. И слова тут помочь не могли. Потом патроны ссыпал, размахнулся, но опять передумал. По-новой зарядил, вдохнул хорошенько и за спину винтовку швырнул. Брякнулась где-то сзади и расколосась, по звуку слышал. Но не выстрелила. Усмехнулся я и вниз пошёл. Больше уж ни разу не остановился.

Как сумерки насадать стали — к главной улице вышел. Дома кругом,

просторные, крыши высокие. Ни одной сакли! И путь щебёнкой выложен. Старики у ворот сидят, а нихаса не видно. Как в городе, разве что людей поменьше. У нас чужого за версту примечают, а тут присматриваются, не признать опасаются. И не встаёт никто навстречу, лишь приподнимутся, поприветствуют... Так с чужаками не поступают. Выходит, гостей со своими путают, легче будет, думаю. Иду, по сторонам кошусь, приглядываюсь, к заборам таблички с буквами приделаны. Большое село, значит, коли без букв обойтись не сумели. Пол-улицы прошагал, пора б и остановиться, а сердце дальше гонит. Робко на душе от улицы этой, тянется и тянется. Рука длиннющая оказалась.

Вдруг замер я, глазам не поверил. Читать не читал, но как себя написать — умел. А тут оно прямо передо мной, те же буквы. Будто к себе на могилу пришёл. Дом оглядел — поменьше других, но стена недавно белёна, чистенький. И в окнах стёкла блестят. В остальных тоже блестили, но не то что здесь, ПОД ЭТИМИ БУКВАМИ, у побелённых стен!.. Ещё раз по складам собрал, что написано, и к ногам дрожь прилипла. Женщина калитку отворила и смотрит. Пожилая уже и в чёрном вся. И глаза чёрные, с одеждой свыкшиеся. Вдова. Давно вдова, но чья? Родственница, а не припомню. Смотрим друг на друга, слов ждём. И сумерки жирнее сделались, а я только заметил и подумал: «Ветра нет. Тепло. Камней нету, потому и тепло. Долго тепло не было...» А буквы уже сливаться стали, и сказал я: «Тут моя фамилия», — а она и не шелохнулась, в уме что-то прикидывала. Понял тогда, что одна живёт, обмана боится. Кивнул ей и дальше пошёл, вон оно как, подумал, за шесть дней имя своё потерял, кому-то досталось, все буквы забрали. Горько сделалось, обидно. Обернулся и крикнул напоследок: «Может, и не моя она, только никакой другой прочитать не смогу, тем более на бумаге вывести». А она всё прикидывала. Я уж следующий хадзар минул, когда голос услышал. «От своей фамилии, — сказала, — так быстро не уходят. Если, конечно, к ней шли». Теперь мой черёд прикидывать был. Но калитка не хлопнула, и она всё там же стояла, и я вернулся. «А если от НЕЕ шёл, — говорю. — Как тогда?» Она подумала и плечами пожала: «Но ведь опять к ней пришёл. И не таился. Значит, довольно прошагал, отдохнуть пора», — и улыбнулась, меня впустила. А наутро сказала: «Вот уж не знала, что ещё у кого-то такая фамилия сыскаться может». Но я в тот раз не понял, а она объяснить не желала. Меня напротив посадила, в глаза долго смотрела да и приказала потом: «Родства не ищи. Людям скажу — мужнин племянник. Дрова в сарае. И топор там же. Задарма кормить не буду, не по мне это — вдовье гостеприимство. Коли уходить соберёшься, загодя предупредишь. Беду свою в себе держи, потому как никто ты мне, запомни это! Одолжение тебе делаю». Тут я вскочил, как ошалелый, зубами заскрежетал, бурку схватил, а она головой покачала и говорит: «Нет. Сначала в сарай сходи. Руками поработаешь — без бурки согреешься. Если хочешь, чтоб без одолжения. Ужин, постель и завтрак уже на тебе». Усмехнулась и в огород пошла.

— А ты в сарай?

Дед сумрачно кивнул.

— Всё исполнил. И вот до сих пор в толк не возьму, есть ли кто умнее вдов на земле? Ведь знала, что останусь! По одним глазам поняла. Получалось, как наняла меня, да вот на деле хозяином сделала. И перед людьми так выставила.

— В чужом доме хозяин. Всё повторяется?

— Для каждого — по-своему.

— А что с фамилией?

— Через несколько лет узнал. Но прежде меня рассказать заставила. «Столько зим в чужаках не ходят, — говорит, — слышать хочу». Я не противился. Пока речь из себя выжимал, ни словом не обмолвилась. А потом тихо

так обронила: «Бедный ты.— Добавила: — Но жалеть ни о чём не нужно. Потому что не о чем жалеть, кроме себя. Только мало этого для настоящей жалости».

А спустя пару дней о себе поведала. С равнины она была. Женой стала, а свадьбы не видела. Не могло быть свадьбы: между семьями кровь засохла. Её род покрепче был и из другого лишь одного в живых оставил, чтоб не весь в земле лежал. Да вот не знали, что этот один через десяток лет в их же стаде охотиться будет. Украл он её, похитил. Заранее здесь дом присмотрел, старый продал, а этот купил. Чтоб не нашли, фамилию новую сочинил, сам придумал, никогда такой не слыхивал. Скрыться за ней хотел. Думал, дети подрастут, ту, первую, им вернуть сможет. Да только не дождался. Годом после молнией убило. Пуля не достала, а небо проворней оказалось. Ещё раньше заметило, когда её детей лишило. Не просто это — имя менять.

— Но ведь обычай!.. Убили бы его.

— Верно. А кто сказал, что с обычаем спорить легко? За это всегда страдать нужно. Кто-то — да пострадает. Обычай веками делается, годами рушится. И не часто года мудрее бывают.

— Несправедливо это.

— А справедливо было, когда его отец в деда её стрелял? Пусть тот умом тронулся и с этого ума лишнее сказал, но ведь больной был, а у здорового и мысли бы такой не закралось. Честь берёт? Где только эта честь гуляла, когда сын его счастье себе крал? Позора здесь много, вот что!

— Несправедливо это!

— Справедливость не там ищешь! Прощать никто не умел, чужую честь запятнать хотели, а от собственной лишь гордыня сохранилась. И то — отрёпья одни. Гордыня с гордостью не дружат. Их обычай разлучает. Но не до каждого это доходит. Слушай! Теперь про бабу твою расскажу...

Старик закашлялся, побагровел. Насилу перевел дух. Тимур кусал губы и думал: «Неладно здесь что-то... Люди запросто не умирают. Запросто и ветер не дунет. Сложнее тут. А у него все вместе повязаны, будто тот же воз тянут. Только что это за воз? Теперь и бабка в нём. И её во мне ровно столько, сколько его...»

Дед отдышался, переждал, потом хлопнул кулаком о колено:

— Семь дочерей — и жизнь едва потрогали. Первая родилась, сердце и часа не билось. Вторая ненадолго пережила. Предупреждение то было. Но они снова пытались. Двух близняшек даже замуж выдали. Да только те и родить не успели. Проклять в кровь вьелось, яснее ясного! Но у них ещё три к тому времени росли. Смазливые, здоровые с виду. Красоту им в насмешку судьба бросила. И все это уже поняли, в жёны не брали. Она младшая была, на ней и прекратилось. Нана знала, что так оно и будет. САМА тоже знала. Проклять искупить хотела. Какое? Да то, что небо ещё на родителей её вылило. На поколение опоздало, но только раньше не могло. Никак не успевало. А дело в мельнице было. В гордыне! Двум братьям та мельница принадлежала, а другой в селе не стояло. Так что им с каждого помола часть перепадала, и накопилось этих частей — три амбара ломились. А три и один напополам плохо делятся, вот они детей своих и обручили. Против обычая от гордыни пошли, всех погубили. И ни единого мужчины гордыня эта дать не смогла. Семь женщин, и лишь от последней плод уцелел. Потому что смирением её излечила, гордыню ту. Знала, что от неё требуется...

Пятачок за окном развезло. Поверху плутал маленький кусочек дёрна, цеплялся за пухлую траву, отлипал снова. Дождь опять наподдал и по бокам пльвучего островка пузырил капли. Собака у чужих ворот кисло поджала хвост, вроде уж и не надеясь. В катившемся потоке лапы её иногда вздрагивали. Где-то за дождём кружилось белое солнце, где-то за солнцем копошилась пустота, и цвет у неё, должно быть, был серый. Тимур смотрел на хлип-

кое месиво, под которым была трава, и на грязную реку, под которой была дорога. Между месивом и травой была ещё слинявшая пыль, а между дорогой и бежавшей по ней рекой — следы.

Отец садился на корточки между травой и дорогой, лицом к дому, на полной ступне. Он не спешил и тщательно выбирал, морщась, будто в глаза пепел попал, будто шея болела, потом указывал неровным пальцем: «Ты!» — и деловито сплёвывал. Пока Тимур боролся, отец следил с кривой усмешкой и всё сплёвывал в траву. После первой победы он удовлетворённо кричал, улыбка делалась шире, открывала влажные белые зубы, и он небрежно кидал следующему: «Ты теперь», — и Тимур ещё был вместе с ним, довольный тугим своим телом, щупал пальцами чьё-то податливое плечо, давил пятками мягкую траву и ждал, когда вдавит в неё чужие лопатки. Тогда отец говорил: «Чистая победа. Кто ещё?» — сплёвывал и охотно сам же решал: «Ты!» Он заметно оживлялся, комкал руками лацканы наброшенного сверху пиджака и принимался покрикивать: «Под ногами не путайся! И до тебя дойдет, хе-хе!.. Он любого сделает, этот парень! Кого угодно веди!» Тимур пьянел от похвалы, и собственная ловкость жгла, бесилась, измывалась над забытым в лице уродством, не знала удержу и побеждала. Отец вставал, властно протягивал руку, и он шёл к нему, жаркий, потный, сдерживая улыбку и колотившееся в радости сердце. «Стоп! Мышцам роздых нужен!» — говорил тот, старший, массируя ему тело, а младший млел от прикосновения родных и сильных рук, успокаивал сердце и был готов снова. Отец подталкивал в спину следующего, и сам больше не садился, стоял рядом, затем подходил ещё ближе, склонялся, семенил за ними по площадке, хрипло дышал, без усмешки уже и без прищуря, сдавленно бормотал горлом: «Ну! Так его!.. Секи! Секи, говорю!.. Дожимай!.. Этот парень любого... Дожимай же!... Любого сделает! Будь я проклят!.. Чистая победа! Туше! Вот как это называется. Боятесь? Хе-хе!.. Ну-ка ты! Давай-давай!» — и выпихивал нового, и тот в самом деле боялся, а Тимур уже сгибал в локтях руки...

Он уже сгибал в локтях руки, и что-то лопалось, рвалось в ушах, мешало, он слышал загнанный торжествующий хрип, и в ушах что-то мешало, он выпрямлялся и смотрел на отца, на сброшенный в траву пиджак, на стиснутые зубы, скользкие желваки по щекам, струйки пота на них, смотрел на лицо, на блестящие круглые пятна, два чёрных пятна подо лбом, словно два нарыва, горящие, странные, чужие, будто ввинченные болезнью, неродные на уже неродном лице, дикие, зловещие, слепые, не выдающие ничего, кроме двух пацанов под громким солнцем, из которых уже боялись оба, потому как больше видели, чем звенящие эти пятна, они видели другие пятна, смотрящие туда же, исподлобья, насупившись, осудив, и оба, увидев их, осудили сами, а в ушах мешало, и Тимур слабел, что-то ронял и никак не мог поднять, а отец хрипел, ждал, подстёгивал, отвешивал подзатыльник, но он, Тимур, всё не мог никак поднять, хотя перед тем уже сгибал их в локте, перед тем, но не теперь, и тот, второй, очнувшись, со страху валил его на спину, и под лопатками он чувствовал мягкую траву и прикрывал глаза, чтобы больше не видеть, и ждал, пока не смолкнет хрип и не прошуршит по мягкой траве пиджак, и потом оставался тяжёлый пинок под рёбра, и хмурые стоптанные шаги, и хмурый голос у ворот: «Твой сын трус». И мысль: она тоже там, она тоже видела, ей не нужно было...

А мать стояла у калитки, кинув вниз понурые руки, сутулила плечи и туманила взгляд. Тимур вставал, отряхивал брюки, косил глазами по сторонам, а клёкот в груди уже поднимался, толкал изнутри, потому что те, другие, не уходили, переминались с ноги на ногу и смотрели исподлобья туда, где туманился взгляд, но уже не судили, не супились, а будто стыдились, шептались собственным молчанием, и было это как после драки, когда избили скопом одного. Но драки не было, и их было трое против толпы измазанных мальчишек, и

клёкот нарастал, душил, и Тимур бросался в эту толпу и бил кулаком первого с краю, а они не спеша крутили руки и укладывали его на холодную траву, и он кричал: «Уйди!.. Зачем ты здесь! Уйди, прошу тебя!..» И она торопливо уходила, так ничего и не сказав, и потом уходили они, оставив его у зелёных ворот, на зелёной земле, под громким солнцем.

И теперь всё смешал дождь, и за ним кружилось побелевшее солнце, отпугивая вдаль серую пустоту.

Но он любил отца. Бывало, тот стоял, подперев бока, у сетчатой изгороди и смотрел на восток, где зыбко дымился рассвет. И Тимур ждал у него за спиной, неслышный, незамеченный, и любил его всей грудью и смотрел на них с рассветом, и были они словно вместе, вдвоём — отец и рассвет. А иногда он сажал на колени Руслана, бегал пальцами по крохотным рёбрам, щекотал и звонко смеялся, подмигивая Розке и Тимур. Тогда их становилось четверо — все вместе. Но больше четырёх не получалось. Трое выпадали: мать, Баба и Ритка. И всё же он любил отца. Тот был один...

Порой он приходил с друзьями, и они сидели до самой ночи под крышей во дворе, а мать со старшей суетились рядом, подносили пироги и меняли кувшины с пивом, подливали в графин араки. С каждым стаканом отец веселел, смешно шутил и казался трезвей других. Но постепенно лицо его мрачнело, и он брал из чужой пачки сигарету, неумело курил. Тимур знал, что он снова один. Гости уходили, пошатываясь, горланя сытыми голосами, и долго, несвязно благодарили хозяйку. А она грустно улыбалась, но в глазах её уже мутился туман. И потом была тишина. Тишина бродила по всему дому и изредка стучала ставнями. И уже никто не был вместе.

И ещё бывало, когда отец ложился на жидкой перине под спеющей сливой, скрещивал руки на груди и засыпал. Мошки слетались ему на лицо, и он начинал негромко похрапывать. Просыпался быстро, одними глазами, и потом смотрел вверх, в небо сквозь пареную листву, не меняя позы, не шевеля руками, и тихо бранился рублеными матерными словами. И Тимур робко, оглядываясь, шёл в дом, неловко переступая ногами и думая о том, что этот человек — его отец. И тогда он любил его меньше, хоть ругательства были похожи на стон.

Про подарки он никогда не забывал, и самые дорогие доставались Ритке с матерью. Они тупили взор, поспешно благодарили, а мать натужно улыбалась и изо всех сил старалась не пустить туман в глаза. И тогда Тимур любил его больше матери, а уходящей Ритке ставил подножку.

Отец бил его не часто, но больно и тщательно, на следующий день избегал взгляда и говорил выпямленным ровным голосом. И наверное, думал, что один. И Тимур снова любил его полной грудью.

Но случалось, он его ненавидел. Отец сплёвывал, держа руки в карманах, нарочито икал, дышал в лицо нешибким перегаром и спрашивал: «Где?» Потом шёл дальше, спотыкаясь, притворяясь пьяным, и кричал: «Выходи! Встречай мужа! Забыла, как положено?» Позже мать кипятила на печке воду, ломала в нетерпении пальцы и спешила с тазом в спальню. И оттуда шумело: «У-ух!.. Сварить захотела? Холодной подлей!.. Это тебе ноги, не кастрюля». Дед уходил на порог, курил, и мундштук сипел, и дым резво клубился в густых сумерках.

Как-то раз, когда они шли с заднего поля, и уже спускалась ночь, и воздух был тёплый и пряный, а тени от вишен ложились жирными кусками на тропу, Руслан, бежавший первым, замер и вскрикнул. Потом увидели остальные. Ритка тащила по двору с открытым душным ртом, едва перебирая ногами и судорожно всхлипывая. Платье было разорвано до бедра, и на подоле чернело пятно. Она остановилась и сдавленно позвала: «Мама...» Мать ахнула, кинулась вперёд, но упала, отброшенная отцовским локтем. Он стоял, сжимая рукоять лопаты, и не сводил с Ритки вспененных глаз. Потом жарко выдохнул:

«Сука!» — занёс лопату над головой и двинулся. Тимур вцепился в мокрую рубаху, повис на ней, почувствовал звонкий удар и отлетел в сторону. Отец уже опускал руки. Тимур зажмурился. Потом услышал вопль и подумал: «Убил. Нас всех убил...» Вопль оборвался, как срезанный, и по земле прокатилась дробь шагов, потом хлопнула калитка, за ней — распятый в тишине голос с тем же словом: «С-с-сука...» И тогда он открыл глаза. Лопата торчала из земли мёртвым черенком, и Ритки не было. Отец шатался, хватал себя за горло, и Ритки не было нигде. Мать лежала в траве, перевернувшись на спину, колотила кулаком по разбросанной клубнике. Баба стоял на крыльце, опоздав, не увидев, и тянул к отцу молящие руки, зовя его по имени, выронив палку.

Её привезли в милицейской коляске — той самой, в которой подвозили час назад, только теперь вошли все вместе, а один всё трогал кобуру, пока другой рассказывал про автобус, слетевший в реку, чужую смерть и чужую кровь на Риткином платье.

Она облысела в две недели. Совершенно. Вечная косынка на голом черепе, как вечная ненависть.

И после тот делал ей дорогие подарки, и косынки в них никогда не было...

Но он его всё ж таки любил. Тимур любил его. Он сказал:

— Про отца расскажи... Знал он?

Дед согласно кивнул. Потом сказал:

— В селе про мать не утаишь. Мельница ведь до сих пор стоит. И отовсюду её видать.

— От неё, значит, уйти хотел?

— Только получалось, что и от меня.

Тимур помолчал, потом сказал:

— И ты...

— Да, — сказал дед. — Ещё и коня продал.

— А он женился и даже не перестроился... Чужой дом?

— Всё повторяется.

— И после ты повесил над дверью это? — Он указал на кабанью голову под потолком.

— Последний раз в тот год охотился.

— И до того запахов не чувствовал? Ну, от которых жалко становится?

— Когда сердце слабеет, нюх острее делается.

Тимур встал:

— Мне только тринадцать.

— Знаю. Но ему — поздно, а Руслану рано ещё.

— ТЕПЕРЬ поздно. Но было же, КОГДА не поздно!

— Верно. Хотел, чтоб легче вышло, да вот лёгкой правды не оказалось.

А мост всегда подновлять нужно.

— Ты должен был знать.

— Да. Только Нана про это ничего не говорила.

— Он тоже мстил.

— Тоже?

— Ты забыл про винтовку. Ту, что у водопада не бросил. Так что опять повторилось.

— Но у меня не получилось. Никто тогда не догадался.

— Кроме них?

— Кроме них. Но и им легче было из памяти вытравить, потому что никто не догадался.

— И ты им напомнил? Через сорок лет?

Дед отрицательно покачал головой.

— Я просто вернулся.

— Зачем? И Нана про это говорила. Зачем вернулся?

— Посмотреть хотел. Лишь взглянуть.

— Расскажи. Только это будет последнее.

— Это и так последнее. Потому что потом ты родился. Перед тобой ходил, Рите второй минут.

— Ему двадцать было.

— Точно. Мальчишкой женился. Отомстить торопился.

— Не надо про месть.

— Хорошо. Ты сядь. Тяжело вверх глядеть.

Они помолчали. Лил мокрый дождь за окном. На стене дышало древними часами время. Баба сказал:

— Сначала кое-какие вещи собрал. Но передумал, скарба и без того хватало — все годы мои. До подножия на автобусе доехал, а дальше на бричке попутной. Хозяин разговорчивый попался, лет под сорок, сторожем на стройке работал (санаторий там строили), всю дорогу забавлял. Артист да и только. И собакой умел, и гусём, и глухарём кричал, и рожи корчил — под медведя, лису, под ежа... Весело ехали, но потом испортил всё. С семнадцати, говорит, на фронте воевал, с сорок четвёртого, два ранения имею. Руками, говорит, смерть щупал. Как это? — спрашиваю. Да, говорит, авиация на нас пошла, лежу в окопе, землю царапаю, вдруг слышу — смерть под ладонями ползёт, за пальцы кусает, а они словно ртутью наливаются, холодеют, к земле примерзают. Насилу оторвал, говорит, вскочил да и побежал во весь рост по окопу. Тут-то и шмякнуло. В то самое место. На руки посмотрел, а с них вся кожа содрана. Смерть щупал, так и есть, говорит. Потом взглянул на меня и спрашивает: «Что, поверил?» Да как захохочет. Вот и другие верят, говорит, смешно. Не понравилось мне это. Не для шутки тему выбрал, думаю, а лицо уже кровью наливается. Только он всё своё продолжает: и на базар, говорит, я потому езжу, слепым прикинуть, весь товар расхватывают. Слепых больше любят, говорит. «А что продаешь?» — спрашиваю. Тут он мешок с брочки скидывает и кусок арматуры достаёт. «Не зря сторожем, — смеётся. — Пользу имею. Отец из этих штуквин клетки делает, а я продаю». «Какие клетки?» — спрашиваю. «Да, — говорит, — такие, что отродясь никто не придумывал. С чучелами. Ну, с птичками дохлыми. Сам в лесу отстреливает, сам и потрошит. А сверху, где прутья сходятся, бечёвку натянет и к ней снаружи по бокам листочки приделывает. Листочки из жести вырезает. Дёрнешь за верёвку — дрожать начинают, а кажется, будто птичка порхает. Прибыльное дело, — говорит. — Весёлое, главное. Продавать весело». «Что ж ты сторожем пошёл?» — спрашиваю. «Э-э, — говорит, — всемоу свой сторож нужен, каждому дому. А в моём и так двое. Отец — тот вообще за околицу не выйдет, словно заблудиться боится. Только в лес за птичками с дробовиком ходит. Нравится ему». И тут как обожгло меня, забродило перед глазами. Потом подумал: «Нет, не может быть такого. И что на птицу похож, никогда ему не говорил, а сам он и знать не знал. Откуда птице знать, на кого она похожа? Ей бы только крыльями хлопать. Да и у этого с ним сходства никакого. Печали в нём тоже нету. Хохочет, кривляется впустую, будто и лица своего богом не дадено. Не может быть такого». К аулу подъезжать стали, сердце свело. Хадзары вроде выше стали, новых полно, а мне чудится, будто меньше они и от дороги подальше. И сам я словно ни разу здесь не бывал, так только — кое-что во сне видал. А этот всё болтает рядом: «Так купишь или нет?» О чём он? — думаю, прослушал. Плечами пожал — не знаю, мол. «Решись — вон мой дом. Внукам подарок сделаешь». Поблагодарил я, слез с брочки, сказал, что не сюда мне, перепутал, в верхний аул нужно. Здесь сверну, пешком пойду. Посмеялся он, кнутом на свой хадзар указал и вперёд двинулся. Я ещё думал, что мерещится. Ноги ватные стали, на валун присел, и в горле щиплет. Долго сидел так, потом встал и туда же пошёл. Взглянуть лишь хотел. Ограда прочная была, тяжёлая, и дом добротный, крепкий. Осмотрелся, воздуха глотнул и хозяина позвал.

Вышел он, ко мне приблизился, отворил калитку (я ещё заметил, что не скрипнула, исправно там всё было), сам прямой, как труба на крыше, хоть уже за шестьдесят перевалило, и голос твёрдый, без слабинок, взглянул на меня — и не дрогнул. Я сказал ему что-то, самого колотит всего, а он брови поднял, удивился значит, потом кивнул и обратно пошёл. Вернулся и мне руки протягивает, и в них штука эта. А я стою и не пойму никак, чего хочет. И позади всё, спиной чувствую, плывёт у меня, оглянусь — на землю рухну. Но его хорошо видно, как настоящего. Только не верится, что без обмана тут, всамделишно. Женщина на пороге появилась, и тоже — будто знакомая. Смотрю я, глаза распознать пытаюсь, а у него в них усталость одна, но не обычная, а словно старая, отёкшая уже, веками копленная. И у неё не то что-то, другое, глухое совсем, заскорузлое — скука... И памяти в них нет, ни в тех, ни в этих. А я ему уже ладонь даю, а он берёт что-то и мне в ответ ту штуку суёт. Потом пошёл я назад, и мысль в голове единственная: ровнее, ровнее, смотрят ещё. Вслепую из аула выбрался, лишь щёбёнку под ногами видел. Дорога — и та чужая была. Ещё звон какой-то слышал. А по мосту шёл (бетонному теперь), на руки взглянул — обмер прямо. Листочки железные дребезжат, по прутьям стучатся, а внутри падала глаза пучит. Задрожал я, словно крысу чумную в ладонях держал, отшвырнул, как ужаленный — клетка в реку плюхнулась, почти даже брызг не было, — потом у ручья руки вымыл. Вечером больного на дороге подобрали, благо что из другого аула. В чьём-то доме пять дней пролежал и всё бредил, говорят, стонал, сирень, как живую, звал.

Он замолчал. Потом сглотнул слюну и попросил:

— Курить хочу.

Тимур принёс окуроч, зажёл спичку, постоял.

— Как же так? — спросил.

Дед прищурился, затынулся, но не ответил.

— Как же так, что брат брата не узнал?

— Сорок лет, — сказал Баба. — И памяти у них в глазах не было. Что ж удивительного.

— Несправедливо это.

Старик молчал. Тимур стиснул зубы.

— Не молчи... всю жизнь молчал, но сейчас не молчи! Прошу... Я не хочу ТАК!.. Что мне-то делать? Скажи!

Дед пожал плечами и отрицательно покачал головой.

— Рассказал — и снова спрятался? Ты ведь спрятался от нас! Всегда прятался! Скажи...

Старик молчал, прикрыв веки, крепко нахмурившись. В согнутых пальцах дымился окуроч. Тимур хотел что-то сказать, но запнулся, выдохнул сухой воздух, подбежал к двери. За ней, свесившись с крыши, тянул струи дождя. Двор залило желтоватым отблеском с промьтого неба, а под верандой уже наполнилось. Сквозь отверстие в будке была видна чёрная шерсть Никто и кусок мокрой подушки. Новая будка хранилась в сарае, и пёс спал в старой. Он сам так решил. Когда Тимур попытался переманить его в свежесколоченный дом, Никто заартачился и принялся рычать, потом взялся клыками за подстилку и потащил её обратно, в прежнюю конуру. Баба сказал тогда: «Оставь, без щенят не пойдёт. Только он кобель, потому не пойдёт никогда». Тимур послушался, но не понял. И понял сейчас, и подумал: «Тот не перестроился. Права не имел. Кто имел — не захотел. А эти двое друг друга насквозь видят. Дед и Никто». Он обернулся. Баба сидел всё в той же позе, уже уйдя, уже отстранившись, ожидая возвращения тех, для кого он даже не приходил, про которых знал всё, и теперь уже знал Тимур, и остался один, потому что этот ушёл, а те знали меньше. И по сути этот, старик, не приходил для них никогда и пришёл только дважды — к женщине, ставшей роднее всех родных, и к нему, мальчишке, старшему из тех, к кому ещё можно было прийти, кто встретил и должен был

уже подпереть раскиданный в прошлом мост и перестроиться. Пришёл в последний раз, готовясь к вечному уходу. Здесь, в прогнившем доме, с проржавленной табличкой собственной фамилии, где так и не стал хозяином, хоть прожил столько лет, да и не мог стать, ибо ни разу не забыл, что живёт под чужими буквами, под выдуманным кем-то словом, которого для других, прежних, даже не существовало, а для нынешних — в том-то и штука — оно существовало всегда, и ничего, что за ним, нынешние не знали. Но знал он, Тимур, и впустил их всех — и нынешних, и прежних, и тех, с кого началось, — впустил в себя, чтобы больше уж не выпускать, они никогда не кончатся: они не кончились даже для деда, а тот так долго прятался — в том числе и от нынешних...

Он прятался и спал в маленькой комнате за печью — кровать и сундук, — никого не зовя и не приглашая, убираясь самолично, не впуская ни матери, ни Ритки. Он прятался, но иногда Руслан говорил: «Деда, с тобой сегодня буду», — и тогда он оставлял дверь открытой.

Дед прятался и ел у себя, отдельно, в крохотной каморке, и за столом на месте старшего сидел отец. Старик прятался, и между собой они почти не говорили, а если отец и советовался, Баба ёрзал и досадливо морщился, потому что спрятаться не удалось. Он и в поле не работал, но, бывало, украдкой возился у грядки, частенько оглядываясь по сторонам, проверяя, надёжно ли спрятался. За покупки говорил спасибо, однако прятал уже ИХ и упорно продолжал ходить в галифе да светлой рубашке. Он прятался и швырнул в печь купленные ему папиросы...

Он прятался с того самого дня, с того дождя, когда смотрел на уходящего под брезентом сына, который шёл, чтобы тоже спрятаться — от мельницы, позора, от проклятья, пусть смытого, но смытого смертью — матери, родившей без любви, — и вот он шёл, а тот смотрел и знал уже, что вернётся, и думал о проданном коне и о том, чего не исправить, и вспоминал, как прятался в камнях, и тогда же (да, похоже, тогда же), глядя из окна на собственного сына, который спрятаться не мог (прохожий!), спрятался снова, но только скоро понял, что ошибся, и решил проверить, и вернулся туда, откуда спрятался сорок лет назад, и проверил, — а в глазах у тех не было памяти, — и потом уже ждал тринадцать лет, чтобы, наконец, раскрыться и — спрятаться навсегда...

Но все эти годы он продолжал прятаться, и уже прятались другие, застилая туманом взгляд или ругаясь в открытое небо, но только те, другие, раскрыться не умели и потому были уязвимей и оттого прятались хуже, так что даже чужим и несмышлёным приходилось супиться и тупить взоры...

И вот он раскрылся и теперь прятал глаза, а в покосившейся будке прятал продрогшее тело Никто, а там, наверху, пряталось убогое солнце, а где-то в городе прятались от детей и друг от друга два несчастных человека, а один их несчастный ребёнок прятал в косынке свою ненависть к отцу, а ещё один стоял здесь, у двери, и не знал, как спрятать всё, что на него навалилось, а выходило, что прятались слишком многие, пряча слишком много, и каждый — как спрятанный кусок единого странного целого, а он, внезапно познавший больше всех, не считая старого старика, прятать уже не мог и стоял у раскрытой двери перед прячущимся дождём и говорил: «Нет... Не кусок это...», и потом, когда бежал к дрянной ветхой будке: «Не кусок!.. Это больше!..», и потом, когда тащил за ошейник упирающегося пса: «Больше, говорю тебе!», и потом, когда подгонял его пинками к закоченевшей мокрой собаке (единственной, кто ни разу не спрятался): «Больше куска!.. Совсем не кусок! Его не спрячешь!..», и потом, когда дал волю заждавшимся слезам: «Оно как дождь... Как реки от него, где всё сливается!..», и потом, внезапно успокоившись, внятно сказав самому себе: «Жизнь, а не кусок. Его не спрячешь, оно как ливень и реки!.. И ни черта не одинокий прохожий!..», сказав вслух и подумав, что скажет деду.

И не только. Скажет всем...

1987 г.

Александр Егоров

После того, как стихи Александра Егорова были одобрены редколлегией, редакция, как это принято, попросила у автора сведения о себе, но получила от А. Егорова письмо с историей его жизни, творческой судьбы, которым, наверное, есть смысл предварить эту поэтическую подборку.

Родился я в год принятия Великой Сталинской конституции в Венгеровском р-не, Ново-сибирской обл., в приютившей нас латышской деревне Тимофеевке. Родословную знаю смутно. И так, как рассказала мне перед смертью мама в 48 г. Одна наша ветвь уходит к участникам Польского восстания 1863 гг., другая восходит к староверам.

Во время раскрестьянивания одного моего дядю застрелили, другого упекли на Беломор (так и стоит в ушах: мор — значит, вселенский мор!), дотла разорив, сгноили на Соловках бабушку с дедушкой и всю их многочисленную родню. Кстати, о многочисленности крестьянских семей. Так вот, в одном из моих стихотворений сказано:

Я вижу, мать моя
ползёт на четвереньках
двенадцатого брата нам рожать.

А всего нас у мамы было тринадцать, и мне в трёхлетнем возрасте пришлось быть свидетелем появления на свет моего брата...

Отцу, как бывшему красноармейцу, прошедшему всю гражданскую войну, чудом удалось вырваться из крепостной неволи. Спасло известное фарисейское «Головокружение...», но не спасло нашу родню. Больше мы ничего о ней так и не знаем, т. к. всё время переезжали с одной стройки на другую, из села в город, из города в село. Сколько себя помню — мы всё куда-то собираемся или сидим на узлах, то ли приехали, то ли надо ехать. И всегда по приезде нам попадались тёмные углы, чьи-то разорённые гнездовья, остывшие очаги.

Позже, помывавшись и насмотревшись на неприкаянность многих соотечественников, я понял, отчего мы, переезжая с отцом с места на место, всегда получали уголь, какое-никакое жильё. Люди из этих хат и квартир уходили не по своей воле. Казалось, жилищного кризиса в то время не было...

К труду мы все приучались сызмала. В 8 лет подпаском заработал первый кусок хлеба. Лошадь научился запрягать (научиться самому, да внезапно и показать это — вот где прелесть-то!) в 10 лет. А вот первый класс удалось закончить лишь с третьей попытки. Ходили в школу, как правило, только до первого снега. Школа была в соседнем селе, а одёжки совершенно не было.

Пришёл отец с фронта, и с 45 г. по 47 г. мы пожили в городе. Но в 47 г., спасаясь от голода, поехали жить на село. И хоть это был конец сентября, нас обложили налогом. Надо было сдать картошку, мясо, яйца, шерсть. Рассчитались последними деньгами, но фининспектор ещё добавил — 1500 р. И удар этот совпал с декабрьской денежной реформой. В колхозе не хватало рабочих рук, и нас, как видно, просто хотели закабалить. От налога-то не сбежишь! И тут отец пошёл на крайность. Пошёл и завербовался на Сахалин (номинально-то мы не крепостные, вот где пригодилась с в о б о д а!), получил подьёмные, продал всё с себя, с нас, рассчитался и с этим грабежом и спас нас от кабалы, но от крушения семья не спаслась. Ещё перед отъездом умер брат, по дороге сестра, а уж на Сахалине — мать и отец. Преследовал голод. У брата, как выпали молочные зубы, да так больше и не выросли.

С 12 лет я на Сахалине остался один. До армии успел поработать мотористом, электриком, лесорубом, кочегаром на пароходе. С 55 по 57 г. в качестве старшего разведчика-химика-радиометриста служил в Советской Армии (Камчатка, Приморье, Кольский полуостров). После армии — снова кочегар, электрик на море, потом — плотник, бетонщик, землекоп, моторист, монтажник, техник-замерщик, чертёжник, мастер, энергетик, механик, слесарь, библиотекарь, геодезист. Ныне — машинист насосной установки. Пишу давно и всё не в строку... Первые публикации состоялись с 88 г.— «Литва литературная», «Дальний Восток», «Литературный Владивосток». На эти публикации получил письма от читателей из Калининна, телеграммы из Еревана и Находки, тепло отозвался о моей «Яблоне» в письме Виктор Петрович Астафьев. В «Дальиздате» лежит книга — «Волчьи гоны», если всё будет так, как есть, то в 93 г. будем ждать первый блин... Первая книга —

дань памяти, последний поклон. Вторая книга — город глазами выжившего селянина, хотя выжить было на Севере не просто, да ещё подростку. География моих университетов обширна — Сахалин, Курилы, Камчатка, Чукотка, Кольский полуостров, Сибирь вдоль и поперёк, Украина, Средняя Азия. С 13 лет работаю по официальной трудовой книжке, и в этом году исполняется 41 год моей трудовой деятельности. Жизнь прожита тяжёлая, прямо можно сказать, не сладкая, но тут, как видно, сказались гены:

Кержацкий род наш знает столько бед:
Не дрогнув, на кострах себя сжигали...

В апреле заканчиваю вторую книгу стихов. Куда её девать? Отошли клюевские времена, трудно найти сочувствующих слову боли, слову тяжеловесному, не пустопорожнему. В столице паны дерутся, а у нас, знающих жизнь не по книжкам, чубы трясутся. Простите великодушно за прямоту. Всего Вам доброго.

г. Владивосток

...Глухая ночь, леплю ошибки, тороплюсь, памятью — Ваше: срочно! — чтобы отправить у-ром. Первая серьёзная публикация. Это — не шутка! Даже не верится.

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...

И. А. Бунин

Сны памяти

Поддев стожок тумана на рога,
Плывущего по голубому устью,
Льёт месяц свет на дальние стога,
На ближнюю дорогу в захолустье.

Собака лает, споря с тишиной,
Родник, как пульс,
Стучит по камню звонко.
О, память,
Что ты делаешь со мной,
Зачем ведёшь в родимую сторонку?

Мне отчего гнездовья не узнать,—
Мы родились в пути, как кукушата,
Крестила нас опричинная знать
Помоями из грязного ушата.

Крестили нас, не тратя лишних слов,
Оравой свальной, просто, без заминки,
Скотину брали за долги отцов,
Домашний скарб и дальние заимки.

Мы — вырванные с корнем из земли,
Нёс ветер нас, как перекасти-поле,
Добро бы нёс, а то, как скот, везли,
Сроднив со страхом, холодом и болью.

Не стоит всё худое вспоминать,
Ведь это сон,
А я — всего прохожий,
Мне кое-что сказать успела мать,
А остальное чувствуется кожей.

Скрип половиц и запахи сеней.
О, отчий кров мой,
Поделись скуделью...
И что ни год,
Всё явственней, сильнее,
Сны видятся мне каждую неделю.

* * *

Нас было тринадцать у матери,
Вот выжить не многим пришлось.
Четыре дороги — не скатерти —
Для нас у судьбины нашлось.

И все они были неровными,
Трагичными были подчас,
Не только шагали за дровнями,
Самих нас впрягали не раз.

Шли в райские кущи, не в тернии,
На небо не смея взглянуть,
И столько в нас было терпения,
Подумаю — больно вздохнуть.

Время

Снег замедляет кусты,
Ветер шумит в сѣснах.
Время белить холсты,
Новые ставить кросна,
Крепкие кожи мять,
Сани к зиме готовить,
Слово святое — мать
Благословенно молвить,
Новую пряжу пряхь,
Дратву сучить льняную.
Кто не успел пропасть,
Песнь запоёт иную.
Ну, а пока трудись,
Ладь и мосты, и веси,
Новая будет жизнь,
Если захочешь, если...
Родину ты любил
Не холуйскою мерой,
Предков не позабыл,
Не пошатнулся верой.

Выпь в ночи захохочет,
Зло иль благая весть?
Кто как понять захочет,
А по труду и честь!

Брату Вите

— Пожалей меня, матушка. В поле
Не гони колоски собирать,
Есть не хочется, нету и боли,
И не страшно уже умирать.

Не брани меня, матушка. Сыро,
В тёмном поле смертельный озноб,
У порога могилку мне вырой
И спихни, как невызревший сноп.

— Поднимайся,
Будь юрким волчонком,
Что за клячей идёт вдоль межи.
Брат распух, от водянки вощённый,
Третий год, а не ходит, лежит.

Может, хлебной подыдем лепёшкой,
Если горсть колосков соберёшь.
Не заводится в доме ни крошки,
А в полях наливается рожь.

Поднимайся. Даст Бог тебе силы,
Проберёшься вдоль старой межи.
Вот и ножницы я освятила,
Настриги колосящейся ржи.

Я сама бы пошла и настригла,
Истолкла б и сварила кутью,
Да боюсь,
Чтоб судьба не настигла,
Как соседку Настасью, убьют.

Вам не выжить,
Птенцам желторотым,
Если мать попадётся в силки,
Упекут в арестантские роты,
А по-новому — на Соловки.

Наш ли грех?
Нас сподобило время,
Нищета и распыл деревень,
Что не знаешь, где истины стремя
И не этот ли судный наш день?

Если выживешь, грех мой замолишь,
Будешь сыт — ничего не кради!
Перед внуками слово замолви.
Ну, иди, мой сыночек, иди...

Поэту

*И всё-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был вправдашним поэтом
и подыхаю как поэт.*

Борис Чичибабин

Во мне живёт предшественником опыт
Твоих скитаний по родной стране,
И свист кнута, и клевета, и шёпот
Листвы, скользящей по сырой стерне,
Предутренняя дрожь в колёшке сена,
Ночёвки у таёжного костра.
Но разум, просыпаясь постепенно,
Привёл к дилемме: «Жизнь — не есть сестра».
И хруст костей под сапогом конвоя
В сомнамбуле духовного покоя,
И крик младенца в каменном мешке,
Сосушего пустой мешочек кожи,

Что тайна бытия — в простом шнурке,
А он — в твоих руках, всесущий Боже!

Ирвин Шоу

Люси Краун

РОМАН

Перевёл с английского А. Герасимов

Глава первая

В тот момент во многих барах и ночных клубах города звучала песня: «Я люблю Париж весенний, я люблю Париж осенний...». Это было в июле, в два часа ночи, когда бутылка шампанского подавалась за восемь тысяч франков и певцы изо всех сил старались убедить туристов в том, что Париж стоит этих денег.

Негр с широким лицом гарлемского трудыга пел, сидя у желтоватого пианино в глубине длинной узкой комнаты. В дверях бара появилась женщина. Громкая музыка и нескромные взгляды сидящих у стойки заставили её в нерешительности остановиться у входа. Хозяин бара, угадав в превосходно одетой и трезвой посетительнице американку, улыбаясь, вышел ей навстречу.

— Добрый вечер,— произнёс он.

Хозяин говорил по-английски — бар находился в Восьмом районе, и американцы составляли значительную часть его клиентуры, особенно летом.

— Мадам одна?

— Да,— ответила женщина.

— Сядете у стойки или за столиком?

Женщина быстро оглядела стойку. Там расположились четверо мужчин разных возрастов — двое из них беззастенчиво разглядывали посетительницу — и девушка с длинными золотистыми волосами, которая говорила соседу: «Чарли, дорогой, повторяю четвёртый раз: сегодня я уйду с Джорджем».

— За столиком, если можно,— сказала женщина.

Хозяин повёл её в центр комнаты, на ходу оценивая посетительницу наметанным глазом профессионала. Он решил усадить её рядом с тремя другими американцами, двумя мужчинами и женщиной, немного шумными, но приличными людьми, которые всё время заказывали пианисту «Леди из Сент-Луиса». Поскольку женщина пришла одна, а время было позднее и американцы не владели французским, у них вполне могло возникнуть желание угостить даму.

Готов поспорить, в молодости она была недурна, подумал хозяин. И сейчас очень хороша. Натуральная блондинка с крупными нежными серыми глазами. Почти без морщинок. Умеет одеваться и преподносить себя. Длинные ноги. Обручальное кольцо, но пришла одна. Видно, муж пал жертвой *tourisme*¹ и переедания и свалился в гостинице, а жена полна энергии и жаждет подлинного Парижа, а может быть, и пикантного приключения, на которое она уже не может рассчитывать у себя дома, на американском Среднем Западе.

¹ Осмотр достопримечательностей (*фр.*). Здесь и далее примечания переводчика.

Хозяин подвинул столик для гостя, с одобрением рассматривая прямые плечи, крепкую шею и грудь, элегантное, хорошо сшитое чёрное платье, приятную, почти девичью благодарную улыбку. Он пересмотрел свою первую оценку. На вид не старше сорока трёх — сорока четырёх, подумал он. Возможно, приехала без мужа. Деловая женщина — таких немало среди американок. Вся жизнь в разъездах, перелётах, интервью, и при этом в любых обстоятельствах всегда причёсана волосок к волоску.

— Полбутылки шампанского, мадам? — спросил хозяин.

— Нет, благодарю.

Хозяину понравился тембр её голоса. У него был тонкий слух, и часто американская и английская речь резала ему ухо. Голос женщины звучал негромко, мелодично и естественно.

— Пожалуйста, только бутерброд с ветчиной и бутылку пива.

Хозяин поднял брови, изобразив на лице удивление, даже некоторое недовольство.

— Понимаете, мадам, у нас установлена минимальная плата за заказ, которая включает в себя стоимость нескольких напитков, поэтому я предложил бы...

— Нет, спасибо, — решительно отказалась женщина. — В гостинице мне сказали, что у вас можно перекусить.

— Конечно, конечно. У нас есть *specialité*¹ — луковый суп с гренками, приготовленный...

— Спасибо, мне один бутерброд.

Хозяин пожал плечами, слегка поклонился, отдал заказ официанту и вернулся на своё место за стойкой. «Неужели она пришла сюда в такой час ради бутерброда с ветчиной?» — подумал он.

В промежутках между приёмом новых посетителей и проводами уходящих он посматривал на неё. Одинокие женщины появлялись в его баре в два часа ночи не первый раз, и почти всегда он знал, что им надо. Это были алкоголички, у которых уже не осталось денег на выпивку, необузданные молодые американки, хватающие от жизни всё, что подвернётся под руку — до тех пор, пока папа не отберёт у них чековую книжку и не посадит на корабль; попадались среди них разведённые, живущие на алименты женщины, которые ежеминутно ощущали приближение старости, — эти боялись возвращаться вечером одни в свои гостиничные номера из-за соблазна самоубийства. Ночной клуб, конечно, должен бурлить разгульной жизнью, и хозяин делал всё что мог для поддержания видимости, но он-то знал цену этому веселью.

Женщина неторопливо жевала бутерброд, запивая пивом; она, конечно, не походила ни на буйную американку, ни на алкоголичку и, судя по одежде, отнюдь не перебивалась алиментами. Если она и была одинока, то не показывала это. Хозяин увидел, что американцы повернулись и, как он и предполагал, заговорили с ней; они старались перекричать музыку, но она вежливо улыбнулась и покачала головой, отказываясь от какого-то их предложения, и они оставили её в покое.

Ночь тянулась медленно, и у хозяина было время поразмышлять об этой женщине. Она слушала пение, откинувшись в кресле, а он, изучая её сквозь завесу сигаретного дыма, вспоминал двух женщин, которые, как он понимал с самого начала, были для него слишком хороши. Женщины тоже знали это и поэтому хозяин думал о них с романтической грустью и посылал последней из них, вышедшей замуж за полковника французских ВВС, цветы ко дню рождения. У неё редкое сочетание мягкости и уверенности в себе, подумал хозяин. Почему она не зашла сюда десять лет тому назад?

Затем ему пришлось выйти на кухню. Проходя мимо столика американки, хозяин улыбнулся ей; она ответила ему, и он обратил внимание на белизну её слегка неровных зубов и свежесть кожи. В дверях кухни он удивлённо покачал головой, подумав: «И как такую женщину занесло в мою дыру?» Он решил на обратном пути остановиться у её столика, угостить и попытаться выяснить это.

Вернувшись с кухни, он увидел, что двое студентов-американцев перебрались из угла комнаты к её столику; они оживлённо разговаривали, женщина улыбалась то одному, то другому. Иногда, обращаясь к более симпатичному юноше, она касалась пальцами его предплечья.

Хозяин прошёл мимо. С ней всё ясно, подумал он. Любит молодых. Ему показалось, будто его предали, осквернив воспоминания о тех двух женщинах, которые были

¹ Фирменное блюдо (фр.).

слишком хороши для него.

Вернувшись за стойку, он старался больше не смотреть на женщину. Студенты, подумал он. И один к тому же в очках. Всех коротко остриженных американцев моложе тридцати пяти хозяин считал студентами, но эти — долговязые, тощие, с руками и ногами вдвое большими, чем у любого француза, казались самыми истинными, неподдельными образчиками. Мягкая и уверенная в себе, подумал он, обманутый первым впечатлением. Чёрта с два.

На полчаса хозяин отвлёкся от своих мыслей, встречая и провожая многочисленных посетителей. Затем наступила небольшая передышка, и он снова посмотрел на женщину. Она по-прежнему сидела с молодёжью, парни болтали не умолкая, но американка уже не слушала их. Подавшись вперёд, она внимательно смотрела в направлении стойки. Сначала хозяину показалось, что она наблюдает за ним, и он чуть улыбнулся — вежливый знак симпатии. Не увидев ответа на лице женщины, он понял, что она смотрит не на него, а на человека, сидящего за стойкой.

Хозяин бросил взгляд на мужчину и подумал с лёгкой горечью: «Ну, конечно». Это был американец по фамилии Краун — молодой человек лет тридцати, с тронутыми седью волосами, высокий, но не чрезмерно, как те двое. В его крупных серых глазах с густыми чёрными ресницами застыла настороженность, а пухлые причудливо изогнутые губы выдавали безволие их обладателя, источник многих бед. Хозяин знал его, как и сотню других людей, которые заходили в бар несколько раз в неделю. Хозяин помнил, что Краун живёт неподалёку, что в Париже он уже давно и заходит выпить обычно поздней ночью, один. Пил он мало, не больше двух рюмок виски, хорошо говорил по-французски; женщины постоянно засматривались на него, но это не вызывало у Крауна излишнего самодовольства.

Хозяин подошёл к Крауну и поздоровался с ним за руку, обратив внимание на его загар.

— Добрый вечер,— сказал он.— Давненько вас не видел. Где пропадали?

— В Испании,— ответил Краун.— Я вернулся три дня назад.

— А, вот откуда такой загар,— сказал хозяин и огорчённо коснулся своей щеки.— А я совсем зелёный.

— Самый подходящий цвет для ночного клуба. Не расстраивайтесь,— серьёзно сказал Краун.— Клиенты чувствовали бы себя здесь неудобно, если бы на ваших щеках горел румянец. Они заподозрили бы что-то неладное.

Хозяин рассмеялся.

— Может, вы и правы. Позвольте вас угостить,— сказал он и махнул рукой бармену.

— В этом заведении действительно есть что-то подозрительное,— сказал Краун.— Смотрите, как бы кто-нибудь не донёс в полицию, что вы угощаете американца.

Да, сегодня он уже изрядно принял, подумал хозяин и сделал бармену знак глазами, чтобы тот приготовил что-нибудь послабее.

— Вы ездили в Испанию по делам? — спросил хозяин.

— Нет,— ответил Краун.

— За удовольствиями?

— Нет.

Хозяин заговорщически улыбнулся.

— Женщина...

Краун усмехнулся.

— Люблю беседовать с вами, Жан. Как это мудро — отделить женщину от удовольствий.— Он покачал головой.— Нет, женщина тут ни при чём. Я ездил туда потому, что не знаю испанского. Хотелось немного подзарядиться, а нигде так не зарядишься, как там, где ты не понимаешь никого и никто не понимает тебя.

— Многие туда ездят,— согласился хозяин.— Сейчас Испания всем нравится.

— Конечно,— сказал Краун, потягивая напиток.— Бедная, плохо управляемая страна с малочисленным населением. Как её не полюбить?

— Вы шутник, мистер Краун.

Краун серьёзно кивнул головой.

— Да уж,— сказал он, опустошил бокал и положил пятитысячфранковую купюру за выпитое им до того, как хозяин подошёл к нему.

— Если у меня когда-нибудь будет бар, приходите, Жан, я тоже угощу вас,— сказал он.

Пока американец ждал сдачу, хозяин оглядел комнату и увидел, что женщина,

сидящая со студентами, пристально смотрит на Крауна.

Этот не про вашу честь, злорадно подумал хозяин. Держитесь своих студентов.

Он проводил Крауна до двери и вышел на улицу глотнуть свежего воздуха. Краун постоял минуту, разглядывая здания, темнеющие на фоне звёздного неба.

— Когда я учился в колледже,— сказал он,— я думал, что Париж — город радости.

Он повернулся к хозяину и пожал ему руку на прощание.

Вдыхая прохладный воздух, хозяин смотрел вслед медленно удаляющемуся по безлюдной улице Крауну. Американец, взрывающий безмолвие спящего города гулким постукиванием своих каблучков, казался хозяину грустным, терзаемым сомнениями человеком. Странное сейчас время, подумал хозяин, глядя вслед уменьшающейся фигуре, попавшей в отсвет уличного фонаря. Плохое время для одинокого человека. Интересно, как бы выглядел сейчас Краун на улице в Америке.

Хозяин вернулся в бар и недовольно нахмурился, ощутив густоту табачного дыма. Пройдя за стойку, он увидел, что женщина встала и стремительно направилась к нему, оставив студентов в растерянности и недоумении.

— Не могли бы вы помочь мне? — сказала она.

Её голос звучал напряжённо, он словно неохотно подчинился ей, лицо казалось безжизненным и возбуждённым одновременно — ночь оставила на нём свою печать.

Я ошибся, подумал хозяин, вежливо улыбаясь. Ей уже порядком за сорок пять.

— К вашим услугам, мадам.

— Тот человек, что стоял здесь,— сказала женщина.— Вы с ним вышли...

— Да?

Хозяин посмотрел на неё настороженно, выжидательно; господи, в её-то возрасте, подумал он.

— Вы не знаете, как его зовут?

— Хм... дайте вспомнить...

Желая помучить её, хозяин сделал вид, будто вспоминает, возмущённый этим явным и непристойным преследованием, оскорбляющим память тех двух его женщин.

— Кажется, знаю,— сказал он.— Краун. Тони Краун.

Женщина закрыла глаза и схватилась за стойку, словно боялась упасть. Поражённый хозяин увидел, как она открыла глаза и лёгким нетерпеливым движением оттолкнулась от бара.

— Вам известно, где он живёт? — спросила женщина.

Её голос звучал теперь спокойно, и хозяин с удивлением почувствовал: если он скажет — нет, женщина испытает облегчение.

Он пожал плечами и назвал адрес. Учить людей правилам хорошего тона не входит в его обязанности. Он содержит бар и, значит, должен заботиться о том, чтобы клиенты оставались довольны. Если для этого нужно сообщить стареющей женщине адрес молодого человека — что ж, это их дело.

— Вот,— сказал он,— я вам запишу.

Он набросал адрес на листке и вырвал его из блокнота. Она взяла бумажку, и он заметил по вибрации листка, что руки у неё дрожат.

И тут он не смог удержаться, чтобы не сказать гадость.

— Разрешите дать вам совет, мадам,— прежде позвоните. А ещё лучше, напишите. Мистер Краун женат. На очаровательной девушке.

Женщина посмотрела на него так, словно не поверила своим ушам. Затем она рассмеялась — легко, непринуждённо, музыкально.

— Глупый вы человек,— сказала она.— Это мой сын.

Она сложила листок, внимательно посмотрев на него, и спрятала адрес в сумочку.

— Спасибо,— сказала она.— Всего хорошего. Счёт я уже оплатила.

Он поклонился и проводил её взглядом, чувствуя себя болваном.

Американцы, подумал он, самые загадочные люди на земле.

Глава вторая

Заглядывая в прошлое, мы отыскиваем тот момент, когда русло нашей жизни повернуло в сторону, момент начала необратимого движения в новом направлении. Перемена может быть следствием целенаправленных действий или случайной; мы остаёмся за спиной счастье или горе, устремляемся к новому счастью или же к ещё

большему горю, но пути назад нет. Это может быть миг, когда вы чуть-чуть повернули руль автомобиля, переглянулись с кем-то, произнесли фразу; это может быть длинный день, неделя или сезон мучительных сомнений, когда руль многократно поворачивается из стороны в сторону и незначительные в отдельности события накладываются одно на другое.

Для Люси Краун это было лето.

Оно началось, как любое другое.

По округе разносился стук молотков — дачники затягивали окна сетками от насекомых, и на воду для удобства первых купальщиков спускались плоты. В спортивном лагере, разбитом на берегу озера, пропалывали бейсбольную площадку, каноэ размещались на стойках, а на флагштоке перед столовой водружали новый позолоченный мяч. Владельцы двух гостиниц в мае заново покрасили здания — шёл 1937-й год, и даже в Вермонте казалось, что Великая депрессия осталась позади.

В конце июня, когда Крауны — Оливер, Люси и Тони, которому в то лето исполнилось тринадцать лет — выехали на дачу, арендуемую второй год подряд, они сразу погрузились в радостную атмосферу предпраздничного ожидания, царившую на озере. Радость обостряло и то обстоятельство, что Тони наконец-то выздоровел после тяжёлой болезни.

Оливер располагал до возвращения в Хартфорд только парой недель, и он посвящал большую часть времени Тони — рыбачил с ним, плывал, гулял по лесу; он пытался как можно деликатнее дать сыну возможность почувствовать себя здоровым тринадцатилетним подростком, не превышая уровень нагрузок, установленный для Тони семейным врачом Сэмом Паттерсоном.

И вот эти две недели подошли к концу. В воскресенье чемодан с вещами Оливера уже стоял на веранде коттеджа. Вокруг озера сновали автомобили — отяжелевшие после воскресного обеда мужа, жмурясь от солнца, садились в машины, чтобы вернуться в город, где они работали, — согласно американской традиции, самые длинные каникулы у тех, кто в них меньше всего нуждается.

Оливер и Паттерсон расположились в полотняных шезлонгах на лужайке под клёном, лицом к воде. В руках они держали бокалы с виски, разбавленным содовой, и время от времени покачивали их, наслаждаясь позвякиванием льдинок о стекло.

Мужчины отличались высоким ростом, их объединяли одинаковое социальное положение и уровень образования, но они заметно разнились характерами. Атлетически сложенный Оливер был быстр, точен и энергичен в движениях. Паттерсон, похоже, уделял недостаточно внимания своему физическому состоянию. Его сутулость казалась естественной, и даже когда он сидел, вас не отпускало ощущение, что ходит он слегка сторбившись. Тяжёлые ленивые веки постоянно прикрывали его глаза, из уголков которых разбегались морщинки. Брови у него были густые, нависающие, непокорные, а волосы — жёсткие, неровно постриженные, изрядно тронутые сединой. Оливер, превосходно знавший Паттерсона, сказал как-то Люси, что, вероятно, однажды Паттерсон посмотрел на себя в зеркало и трезво рассудил, что он может остаться заурядно красивым, как актёр на вторые роли, или же немного распуститьсь и смириться с интересной проседью. «Сэм — умный человек, — одобрительно говорил Оливер, — он выбрал седину».

Оливер уже оделся для города. Он был в костюме из лёгкой полосатой ткани и в голубой рубашке; его голова заросла, потому что, находясь в отпуске, он не утруждал себя хождением к парикмахеру; за время, проведённое на озере, он покрылся ровным загаром. Глядя на него, Паттерсон подумал, что сейчас, когда благотворное двухнедельное воздействие природы на организм оттеняется по-городскому деловым костюмом, Оливер особенно хорош. Ему следует отпустить бороду, лениво подумал Паттерсон, с ней он выглядел бы ещё более впечатляюще. Он похож на человека, который занят сложным, важным и даже опасным делом, этаким командир-кавалерист армии конфедератов времён гражданской войны. Если бы при такой внешности, решил Паттерсон, я всего лишь управлял типографией, доставшейся мне по наследству от отца, я испытывал бы чувство неудовлетворённости.

Возле дальнего берега озера, где пологая гранитная скала сползала в воду, виднелись крошечные фигурки Люси и Тони, покачивающихся в маленькой лодочке. Тони удил рыбу. Люси не хотела плыть с ним из-за скорого отъезда мужа, но Оливер настоял на обычном распорядке дня — не только ради сына, но и потому, что замечал в Люси склонность придавать чрезмерное значение встречам, проводам, дням рожденья и праздникам.

Паттерсону ещё предстояло зайти в гостиницу, которая находилась в двухстах метрах от коттеджа, чтобы собрать вещи и сменить вельветовые брюки и рубашку с короткими рукавами на костюм. Летний домик был тесен для гостей.

Когда Паттерсон предложил приехать на уикэнд, чтобы осмотреть Тони, избавив Люси от необходимости возвращаться для этого в Хартфорд в середине лета, Оливера тронуло такое внимание со стороны друга. Но когда Краун увидел остановившуюся в гостинице миссис Уэлс, его благодарность убавилась. Миссис Уэлс — аппетитная брюнетка со стройной фигурой и живыми глазами — прибыла из Нью-Йорка. Паттерсон не реже двух раз в месяц находил предлог посещать этот город без жены. Миссис Уэлс приехала в четверг, на день раньше Паттерсона, и собиралась прожить здесь до вторника. На людях Паттерсон и миссис Уэлс держались строго, без вольностей. Но Крауна, дружившего с Паттерсоном, записным любителем хорошеньких женщин, трудно было провести. Сдержанность не позволяла Оливеру произнести что-нибудь вслух на этот счёт, но его признательность Паттерсону за визит в неблизкий Вермонт угадала, уступив место дружескому, хотя и циничному любопытству.

Из спортивного городка, находившегося на другом берегу озера, в полумиле от коттеджа, донеслось негромкое пение горна. Потягивая напитки, мужчины слушали его, пока оно не замерло над водой.

— Как архаично звучание горна, правда? — сказал Оливер и посмотрел в сторону маленькой лодочки с женой и сыном, виднеющейся возле кромки тени, которую отбрасывала гранитная скала.

— Побудка, сбор, спуск флага, отбой...

Он покачал головой.

— А ещё называется — подготовка нового поколения к завтрашнему дню.

— Лучше бы они включали сирену, — сказал Паттерсон. — Всем в укрытие. Воздушная тревога. Отбой воздушной тревоги.

— Разве ты не оптимист? — добродушно спросил Оливер.

Паттерсон усмехнулся.

— В душе — да. Но мрачные доктора внушают больше доверия пациентам. Я не могу устоять перед соблазном.

Они посидели в тишине, вспоминая смолкнувшие звуки, мысленно рисуя картины старинных войн, менее жестоких, чем современные. Телескоп Тони лежал на траве возле Оливера, он лениво поднял его, поднёс к глазам и навёл резкость. В окуляре трубы лодка стала более крупной, отчётливой, и Оливер увидел, что Тони сматывает удочки, а Люси начинает грести к дому. На мальчике, несмотря на летнее солнце, был красный свитер. Люси загорала в купальном костюме, её шоколадная спина темнела на фоне голубовато-серого гранита. Она гребла ровно и уверенно, иногда случайно вспенивая вёслами гладь озера. Мой корабль приближается к причалу, подумал Оливер и улыбнулся тому, что маленькая лодочка породила в сознании торжественную картину прибытия океанского лайнера.

— Сэм.

Оливер не отрывал глаз от телескопа.

— У меня к тебе просьба.

— Какая?

— Я прошу тебя повторить Люси и Тони всё, что ты сказал мне.

Паттерсон, казалось, дремал. Он лежал в кресле с прикрытыми глазами, уткнув подбородок в грудь и вытянув ноги.

— И Тони тоже? — пробормотал он.

— Обязательно.

— Ты уверен, что это необходимо?

Оливер опустил телескоп и решительно кивнул головой.

— Абсолютно. Он нам полностью доверяет... пока.

— Сколько ему сейчас лет? — спросил Паттерсон.

— Тринадцать.

— Поразительно.

— Что именно?

Паттерсон усмехнулся.

— В наше-то время. Тринадцатилетний мальчик, верящий своим родителям.

— Ну, Сэм, — сказал Оливер, — теперь ты изменяешь себе ради эффектной фразы.

— Возможно, — охотно согласился Паттерсон.

Он потягивал напиток, глядя на лодку, плывущую вдаль от берега среди солнечных бликов.

— Люди всегда просят докторов сказать им правду,— произнёс он.— А когда они выслушивают её... слишком многие жалеют о своей просьбе, Оливер.

— Скажи мне, Сэм,— обратился Оливер к другу,— ты всегда говоришь правду, когда тебя просят?

— Редко. Я придерживаюсь другого принципа.

— Какого?

— Принципа щадящей целительной лжи,— пояснил Паттерсон.

— Я не верю в существование целительной лжи,— сказал Оливер.

— Ты же северянин,— улыбнулся Паттерсон.— Не забывай, я родом из Вирджинии.

— Ты не более вирджинец, чем я.

— Положим,— сказал Паттерсон,— мой отец родом из Вирджинии. Это накладывает отпечаток.

— Где бы ни родился твой отец,— сказал Оливер,— иногда ты должен говорить правду, Сэм.

— Согласен.

— В каких случаях?

— Когда, по моему мнению, люди в состоянии её вынести.

— Тони может вынести правду,— сказал Оливер,— у него хватит мужества.

Паттерсон кивнул.

— Да, это верно. Ему ведь уже тринадцать.

Он немного отпил из бокала и поднял его, разглядывая на свет.

— А как насчёт Люси? — спросил он.

— О ней не беспокойся,— уверенно сказал Оливер.

— Она того же мнения, что и ты? — поинтересовался Паттерсон.

— Нет.

Оливер сделал нетерпеливый жест.

— Её бы воля, парень дожил бы до тридцати лет, считая, что детей находят в капусте, что люди никогда не умирают, а конституция гарантирует Энтони Крауну пожизненное всеобщее обожание.

Паттерсон усмехнулся.

— Ты вот улыбаешься,— сказал Оливер.— Пока у человека не родится сын, он полагает, что должен только выкормить его и дать образование. А потом оказывается, что надо ежечасно сражаться за его бессмертную душу.

— Тебе бы завести ещё нескольких,— усмехнулся Паттерсон.— Тогда бы дискуссия шла более мирно.

— Что ж, других детей у нас нет,— спокойно сказал Оливер.— Ты поговоришь с Тони или нет?

— Почему бы тебе самому не побеседовать с ним?

— Я хочу, чтобы это прозвучало официально,— сказал Оливер.— Чтобы он услышал из авторитетных уст приговор, не смягчённый любовью.

— Не смягчённый любовью,— тихо повторил Паттерсон думая: странный человек Оливер. Я не знаю никого, кто бы так выразился — не смягчённый любовью. Приговор из авторитетных уст: «Мой мальчик, не надейся дожить до глубокой старости».

— Хорошо, Оливер. Под твою ответственность.

— Под мою ответственность,— сказал Оливер.

— Мистер Краун?

Оливер повернул голову. К лужайке со стороны дома подошёл молодой человек.

— Да? — сказал Оливер.

Юноша остановился перед мужчинами.

— Я — Джеф Баннер,— представился он.— Меня направил к вам мистер Майлз.

— Зачем?

Оливер с удивлением посмотрел на юношу.

— Он сказал, что вы ищете компаньона для вашего сына на оставшуюся часть лета. По его словам, вы сегодня уезжаете, поэтому я поспешил к вам.

— Всё правильно,— подтвердил Оливер.

Он встал и пожал руку юноши, изучая его.

Худощавый Баннер был чуть выше среднего роста. Свои густые волосы он стриг коротко; смуглая от природы кожа, почерневшая на солнце, делала его похожим на

жителя Средиземноморья. Его нежно-голубые, с фиолетовым отливом глаза казались по-детски ясными. Худое подвижное лицо с высоким бронзовым от загара лбом излучало неисчерпаемую энергию. Выцветший бумажный спортивный свитер, мятые фланелевые брюки, тенниски со следами зелени придавали ему облик интеллектуала, увлекающегося греблей. Стоя в непринуждённой позе, без тени смущения, с достоинством и уважением к собеседнику, он производил впечатление любимого, но не избалованного родителями юноши из хорошей семьи. Оливер, который всегда старался окружать себя красивыми людьми (их цветная служанка была одной из самых хорошеньких девушек Хартфорда), сразу решил, что парень ему нравится.

— Это доктор Паттерсон,— сказал Оливер.

— Здравствуйте, сэр,— произнёс Баннер.

Паттерсон вялым движением приподнял бокал.

— Извините, что не встаю. Я вообще редко поднимаюсь по воскресеньям.

— Конечно,— сказал Баннер.

— Ты хочешь проэкзаменовать молодого человека с глазу на глаз? — спросил Паттерсон.— Я, наверно, пойду.

— Нет,— отозвался Оливер.— Если, конечно, мистер Баннер не возражает.

— Пожалуйста,— сказал Баннер.— Все желающие могут послушать ахиною, которую я сейчас буду нести.

Оливер усмехнулся.

— Начало неплохое. Хотите сигарету?

Он протянул пачку Баннеру.

— Нет, спасибо.

Оливер вытащил сигарету, прикурил её и кинул пачку Паттерсону.

— Вы не из тех молодых людей, что курят трубку?

— Нет.

— Это хорошо,— сказал Оливер.— Сколько вам лет?

— Двадцать,— ответил Баннер.

— Когда я слышу число «двадцать»,— вздохнул Паттерсон,— моя рука тянется к пистолету.

Оливер посмотрел на озеро. Люси гребла, не сбавляя темпа, лодка стала заметно больше, а красный свитер Тони — ярче.

— Скажите, Баннер, вы когда-нибудь болели? — спросил Оливер.

— Простите его, молодой человек, за этот вопрос,— сказал Паттерсон.— Он сам никогда не болеет, поэтому считает всякие хвори злонамеренным проявлением постыдной слабости.

— Я не обижаюсь,— сказал Баннер.— Если бы я нанимал воспитателя для сына, я бы тоже поинтересовался здоровьем кандидата.

Он повернулся к Оливеру.

— Однажды я сломал ногу. В девять лет. Поскользнулся у второй базы.

Оливер кивнул, проникаясь ещё большей симпатией к Баннеру.

— Это всё?

— Кажется, да.

— Вы учитесь в колледже? — спросил Оливер.

— В Дартмуте. Надеюсь, у вас нет предубеждения против Дартмута.

— К Дартмуту я безразличен,— сказал Оливер.— Где находится ваш дом?

— В Бостоне,— вмешался Паттерсон.

— Откуда вам известно? — удивился Баннер.

— У меня есть уши, верно?

— Вот не знал, что так легко выдаю себя,— заметил Баннер.

— Всё в порядке,— сказал Паттерсон.— Тут нет ничего плохого. Просто вы из Бостона.

— А почему вы не поехали учиться в гарвардский университет?

— Ну, теперь ты зашёл слишком далеко,— сказал Паттерсон.

Баннер улыбнулся. Казалось, он получает от расспросов удовольствие.

— Мой отец сказал, что мне лучше побыть вдаль от дома. В моих же интересах. У меня четыре сестры, все старше меня, и отец решил, что я окружён чрезмерной любовью и заботой. По его словам, он хочет, чтобы я понял — мир не то место, где пятеро преданных женщин с ног сбиваются, чтобы угодить тебе.

— Что вы намерены делать после окончания колледжа? — спросил Оливер.

Баннер был ему симпатичен, но он хотел знать, к чему стремится парень.

— Я собираюсь поступать на дипломатическую службу,— сказал Баннер.

— Почему?

— Хочу путешествовать. Посмотреть другие страны. В шестнадцать лет зачитывался «Семью столпами мудрости».

— Сомневаюсь, что вас пошлют командовать отрядом колониальных войск,— заметил Паттерсон,— как бы высоко вы ни поднялись в госдепартаменте.

— Конечно, дело не только в этом,— сказал Баннер.— У меня есть предчувствие, что в ближайшие годы могут произойти события большой важности, и я хочу быть в самой их гуще.

Он самокритично засмеялся.

— Когда говоришь всерьёз о своих жизненных планах, трудно не показаться напыщенным ничтожеством, верно? Может, я вижу себя произносящим за столом переговоров: «Нет, Венесуэлу я не отдам»...

Оливер посмотрел на часы и решил направить беседу в более конкретное русло.

— Скажите, мистер Баннер, вы спортсмен?

— Я немного играю в теннис, плаваю, бегаю на лыжах...

— Я имею в виду, состоите ли вы в какой-нибудь команде,— уточнил Оливер.

— Нет.

— Прекрасно,— сказал Оливер.— Спортсмены так следят за собой, что доверять им других людей нельзя. А мой сын требует внимания...

— Знаю,— согласился Баннер.— Я его видел.

— Да? — удивился Оливер.— Когда это?

— Я здесь уже несколько лет,— сказал Баннер.— И я провёл на озере прошлое лето. У моей сестры домик в полумиле отсюда.

— Вы живёте сейчас у неё?

— Да.

— Зачем вам эта работа? — неожиданно спросил Оливер.

Баннер улыбнулся.

— Причина обычная. Плюс возможность постоянно находиться на воздухе.

— Вы бедны?

Баннер пожал плечами.

— Во время депрессии мой отец устоял на ногах. Но хромает до сих пор.

Оливер и Паттерсон понимающе закивали.

— Вы любите детей, мистер Баннер? — спросил Оливер.

Юноша задумался.

— Примерно так же, как большинство людей,— сказал он наконец.— Но есть несколько детей, которых я охотно замуровал бы в бетонную стену.

— Ответ честный,— сказал Оливер.— Надеюсь, Тони не вызывает у вас такого желания. Вы знаете, что с ним?

— Кажется, кто-то говорил мне, что у него ревматизм.

— Верно,— сказал Оливер.— С осложнением на глаза. Боюсь, ему долго придётся с этим считаться.

Оливер посмотрел на озеро. Люси гребла не останавливаясь; лодка приближалась к берегу.

— Из-за болезни,— сказал Оливер,— он не ходил в школу и слишком много времени проводил с матерью...

— Все проводят слишком много времени с матерями,— заметил Паттерсон.— Включая меня.

— Задача заключается в том,— продолжал Оливер,— чтобы дать ему возможность приблизиться к образу жизни здорового человека, избегая при этом чрезмерных нагрузок. Он не должен насиловать или перетруждать себя — и в то же время я не хочу, чтобы он считал себя инвалидом. Следующий год-два станут решающими. Я не хочу, чтобы он остался несчастным запуганным человеком.

— Бедный мальчик,— негромко произнес Баннер, глядя на лодку.

— Это ошибочный подход,— быстро сказал Оливер.— Жалость не нужна. Постарайтесь забыть о жалости. Это даже хорошо, что я не смогу побыть у Тони ближайшие несколько недель. И я не хочу оставлять его наедине с матерью. Я предпочитаю отдать его в грубоватые руки нормального двадцатилетнего парня. Я полагаю, вы справитесь?..

Баннер улыбнулся.

— Вам нужны рекомендации?

— У вас есть девушка? — спросил Оливер.

— Ну, Оливер... — сказал Паттерсон.

Оливер повернулся к доктору.

— Одна из самых важных вещей, которую следует знать о двадцатилетнем парне, это есть ли у него девушка. Была ли она у него или в настоящее время он на перепутье.

— Кажется, есть, — сказал Баннер.

— Она здесь? — спросил Оливер.

— Если я скажу — здесь, вы дадите мне работу?

— Нет.

— Её здесь нет, — ответил Баннер.

Оливер нагнулся, пряча улыбку, и поднял телескоп с земли.

— Вы знакомы с астрономией?

— Ну и вопросы, — проворчал Паттерсон.

— Тони хочет стать астрономом, когда вырастет, — объяснил Оливер, играя телескопом. — Было бы полезно...

— Что ж, — неуверенно произнёс Баннер, — кое-что я знаю...

— В какое время сегодня вечером, — тоном школьного учителя спросил Оливер, — можно наблюдать созвездие Орион?

Паттерсон покачал головой и выбрался из кресла.

— Слава богу, что мне не надо наниматься к тебе на работу.

Баннер улыбнулся Оливеру.

— А вы коварны, мистер Краун.

— Почему вы так считаете? — невинно спросил Оливер.

— Потому что вам известно, что Орион не виден в северном полушарии до сентября, — с живостью в голосе сказал Баннер, — вы ждали, что я попаду впросак.

— Я плачу вам тридцать долларов в неделю, — сказал Оливер. — Вы учитесь Тони плавать, ловите с ним рыбу, наблюдаете за звёздами и стараетесь, чтобы он как можно меньше слушал дурацкие сериалы по радио.

Оливер, поколебавшись мгновение, продолжил тихим и серьёзным голосом:

— Вы также должны деликатно отвоевать в некотором смысле Тони у матери, поскольку его привязанность к ней в настоящее время...

Он замолк, испугавшись, как бы его слова не прозвучали слишком резко.

— Я хочу сказать, что им обоим пойдёт на пользу, если их зависимость друг от друга ослабнет. Вы согласны работать?

— Да.

— Хорошо, — сказал Оливер, — можете начинать с завтрашнего дня.

Паттерсон вздохнул с ироническим облегчением.

— Я выдохся, — произнёс он и снова плюхнулся в кресло.

— Знаете, я уже отказал трём претендентам, — сказал Оливер.

— Я слышал, — признался Баннер.

— В наше время молодые люди либо вульгарны, либо циничны, либо то и другое вместе, — сказал Оливер.

— Вам следовало поискать студента из Дартмута, — сказал Баннер.

— Кажется, один из них учился в Дартмуте.

— Значит, он попал туда за спортивные достижения.

— Наверно, я должен предупредить вас об одной неприятной черте в характере Тони, — сказал Оливер. — Похоже, мы уже можем говорить о характере тринадцатилетнего мальчика. Во время болезни он проводил много времени в постели, и у него развилась склонность к фантазированию. К хвастовству, обману, вранью. Ничего серьёзного, — сказал Оливер, и Паттерсон почувствовал, как трудно было Оливеру сделать такое признание о своём сыне, — мы с женой не придавали этому значения, учитывая обстоятельства. Тем не менее я говорил с ним, и он обещал обуздать своё воображение. Не удивляйтесь, если эта особенность проявится снова; мне бы хотелось, чтобы вы помогли ему избавиться от неё, прежде чем она укоренится.

Слушая, Паттерсон внезапно с болью проник в душу Оливера. Он разочарован, подумал Паттерсон, он сознаёт некоторую незаполненность своей жизни, если вкладывает столько сил в сына. Затем Паттерсон отверг свою гипотезу. Нет, подумал он, просто Оливер привык распоряжаться. Он предпочитает контролировать поступки людей, не давая им действовать самостоятельно. Он управляет своим сыном по привычке, автоматически.

— Да,— сказал Оливер.— Ещё кое-что... секс.

Паттерсон предостерегающе замахал рукой.

— Послушай, Оливер, теперь ты забрался чересчур далеко.

— У Тони нет братьев и сестёр,— пояснил Оливер,— и, как я уже говорил, по вполне понятным причинам его слишком от всего оберегали. До сих пор мы с женой не посвящали его в некоторые вопросы. Если всё будет в порядке, этой осенью он вернётся в школу; я предпочёл бы, чтобы в вопросы секса сына посвятил умный молодой человек, готовящийся к дипломатической карьере, а не какие-нибудь тринадцатилетние развратники из престижной частной школы.

Баннер в смущении коснулся рукой носа.

— С чего я должен начать?

— А с чего начинали вы? — спросил Оливер.

— Боюсь, мне пришлось начинать позже. Не забывайте, у меня четыре старшие сестры.

— Действуйте благоразумно,— сказал Оливер.— Я хотел бы, чтобы через шесть недель Тони познакомился с теорией, не испытывая страстного желания немедленно перейти к практике.

— Я приложу максимум усилий, чтобы дать ясное представление о предмете,— сказал Баннер,— не пробуждая к нему излишнего интереса. Всё на серьёзном научном языке. Ни одного слова короче трёх слогов. Постараюсь пригасить гедонистический аспект.

— Вот именно,— сказал Оливер и посмотрел на воду. Лодка уже двигалась неподалёку от берега; Тони, стоя у кормы, махал отцу рукой из-за плеча матери, его дымчатые очки сверкали солнечными зайчиками. Оливер помахал рукой в ответ. Глядя на сына и жену, Оливер сказал Баннеру:

— Возможно, вам покажется, что меня слегка заклонило на сыне. Я с ужасом смотрю, как сейчас многие воспитывают детей. Им либо предоставляют слишком большую свободу, и они вырастают дикими животными, либо всячески подавляют их, отчего дети затаивают в душе злобу, жажду мщения и убегают из родительского дома тотчас, как становятся способны прокормить себя. Главное — я не хочу, чтобы он вырос запуганным.

— А как насчёт тебя, Оливер? — с любопытством спросил Паттерсон.— Ты сам ничего не боишься?

— Ужасно боюсь,— признался Оливер.— Привет, Тони! — крикнул он сыну, направляясь к причалу, чтобы помочь пришвартовать лодку.

Паттерсон, поднявшись, вместе с Баннером смотрел, как Люси двумя последними сильными гребками подогнала лодку к дощатому настилу. Оливер придержал нос лодки, Люси, забрав блузу и книгу, сошла на берег. Тони с трудом удержал равновесие, а затем спрыгнул на мелководье, отвергнув помощь.

— Святое семейство,— пробормотал Паттерсон.

— Что вы сказали, сэр? — спросил Баннер с недоумением в голосе.

— Ничего,— сказал Паттерсон.— Он знает, чего хочет, правда?

Баннер усмехнулся.

— Это точно.

— Вы считаете, отец в состоянии воспитать сына таким, каким ему хочется его видеть? — спросил Паттерсон.

Баннер посмотрел на доктора, ожидая подвоха.

— Я об этом не думал,— осторожно сказал он.

— Ваш отец получил то, что он ждал от сына?

Баннер еле заметно улыбнулся.

— Нет.

Паттерсон кивнул.

Они смотрели на Оливера, приближающегося в окружении жены и Тони, который нёс свои удочки. Люси надевала свободную белую блузу поверх купального костюма. На верхней губе Люси и на лбу искрились капельки пота, её босоножки бесшумно скользили по низкой траве. Они зашли в тень деревьев, а когда вышли из неё, длинные обнажённые ноги Люси вспыхнули золотистым светом. Она держалась очень прямо, не вихляя бёдрами, как бы стараясь скрыть свою женственность. В одном месте она остановилась и, опираясь рукой о плечо мужа, приподняла ногу, чтобы выбросить гальку — на мгновение группа застыла под косыми солнечными лучами, пробивающимися через листву.

Паттерсон и Баннер услышали голос Тони.

— В этом озере всю рыбу уже выудили,— произнёс он чистым, по-детски высоким альтом. Хотя Тони был высок ростом, он показался Баннеру хрупким и физически неразвитым, а голова его — непропорционально большой.

— Тут слишком близко до цивилизации. Нам бы поехать в северные леса. Правда, там москиты и лоси. С лосями лучше не встречаться. Берт говорит, там иногда приходится нести каноэ на голове, иначе рыбы разнесут вёсла.

— Тони,— серьёзно сказал Оливер,— ты знаешь, что такое щепотка соли?

— Ну конечно,— ответил мальчик.

— Вот что тебе нужно припасти для Берта.

— Ты хочешь сказать, он заливаает? — спросил Тони.

— Не совсем так,— ответил Оливер.— Просто его рассказы надо немного под-саливать, как арахис.

— Я ему скажу это,— обещал Тони.— Как арахис.

Они остановились перед Паттерсоном и Баннером.

— Мистер Баннер,— сказал Оливер,— это моя жена. А это Тони.

— Здравствуйте,— сказала Люси.

Она кивнула головой и застегнула верхние пуговицы блузки.

Тони подошёл к Баннеру и вежливо протянул руку.

— Привет, Тони,— сказал Баннер.

— Привет,— ответил Тони.— Ну и мозоли у тебя.

— Это от теннисной ракетки.

— Пospорим, через четыре недели я у тебя выиграю? — сказал Тони.— Ну через пять.

— Тони...— осуждающе произнесла Люси.

— Это тоже хвастовство?

Тони посмотрел на мать.

— Да,— сказала она.

Тони пожал плечами и повернулся к Баннеру.

— Мне запрещают хвалиться,— пояснил он.— У меня сильный правый удар, а вот слева не идёт. Я это от тебя не скрываю,— честно сказал он,— всё равно после первой же игры это станет ясно. Я видел однажды, как играет Элсуорт Вайнс.

— Какое впечатление он на тебя произвёл?

Тони скорчил гримасу.

— Его переоценивают,— небрежным тоном сказал Тони.— Только потому, что он из Калифорнии, где можно играть на открытом воздухе круглый год... Ты купался?

— Да,— удивлённо сказал Баннер.— Откуда тебе известно?

— Ты пахнешь озером.

— Это один из его коронных номеров,— сказал Оливер, взъерошив рукой волосы сына.— Когда он болел, ему завязывали глаза, и у него развился нюх, как у ищейки.

— А ещё я умею плавать. Как рыба,— сказал Тони.

— Тони...— снова одёрнула сына Люси.

Пристыжённый мальчик улыбнулся.

— Но меня хватает только на десяток взмахов. Больше не могу. Дыхалка сдаёт.

— Мы этим займёмся,— обещал Баннер.— Надо научиться правильно дышать.

— Я постараюсь,— сказал Тони.

— Джеф тебя научит. Он проведёт с тобой остаток лета.

Люси бросила взгляд на мужа, потом опустила глаза. Тони тоже внимательно и насторожённо посмотрел на отца, вспомнив медицинских сестёр, диету, боли, постельный режим.

— О,— сказал Тони.— Он будет ухаживать за мной?

— Нет,— ответил Оливер.— Просто Джеф научит тебя кое-чему полезному.

Тони испытующе поглядел на отца, пытаясь понять, не обманывает ли тот его. Потом он повернулся и молча посмотрел на Баннера, словно теперь, когда их отношения определены, необходимо немедленно произвести оценку.

— Джеф,— произнёс наконец Тони,— ты хороший рыбак?

— Когда рыбы видят меня,— сказал Баннер,— они начинают давиться от смеха.

Паттерсон посмотрел на часы.

— Я думаю, нам пора, Оливер. Мне надо оплатить счёт, побросать вещи в чемодан, и я готов.

— Ты говоришь, что хочешь что-то сказать Тони,— напомнил Оливер.

Люси перевела насторожённый взгляд с Оливера на Паттерсона.

— Да,— сказал Паттерсон.

Теперь, когда пришло время исполнять обещанное, он пожалел, что поддался на уговоры Оливера.

— И всё же,— продолжал он, сознавая свою трусость,— может быть, отложим до следующего раза?

— Я считаю, сейчас самое подходящее время,— спокойно сказал Оливер.— Ты увидишь Тони не раньше чем через месяц, а он в конце концов отвечает за себя прежде всего сам, и я уверен, ему следует знать, чего остерегаться и почему...

— Оливер...— начала Люси.

— Мы с Сэмом уже всё обсудили,— сказал Оливер, касаясь её руки.

— Что я должен делать? — насторожённо спросил Тони.

— Ничего, Тони,— сказал Паттерсон.— Просто я хочу рассказать тебе, как обстоят твои дела.

— Я клёво себя чувствую.

Голос Тони прозвучал подавленно, его грустные глаза смотрели в землю.

— Конечно,— согласился Паттерсон.— А будешь чувствовать ещё лучше.

— Я клёво себя чувствую,— упрямо повторил Тони.— Почему мне должно стать ещё лучше?

Паттерсон и Оливер засмеялись, и мгновение спустя Баннер присоединился к ним.

— *Хорошо*,— поправила сына Люси.— А не клёво.

— Хорошо,— послушно согласился Тони.

— Конечно, ты здоров,— начал Паттерсон.

— Я не хочу ничего бросать,— воинственно произнёс Тони.— Я и так уже от многого отказался.

— Тони,— сказал Оливер,— дай доктору Паттерсону закончить.

— Я слушаю, сэр,— сказал Тони.

— Я прошу тебя,— сказал Паттерсон,— некоторое время воздержаться от чтения, кроме этого, можешь делать всё, что тебе хочется,— но умеренно. Тебе известно, что такое умеренность?

— Это значит не просить второй порции мороженого,— быстро ответил Тони.

Все засмеялись, и Тони хитро посмóтрел на взрослых, он знал, как их рассмешить.

— Совершенно верно,— сказал Паттерсон.— Можешь играть в теннис, плавать и...

— Я хочу научиться играть у второй базы,— сказал Тони.— И освоить кручёный удар.

— Мы можем попробовать,— сказал Баннер,— но я не гарантирую успеха. Я сам пока не овладел кручёным ударом, хотя гораздо старше тебя. Ты либо рождён бить кручёный, либо нет.

— Ты можешь всё это делать,— продолжал Паттерсон, отметив про себя, что Баннер — пессимист,— при одном условии: как только ты почувствуешь усталость, ты останавливаешься. Малейшая перегрузка...

— А если я не остановлюсь? — перебил его мальчик.— Что тогда?

Паттерсон вопросительно посмотрел на Оливера.

— Продолжай, говори,— сказал отец Тони.

Паттерсон повернулся к мальчику.

— Тогда ты рискуешь снова надолго лечь в постель. Этого ведь тебе не хочется?

— Вы думаете, что я могу умереть,— сказал Тони, пропустив вопрос мимо ушей.

— Тони! — сказала Люси.— Этого доктор Паттерсон не говорил.

Тони неприязненно посмотрел на врача, и Паттерсону на мгновение показалось, что мальчик видит в окружающих его взрослых не родителей и друзей, а сообщников болезни.

— Не беспокойтесь,— сказал Тони. Он улыбнулся, и враждебность его исчезла.— Я не умру.

— Конечно, нет,— сказал Паттерсон, злясь на Оливера, втянувшего его в эту сцену. Он шагнул к Тони и чуть наклонился к нему.

— Тони,— сказал Паттерсон,— я тебя поздравляю.

— С чем? — насторожённо спросил Тони, боясь насмешки.

— Ты — идеальный пациент,— заявил доктор.— Ты поправился. Спасибо тебе.

— Когда я смогу их выбросить? — спросил Тони.

Он резко поднял руки и снял очки. В его неожиданно повзрослевшем голосе зазвучало

чала горечь. Без очков его глаза казались запавшими, близорукими, полными грусти и укора; видеть их на худом мальчишеском лице было больно.

— Наверно, через год или два,— сказал Паттерсон.— Если будешь ежедневно делать упражнения. Час утром, час вечером. Запомнил?

— Да, сэр,— ответил Тони.

Надев очки, он снова стал подростком.

— Мама знает все упражнения,— сказал Паттерсон,— она обещала ничего не упустить.

— Вы можете показать их мне, доктор,— сказал Баннер.— Тогда мы освободим миссис Краун.

— В этом нет необходимости,— вмешалась Люси.— Я справлюсь.

— Конечно,— сказал Джеф.— Как вам будет удобнее.

Тони повернулся к отцу.

— Папа, тебе надо ехать домой?

— К сожалению, да,— ответил Оливер.— Но я постараюсь выбраться сюда на выходные до конца месяца.

— Твой отец должен вернуться в город, на работу,— сказал Паттерсон,— чтобы быть в состоянии оплачивать мои визиты, Тони.

Оливер улыбнулся.

— Я думаю, эту шутку ты мог оставить мне, Сэм.

— Извини.

Паттерсон повернулся и поцеловал Люси в щёку.

— Ты просто цветёшь,— восхищенно сказал он,— как дикая роза.

— Я иду мимо гостиницы,— сказал Баннер.— Вы позволите составить вам компанию, доктор?

— Сделайте одолжение,— ответил Паттерсон.— Вы расскажете мне, как здорово быть двадцатилетним.

— Пока, Тони,— попрощался Баннер.— В какое время мне прийти завтра? В девять?

— В половине одиннадцатого,— ответила Люси.— Раньше не надо.

Баннер взглянул на Оливера.

— Значит, в десять тридцать,— сказал Джеф.

Они с Паттерсоном направились по тропинке к гостинице — рослый, крупный, медлительный человек и подвижный загорелый юноша в испачканных зелёной парусиновых тапочках. Люси и Оливер посмотрели им вслед.

Этот парень слишком уверен в себе, подумала Люси, глядя на стройную удаляющуюся фигуру. Пришёл наниматься на работу в бумажном спортивном свитере. В какое-то мгновение она решила поделиться с Оливером своими сомнениями насчёт Баннера. («По крайней мере он мог поговорить с ним в моём присутствии.») Но потом она решила промолчать. Дело сделано, и Люси слишком хорошо знала мужа, чтобы пытаться переубедить его. Ей придётся самой заняться этим молодым человеком.

Она поёжилась и провела рукой по обнажённым бёдрам.

— Я замёрзла,— сказала Люси.— Ты всё собрал, Оливер?

— Почти всё,— ответил он.— Осталось прихватить пару вещей. Я зайду с тобой в коттедж.

— Тони,— сказала Люси,— ты бы надел брюки и ботинки.

— Да ну, мама...

— Тони,— строго повторила она, подумав: «А Оливера он слушается».

— Ладно,— сказал Тони и, с наслаждением ступая босыми ногами по прохладной густой траве, направился к дому.

Глава третья

Оставшись в комнате наедине с Люси, Оливер завершил сборы. Он всё делал спокойно, методично и быстро, но чемодан всегда закрывался у него легко. Люси, которая вечно многократно перекаладывала вещи, затрачивая массу лишних усилий, казалась, что Оливер от природы наделён чувством порядка. Пока Оливер собирался, Люси скинула блузу и купальный костюм и стала разглядывать своё нагое тело в большом зеркале. Старею, подумала она, глядя на своё отражение. На бёдрах появились отметины времени. Надо больше двигаться. Больше спать. И не думать об этом. Тридцать пять...

Она начала причёсываться. Люси отпустила волосы чуть ниже плеч, потому что так нравилось Оливеру. Сама она предпочла бы стричь их короче, особенно летом.

— Оливер,— сказала Люси, расчёсывая волосы и наблюдая в зеркале, как муж быстрыми и точными движениями укладывал в чемодан, лежащий на кровати, пакет с документами, шлёпанцы, свитер.

— Да?

Оливер решительно затянул ремень на чемодане, словно подпрыгну на коне.

— Ужасно не хочется отпустить тебя домой.

Оливер подошёл сзади к Люси и обнял её. Она почувствовала прикосновение рук мужа, жёсткую ткань его костюма и с трудом преодолела внезапное раздражение. Он относится ко мне как к собственности, подумал Люси, как он смеет...

Оливер поцеловал её в шею, ниже уха.

— У тебя восхитительный живот,— сказал он, лаская её.

Она повернулась в его объятиях и вцепилась пальцами в пиджак.

— Остаься ещё на неделю,— попросила она.

— Ты слышала, что сказал Сэм насчёт своих гонораров,— ответил Оливер, нежно поглаживая её плечи,— он ведь не шутил.

— Но все эти рабочие...

— Все эти рабочие начинают без меня бить баклуши с двух часов дня,— добродушно заметил Оливер.— Ты чудесно загорела.

— Не хочу оставаться одна,— сказала Люси.— Меня нельзя бросать одну. Я слишком глупа, чтобы легко переносить одиночество.

Оливер засмеялся и прижал её к себе ещё крепче.

— Ты вовсе не глупа.

— Нет, глупа,— возразила Люси.— Ты меня не знаешь. Когда я одна, мои мозги размягчаются. Ненавижу лето,— сказала она.— Летом я чувствую себя изгнанницей.

— Обожаю оттенок, который приобретает летом твоя кожа,— сказал Оливер. Легкомысленное отношение мужа задело Люси.

— Изгнанница,— упрямо повторила она.— Лето — моя Эльба.

Оливер снова засмеялся.

— Видишь,— сказал он,— ты совсем не глупая. Глупой женщине такое сравнение в голову бы не пришло.

— Я начитанная,— возразила Люси,— но глупая. Мне будет одиноко.

— Послушай, Люси...

Оливер отпустил жену и начал ходить по комнате, выдвигая ящики, чтобы убедиться, что ничего не забыл.

— На озере сотни людей.

— Сотни несчастных женщин,— сказала Люси,— которых ненавидят собственные мужья. Посмотри на них, когда они сидят все вместе на гостиничной веранде, и ты увидишь призраки их мужей, обезумевших в городе от радости.

— Я обещаю,— сказал Оливер,— не потерять в городе голову от радости.

— Или ты хочешь, чтобы я любезничала с миссис Уэлс,— продолжала Люси,— просвещаясь при этом и собирая информацию, которой можно позабавить гостей, когда Паттерсоны следующей зимой придут к нам играть в бридж?

Оливер смутился.

— А,— беспечно сказал он,— на твоём месте я бы не принимал это близко к сердцу. Просто Сэм...

— Я хотела дать тебе понять, что мне кое-что известно,— сказала Люси, подсознательно стремясь поставить мужа в неловкое положение.— И мне это не нравится. Можешь передать мои слова Сэму по дороге в город, раз уж сегодня день откровенности.

— Хорошо,— обещал Оливер.— Я скажу. Если ты хочешь.

Люси начала одеваться.

— Поехать бы сейчас в город вместе с тобой,— сказала она.— Прямо сейчас.

Оливер открыл дверь ванной и заглянул туда.

— А как же Тони?

— Возьмём его с собой.

— Но ему здесь так хорошо.

Оливер вернулся в комнату, удовлетворённый тем, что ничего не забыл. Он никогда ничего не оставлял, но всё равно совершал этот заключительный осмотр.

— Озеро. Солнце.

— Я уже слышала про озеро и солнце,— сказала Люси.

Она наклонилась и надела мокасины, приятно холодившие босые ступни.

— И всё же, по-моему, общение с обоими родителями ему нужнее.

— Дорогая,— мягко попросил Оливер,— сделай мне одолжение.

— Какое?

— Не настаивай.

Люси накинула кофточку с пуговицами на спине и подошла к Оливеру, чтобы он застегнул их. Начав с нижней, он сделал это автоматически, быстро и ловко.

— Мне грустно представлять, как ты расхаживаешь один по пустому дому. Без меня ты вечно перерабатываешь.

— Я обещаю не переутомляться,— сказал Оливер.— И вот что... Потерпи неделю. Погляди, как ты будешь себя чувствовать. Как пойдут дела с Тони. Если твоё желание вернуться домой сохранится...

— Что тогда?

— Там посмотрим,— сказал Оливер.

Он расправился с пуговицами и ласково похлопал жену ниже талии.

— Посмотрим,— повторила Люси.— Каждый раз, когда ты так говоришь, это означает отказ. Я тебя знаю.

Оливер рассмеялся и поцеловал её в макушку.

— На этот раз действительно посмотрим.

Люси отстранилась от мужа и подошла к зеркалу, чтобы накрасить губы.

— Почему,— сухо спросила она,— мы всегда делаем то, что хочешь ты?

— Потому что я старомодный муж и отец,— сказал Оливер, удивляясь собственным словам.

Люси ярко наредила губы — она знала, что Оливеру это не нравится, и хотела наказать мужа, пусть даже таким невинным способом, за пренебрежение к ней.

— Что, если в один прекрасный день я захочу стать современной женой?

— Ты не захочешь,— ответил Оливер.

Он зажёл сигарету и, заметив покрашенный рот, слегка наморщил лоб так, как он делал, когда его что-то раздражало.

— Не захочешь,— повторил он шутливым тоном.— Не зря же я женился на тебе так рано. Пока твой характер ещё не затвердел.

— Не делай из меня ручного зверька. Это оскорбительно,— сказала Люси.

— Я клянусь,— с иронической серьёзностью произнёс Оливер,— что считаю тебя крайне своеобразной женщиной. Это тебе приятнее?

— Нет,— сказала Люси.

Она размазала мизинцем помаду на губах, придав им кричащий вид. Оливер никогда не делал жене замечаний в такие моменты, но Люси знала, что ему неприятно видеть её стоящей перед зеркалом с тщеславно, самодовольно выпяченными губами, поэтому она преднамеренно не спешила.

— Мы знаем многие современные семьи,— сказал Оливер и отвернулся, якобы в поисках пепельницы, чтобы не видеть Люси,— где решения принимаются совместно. Стоит мне увидеть женщину с недовольным выражением лица, я тотчас понимаю — её муж позволяет ей самой принимать решения.

— Не будь я твоей женой,— сказала Люси,— я бы тебя возненавидела.

— Вспомни знакомые нам семьи,— настаивал Оливер.— Разве я не прав?

— Ты прав,— признала Люси.— Всегда прав.

Она повернулась и шутливо поклонилась ему.

— Склоняю перед тобой голову — ты всегда прав.

Оливер засмеялся, и Люси тоже пришлось засмеяться.

— Забавно,— сказал Оливер, снова приближаясь к жене.

— Что?

— Как ты смеёшься. Даже когда ты была молодой девушкой. Словно у тебя здесь,— он коснулся её горла,— сидит другая женщина и смеётся за тебя.

— Другая женщина,— повторила Люси.— Как она выглядит?

— У неё хриплый голос,— произнёс Оливер,— вызывающая походка и огненно-рыжие волосы.

— Может, мне лучше вовсе не смеяться?

— Ни в коем случае,— запротестовал Оливер,— я люблю твой смех.

— Я ждала этого слова.

— Люблю?

— Да. Я давно его не слышала.

Люси схватила мужа за отвороты пиджака и тихонько притянула к себе.

— Нынешним писателям и в голову не придёт употребить его,— серьёзно сказал Оливер.

— Продолжай.

— Продолжать что?

— Употреблять его. Никто не услышит.

— Мама... папа,— закричал Тони из гостиной.— Я готов. А вы?

— Минутку, Тони,— сказал Оливер, пытаясь освободиться.— Мы сейчас.

— Ах, Оливер,— пробормотала Люси, не отпуская мужа.— Это так ужасно.

— Что ужасно?

— Я так от тебя зависима.

— Папа...— вежливо позвал Тони из-за закрытой двери.

— Да, Тони?

— Я пойду к гостинице и буду ждать тебя. Я хочу проехать с тобой до ворот.

— Хорошо, Тони. Скажи доктору Паттерсону, что я приду через пять минут.

— Лады,— отозвался Тони.

Оливер нахмурился.

— И где он этого набрался? — прошептал он.

Люси пожалала плечами. На рукаве пиджака Оливера осталось пятнышко от губной помады с пальца Люси, но она, чувствуя себя виноватой, решила не говорить ему об этом. Они услышали, как Тони вышел из дома; в окно было видно, как мальчик удаляется от коттеджа по гравийной дорожке.

— Ну...— Оливер ещё раз оглядел комнату.— Теперь пора.

Он взял два чемодана.

— Открой, пожалуйста, дверь, Люси,— попросил он.

Люси распахнула дверь, и они прошли через гостиную на веранду. В гостиной, компенсируя убожество арендованной мебели, благоухали расставленные в изобилии цветы, их аромат смешивался со свежим запахом озера.

На веранде Люси остановилась.

— Я бы что-нибудь выпила,— сказала она.

Люси вовсе не хотелось пить, но эта уловка позволяла отложить отъезд Оливера ещё на десять минут. Она знала, что Оливер догадывается и сердится на неё за задержку или, в лучшем случае, раздражённо удивляется её склонности к многословным проводам, но она боялась момента, когда автомобиль исчезнет из виду и она останется одна.

— Хорошо,— согласился Оливер поколебавшись и поставил чемоданы. Сам он предпочитал уезжать быстро, решительно, без лишних слов. Он стоял и смотрел на озеро, а Люси подошла к столу у стены и, плеснув в бокалы немного виски, разбавила его охлаждённой водой.

Ястреб сорвался с прибрежного дерева и, распластав крылья, медленно закружил над водой, с дальнего берега от спортивного лагеря донёсся звук горна, несущий в себе азарт ружейной стрельбы, радость победы и горечь поражения; здесь он служил всего лишь сигналом к началу игры или купания. Ястреб безмятежно скользил навстречу ветру в ожидании малоприметных признаков вроде колыхания травы или покачивания ветки, которые выдадут появление его ужина.

— Оливер,— Люси подходила к мужу с бокалами в руках.

— Да?

— Сколько ты собираешься платить этому мальчишке? Баннеру?

Оливер тряхнул головой, прогоняя смутные образы, навеянные птицей, пением горна и неизбежностью отъезда.

— Тридцать долларов в неделю,— ответил он, взяв бокал.

— Не много ли?

— Нет.

— А мы можем это себе позволить? — спросила Люси.

— Нет,— сказал Оливер, раздражённый её вопросом.

Люси обычно относилась к деньгам легкомысленно и была подвержена, по мнению мужа, порывам безрассудного расточительства, но не из-за жадности или стремления к роскоши, а вследствие слабого представления о цене денег и о том, как они достаются. Но когда она была настроена против чего-то, а Оливер знал, что Люси недовольна тем, что он нанял Баннера, она неожиданно становилась бережливой.

— Ты действительно считаешь, что он нам необходим? — спросила Люси, стоя рядом с мужем и наблюдая за ястребом, парящим над гладью.

— Да,— ответил Оливер.

Он с торжественностью поднял бокал.

— За маленького мальчика с телескопом.

Люси рассеянно подняла бокал и немного отпила.

— Зачем?

— Что зачем?

— Зачем он нужен?

Оливер ласково коснулся её руки.

— Чтобы дать тебе возможность пожить в своё удовольствие.

— Мне нравится отдыхать с Тони.

— Знаю,— согласился Оливер.— Но всё же, по-моему, провести несколько недель в обществе развитого, живого юноши, который будет обращаться с Тони по-мужски...

— Ты считаешь, я его изнежила,— сказала Люси.

— Вовсе нет. Просто...

Оливер пытался найти самые корректные, необходимые аргументы.

— Дети, особенно те, кто перенёс тяжёлую болезнь и постоянно находился при матери... вырастая, часто становятся балетными танцорами.

Люси засмеялась.

— Что за ерунда!

— Ты меня поняла,— сказал Оливер, с досадой ощущая, что говорит как зануда.— Не думай, что это пустяк. Почитай любой труд по психоанализу.

— Мне не нужно ничего читать,— сказала Люси,— чтобы правильно воспитать сына.

— Это подсказывает здравый смысл,— настаивал Оливер.

— Кажется, ты считаешь, что я всё делаю неверно,— с горечью заметила Люси.— Признайся...

— Послушай, Люси,— примирительно произнёс Оливер,— ничего подобного я не говорил. Просто я вижу иные проблемы, чем ты, и хочу подготовить Тони к трудностям, которых ты не замечаешь.

— К каким именно? — упрямо спросила Люси.

— Мы живём в век хаоса,— Оливер сознавал помпезность и выпренность своих слов, но не находил других.— Нестабильное, грозное время. Надо быть титаном, чтобы устоять.

— И ты хочешь сделать титана из несчастного маленького Тони,— саркастически заметила Люси.

— Да,— защищаясь, сказал Оливер.— Не называй его несчастным и маленьким. Всего через какие-то восемь-девять лет ему предстоит стать мужчиной.

— Мужчина — это одно,— сказала Люси,— титан — совсем другое.

— Сей час — нет,— возразил Оливер.

Он чувствовал, что сердится, и сознательно сдерживал себя, потому что не хотел ссориться перед отъездом. Он заставил себя говорить спокойно.

— Прежде всего Баннер — это не какой-нибудь зазнавшийся студентик. Он умён, выдержан, обладает чувством юмора...

— А я, конечно, скучна, скованна и неинтересна.

Она сделала несколько шагов в сторону от мужа.

— Послушай, Люси,— Оливер направился вслед за женой.— Я этого вовсе не говорил.

Люси остановилась и рассерженно посмотрела на него.

— Тебе и не надо это говорить,— сказала она.— Мне удаётся не думать об этом несколько месяцев, затем ты что-нибудь скажешь... или я встречаю женщину моего возраста, которая счастливо избежала...

— Ради бога, Люси,— раздражение Оливера пересиливало желание уйти от конфликта,— не возвращайся к этой старой песне.

— Пожалуйста, Оливер.

Внезапно она перешла на молящий тон.

— Оставь меня вдвоём с Тони. Это ведь только шесть недель. Я согласилась на школу — уступи мне сейчас. Он уедет надолго к этим маленьким грубиянам... Не представляю, как я с ним расстанусь. После всего пережитого нами. Даже теперь, зная, что он отправится к гостинице, чтобы проехать с тобой до ворот, я едва сдерживаю желание побежать и убедиться, что с ним всё в порядке.

— Именно об этом я и говорю, Люси,— сказал Оливер.

Люси зло посмотрела на мужа. Она поставила бокал на траву и насмешливо опустила голову.

— Склоняю перед тобой голову,— сказала она,— ты прав. Как всегда.

Быстрым движением руки Оливер взял Люси за подбородок и поднял его. Люси не сопротивлялась. Она стояла, хитровато улыбаясь, и смотрела на мужа.

— Не делай так больше, Люси,— попросил Оливер.— Я серьёзно.

Люси освободилась, дёрнула головой, и зашла в дом; дверь негромко хлопнула за ней. Оливер посмотрел вслед жене, допил виски, подхватил чемоданы и направился за угол дома, где под деревом стоял автомобиль. Он погрузил чемоданы в багажник и пробормотал себе под нос: «К чёрту всё». Оливер сел за руль и завёл мотор. Сдавая назад, он увидел, как Люси вышла из дома и направилась к машине. Он заглушил двигатель.

— Прости меня,— тихо сказала она, стоя у автомобиля и держась за его дверцу. Оливер ласково потрепал её руку.

— Давай всё забудем,— примирительно предложил он.

Люси наклонилась, чмокнула его в щеку, поправила галстук.

— Купи себе новые галстуки,— сказала она.— Твои выглядят так, словно их подарили тебе на Рождество в тысяча девятьсот двадцать девятом году.

Она смотрела на него, неуверенно улыбаясь, будто умоляла о чём-то.

— И не сердись на меня.

— Конечно,— сказал Оливер, испытывая облегчение оттого, что мирный отъезд был спасён. Или почти спасён. Хотя бы внешне.

— Позвони мне на неделе,— попросила Люси.— И произнеси запретное слово.

— Обещаю.

Оливер повернул голову и поцеловал жену. Затем он снова завёл мотор и поехал к гостинице.

Люси замерла в тени дерева, провожая взглядом автомобиль, который вскоре исчез за поворотом, скрытый зеленью. Она вздохнула и вернулась в гостиную, тяжело опустилась на тёмный деревянный стул. Оглядела комнату: «Сколько цветов здесь ни ставь, жить тут всё равно невыносимо». Сидя в мрачной благоухающей гостиной, она вспомнила шум машины, отъезжающей по узкой песчаной дороге, и подумала: «Поражение. Снова поражение. Я всегда проигрываю. Вечно первая говорю «прости»».

Глава четвёртая

Сидя справа от Оливера в плавно мчащемся мимо чистых вермонтских городов «бьюнке», Паттерсон наслаждался мастерством, с которым его друг вёл машину, погодой, воспоминаниями об уикэнде, проведённом с миссис Уэлс; он радовался выздоровлению Тони, мысленно любовался Люси, вспоминая, как она, стоя в свободной белой блузе, надетой поверх купальника, с обнажёнными ногами, опираясь на плечо Оливера, вытряхивала гальку, застрявшую между ступнёй и деревянной подошвой.

Он бросил взгляд на Оливера, уверенно сидящего за рулём, с лицом серьёзным и интеллигентным, отмеченным тенью безрассудства, той редкой в наши дни кавалерийской удалости, на которую Паттерсон обратил внимание, когда они пили виски на лужайке. Господи, подумал Паттерсон, если бы его интересовали другие женщины, вот был бы парад! Мне бы его внешность... Он внутренне усмехнулся. Смежив веки, Паттерсон увидел перед глазами Люси, залитую солнечным светом на тропинке, ведущей от озера; она тянула руку вдоль длинных обнажённых ног, и волосы падали ей на лицо.

Наверно, подумал он, будь я женат на Люси Краун, я бы тоже ни на кого больше не смотрел.

Иногда, выпив лишнее или загрустив, он говорил себе, что ему следовало влюбиться в Люси Краун, тогда ещё Люси Хэммонд, в первый же вечер их знакомства, за месяц до её свадьбы с Оливером. Однажды на вечеринке в загородном клубе он чуть не признался ей в этом. А может быть, он и вправду сказал ей это? Там царил хаос, оркестр играл слишком громко, Люси на мгновение оказалась в его объятиях, и вообще он был здорово пьян.

Впервые Паттерсон увидел Люси Краун в начале двадцатых годов, когда Оливер привёз её в Хартфорд знакомить со своей семьёй. Паттерсон был старше Оливера,

он женился годом раньше друга и только что начал практиковать в Хартфорде. Четыре поколения Краунов выросли в этом городе, отец Оливера получил в наследство типографию, которая кормила семью в течение пятидесяти лет. Оливер имел двух старших замужних сестёр; брат его погиб в авиакатастрофе во время войны. Оливер тоже учился на лётчика, но попал во Францию слишком поздно, чтобы принять участие в боевых действиях.

Вернувшись из Европы, Оливер обосновался в Нью-Йорке и вместе с двумя другими ветеранами открыл маленький экспериментальный завод по производству аэропланов. Старый Краун внёс долю сына, трое молодых людей построили предприятие неподалёку от Джерси, а спустя несколько лет едва не разорились.

Паттерсон помнил Оливера ещё первокурсником, мечтающим попасть в бейсбольную команду колледжа, сам он тогда готовился к защите диплома. Даже в то время, когда Оливеру было не больше пятнадцати. Паттерсон завидовал его достоинству, той спокойной уверенности, с какой держался этот рослый, хорошо воспитанный юноша, лёгкости, с которой он получал наивысшие оценки, успеху у девушек. Позже Паттерсон завидовал его поездке во Францию, его Нью-Йорку, авиастроительной компании, дружбе с деловыми партнёрами, крепкими, весёлыми, вечно подвыпившими молодыми людьми, его встрече с Люси. Если бы кто-то спросил Паттерсона или Крауна об их отношениях, каждый, не колеблясь, назвал бы другого своим лучшим другом. Оливер, насколько было известно Паттерсону, никогда никому не завидовал.

С того момента, как Оливер познакомил Паттерсона с Люси — ей тогда исполнилось двадцать лет, — Паттерсон начал ощущать смутную горечь потери. Она была высокой девушкой с мягкими белокурыми волосами и крупными серыми глазами. В её лице было что-то восточное. Широкий прямой нос плавно переходил в низкий лоб. Глаза её еле заметно косили, а линия верхней губы круто обрывалась в уголках рта. Пытаясь описать её внешность после многих лет знакомства, Паттерсон как-то сказал, что её предки — северяне, среди которых затаилась танцовщица с острова Бали. У Люси был полный решительный рот, говорила она негромко, с придыханием, немного сбивчиво, словно ей не хватало уверенности в том, что её хотят слушать. Она не следила за модой, которая в этом году отличалась безвкусицей, и выигрывала от этого. Люси избегала лишних движений: сидя, она держала руки на коленях, а когда стояла — по швам, как послушная школьница. Родители её умерли, из родственников осталась только мифическая тётя, живущая в Чикаго, о которой Паттерсон знал лишь, что она носила одежду одного с Люси размера и присылала племяннице доншивать свои безобразные платья. Спустя много лет, приобретя склонность к рефлексии, Паттерсон понял, что эксцентричная старомодность тётиних нарядов придавала Люси дополнительное очарование, делала непохожей на других девушек, пробуждала жалость и сочувствие к бедности и девической неловкости.

Люси служила тогда в колумбийском университете лаборанткой у биолога, который занимался изучением одноклеточных морских растений. Эта работа никак не вязалась с её внешностью, и, что было ещё более удивительным, Люси заявила Оливеру о своём намерении не бросать в дальнейшем науку независимо от того, выйдет она за него замуж или нет, а впоследствии получить степень и заняться самостоятельными исследованиями. У Оливера эта преданность биологии, готовность Люси целый день возиться, как он говорил, с какими-то водорослями, вызывала сдержанное удивление, но поскольку это занятие не портило её красоту и позволяло жить в Нью-Йорке, Оливер не стал сразу же противиться ему.

Оба они были высокими, блестящими, чистыми молодыми людьми, и если спустя годы, оглядываясь назад, Паттерсон видел призрачность их блеска, то тогда, смотря на них, с серьёзными лицами стоящих у алтаря (в Нью-Йорке Оливер заявил, что не хочет начинать семейную жизнь в Хартфорде), он чувствовал, что все браки, заключённые в Америке в этот солнечный июньский день, просто обязаны пасть в число самых удачных.

На свадьбе Паттерсон, немного перебрав шампанского, припасённого старым Крауном ещё до «сухого закона», оглядел подозрительно комнату и заявил: «Чертовски странная свадьба. Здесь нет ни одного гостя, который спал с невестой». Люди, услышавшие его, засмеялись, и его репутация остролова и человека, которому опасно доверять лишнее, стала ещё более прочной.

На следующий день Паттерсон вернулся на поезде домой, в Хартфорд; сидя рядом с Кэтрин, на которой он женился тринадцать месяцев назад, он вдруг понял, что его брак — ошибка. С этим следовало смириться, Кэтрин ни в чём не была виновата, Пат-

терсон знал, что он не станет ничего менять и постарается не причинять Кэтрин страданий. Прикрыв глаза, ещё во власти паров шампанского, он думал о том, что эта ошибка будет долгой, мирной, скрытой. В свои двадцать семь Паттерсон был циником и пессимистом, и ощущение непоправимости совершённого казалось ему вполне естественным.

Вернувшись из свадебного путешествия, некоторое время Оливер и Люси жили в точности так, как планировали. Они сняли на Мюррей-Хилл квартиру с просторной гостиной, где нередко принимали энергичных молодых людей, хлынувших в ту пору в Нью-Йорк. По утрам Оливер отправлялся на маленький заводик, расположенный возле Джерси, случалось, испытываемые им аэропланы терпели крушения на лугах или соляных равнинах; Люси ежедневно, кроме субботы и воскресенья, спешила подземкой на Морнингсайд-Хейтс к своим водорослям, а вечером возвращалась домой готовить обед, встречать гостей или собираться в театр, а реже — писать диссертацию. Она больше не носила тётиных нарядов, но её собственный вкус оказался неопределённым, точнее, преднамеренно простым, девически скромным, в ней трудно было угадать жительницу Нью-Йорка.

Паттерсон старался почаще приезжать в город. Появляясь один, без Кэтрин, он всегда останавливался у Краунов, и к длинному списку предметов его зависти прибавились квартира и друзья Оливера. Паттерсон заметил, что хотя на вид Люси вполне счастлива, она производит впечатление скорее гостя в этом браке, чем полноправного партнёра. Отчасти это объяснялось её застенчивостью, от которой она ещё не освободилась, и врождённой способностью Оливера весело, без усилий, помимо собственного желания верховодить в любой компании.

Как-то после возвращения Паттерсона из Нью-Йорка Кэтрин спросила мужа, счастлива ли Люси. После недолгого раздумья Паттерсон сказал: «По-моему, да. Или почти счастлива. Но она надеется стать со временем ещё более счастливой...»

В один год отец Оливера утонул возле Уотч-Хилл и Люси родила сына. Оливер поехал в Хартфорд, изучил типографские бухгалтерские книги, поговорил с матерью и управляющим, вернулся домой и велел Люси собирать вещи. Они переезжают в Хартфорд. Какие бы сожаления ни испытывал Оливер, отказываясь от авиастроительного завода и Нью-Йорка, он отбросил их по дороге в Хартфорд и никогда не делился ими ни с Паттерсоном, ни с Люси, ни с кем-то другим. Люси упаковала материалы для диссертации, работу над которой она уже никогда не завершит, позавтракала на прощание в ресторане с исследователем одноклеточных морских растений, заперла квартиру и отправилась вслед за мужем в большой дом Краунов в Хартфорде, где Оливер родился, вырос и который он пытался покинуть.

Паттерсон обрадовался соседству Люси и Оливера. Они были тем центром веселья и светской жизни, каким никогда не могла стать семья Паттерсона; на правах семейного доктора и старого друга Сэм три-четыре раза в неделю навещал Краунов, обедал у них, присутствовал на всех вечеринках, выступая в роли не только врача Тони, но и названного дяди, доверенного лица, советчика (только для Люси — Оливер же никогда с ним не советовался), они вместе строили планы на отпуска и уикэнды, играли в бридж, философствовали у камина. Дом Краунов притягивал к себе многие блестящие молодые пары, и за их обеденным столом Паттерсон в разные годы познакомился с двумя хорошенькими женщинами, с которыми впоследствии имел романы.

Паттерсон не знал, известно ли Краунам об этих его связях, а также и о других. Крауны сами не сплетничали и не поощряли сплетни знакомых, и в то время не интересовались никем, кроме самих себя. Это было нетипично для Оливера, до брака слывшего достойным товарищем лётчиков и других жизнерадостных прожигателей жизни, с которыми он вернулся с войны. С каждым годом его преданность жене, лишённая полёта сентиментальности и скуки, лишь росла; спокойное доверие Оливера к Люси порождало в Паттерсоне, как тот ни гнал от себя подобные мысли, сознание пустоты и бесцельности своего брака.

Что касалось Люси, переезд в маленький городок, поглощённость ребёнком сделали её внешне более взрослой и раскованной, и только в редкие моменты, на многолюдных вечеринках, когда Оливер снова становился душой общества, а ей недоставало внимания, к Паттерсону возвращалось прежнее ощущение того, что она в этом браке только гостья, а не полноправная партнёрша.

У них был только один ребёнок. Сообразительный, симпатичный, хорошо воспитанный мальчик страдал лишь одним недостатком, обусловленным отсутствием братьев и сестёр, — излишней, почти болезненной привязанностью к матери. Если он возвращал-

ся из школы и не заставал дома мать, бегающую по магазинам, он ждал её, сидя на кровати и названивая многочисленным знакомым, у которых она могла задержаться. Его серьёзный детский голосок, произносящий: «Здравствуйте, это Тони Краун. У вас нет моей мамы? Извините. Нет, ничего не случилось», — звучал в телефонных трубках десятка квартир. Оливер, которому, естественно, не нравилась привычка сына, снисходительно-раздражённо прозвал его «телефонистом».

Паттерсон уверял, что появление братьев и сестёр избавит Тони от его странностей, но почему-то Люси больше не беременела, и к тому времени, когда Тони исполнилось десять лет, его родители оставили надежду завести второго ребёнка.

Позже Паттерсон считал эти годы лучшими в своей жизни — конечно, не только из-за дружбы с Краунами. Паттерсон тогда вставал на ноги, перед ним открывались новые горизонты. Но гостеприимство Краунов, их радушие, близость с Оливером, застенчивая теплота Люси, привязанность Тони, вдвойне ценная для бездетного доктора, создавали яркий фон, оттеняющий радость деловых успехов Паттерсона. Его чувство к Люси, которое время от времени, только наедине с собой, и то с усмешкой, он называл любовью, вспыхивало приятными тайными надеждами в те моменты, когда он, стоя перед их дверью, нажимал кнопку звонка.

Сидя в «бьюике», державшем комфортные пятьдесят миль в час среди воскресного потока машин, Паттерсон посмотрел на Оливера. «Любопытно, что бы он сказал, если бы узнал, о чём я думаю. Как хорошо, что нам не дано читать мысли друзей».

— Сэм... — произнёс Оливер, не отрывая глаз от дороги.

— Да?

— Ты думаешь, тебе удастся выбраться на озеро ещё раз за лето?

— Я постараюсь, — ответил Паттерсон.

— Можешь сделать мне одолжение?

— Какое?

— Оставь миссис Уэлс дома, — попросил Оливер.

— Ты о чём это... — начал было Паттерсон, неумело разыгрывая удивление.

Оливер улыбнулся.

— Послушай, Сэм... — мягко сказал он.

Паттерсон засмеялся.

— О'кей, — произнёс он. — Прощайте, миссис Уэлс.

— Мне-то что, — сказал Оливер, — но Люси уже кинула камешек в твой огород.

— Ах, Люси...

Он почувствовал нарастающую волну смущения и понял, что в это лето больше не приедет на озеро, ни с миссис Уэлс, ни без неё.

— Добровольное общество жён, — сказал Оливер, — встаёт на защиту своих членов.

Они молча проехали несколько миль. Затем Оливер снова заговорил.

— Сэм, как тебе этот парень? Баннер?

— То, что надо, — отозвался Паттерсон. — Думаю, он принесёт Тони пользу.

— Если не сбежит, — сказал Оливер.

— Что ты имеешь в виду?

— Люси устроит ему сладкую жизнь, — усмехнулся Оливер. — Ручаюсь, через неделю она напишет, что парень едва не утопил Тони или научил его нецензурно ругаться, и ей пришлось его уволить.

Оливер покачал головой.

— Господи, какое трудное дело — воспитывать единственного ребёнка. И к тому же больного. Иногда, когда я смотрю на него и думаю о том, каким он станет, когда вырастет, меня охватывает дрожь.

— Нормальный вырастет парень, — сказал Паттерсон, заступаясь за Тони, хотя в душе он разделял опасения Оливера. — Зря волнуешься.

Оливер только хмыкнул в ответ.

— Чего ты ждёшь? — спросил Паттерсон. — Тебе нужны гарантии, что он станет губернатором этого штата или чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе? Что ты от него ждёшь?

— Нет, — после минутного раздумья сказал Оливер, снижая скорость, — я не хочу, чтобы он сделал нечто выдающееся.

Оливер усмехнулся.

— Пусть он будет просто счастлив.

— Не беспокойся,— сказал Паттерсон,— имея таких родителей, он будет счастлив. Это фамильное свойство.

Оливер улыбнулся, и Паттерсон заметил в улыбке друга иронию и горечь.

— Я рад, что ты так считаешь,— сказал Оливер.

Откуда в нём это, подумал Паттерсон, внезапно вспомнив осенившую его несколько часов назад на лужайке мысль о том, что Оливер разочарован жизнью. Имея всё, он не чувствовал себя счастливым. Чего ещё он ждёт от судьбы?

Глава пятая

Спустя неделю Люси написала Оливеру, что Баннер — сушая находка. Молодой человек завоевал расположение Тони, терпеливо уступив мальчику инициативу в их сближении. Баннер очень забавен, писала она, он искусно не позволяет Тони переутомляться. Он умеет развлечь Тони даже в дождливые дни.

К концу второй недели Люси уже не знала, что ей писать мужу — к этому времени Джеф объяснился ей в любви.

Сначала она посмеялась над его словами, преднамеренно разыгрывая роль удивлённой взрослой женщины, чего ей никогда не приходилось делать раньше. Поначалу она решила рассказать об этом Оливеру и попросить у него совета, как себя вести, но испугалась его насмешек и передумала. Затем она снисходительно позволила юноше поцеловать её — пусть сам увидит, как мало это значит для них обоих, потом Люси поняла, что не станет писать Оливеру.

Следующие три дня ей удавалось не оставаться с Джефом наедине, и раз десять она едва не сказала, что ему лучше уйти, но всё же и этого она не сделала.

Люси относилась к числу тех женщин, что обретают невинность в браке. На редкость привлекательная, Люси не сознавала в полной мере всей силы воздействия своей красоты на мужчин, и её кажущаяся непрístupность удерживала многих от попыток ухаживания.

Единственным примечательным исключением был случай с Сэмом Паттерсоном, когда он, изрядно выпив и оказавшись вдвоём с ней на террасе загородного клуба, обнял её; она не сопротивлялась, на мгновение ошибочно приняв дружескую симпатию к нему за влюблённость.

— Люси, дорогая,— прошептал он,— я хочу тебе кое-что сказать, я...

По его тону Люси догадалась, что именно хочет сказать ей Сэм, и решила — лучше ей этого не слушать.

Она выскользнула из его объятий, добродушно рассмеялась и спросила:

— Ну-ка, Сэм, признайся, сколько рюмок ты сегодня опрокинул?

Он посмотрел на неё пристыженно, оскорблённо, почти трагически.

— Алкоголь тут ни при чём,— сказал Паттерсон, повернулся и ушёл в клуб, а она подумала — это же Сэм, все знают его штучки; войдя, она стала, забавляясь, считать женщин, с которыми у Сэма Паттерсона были романы: о трёх Люси знала точно, о двух других — почти наверняка и об одной догадывалась. Она никогда не говорила Оливеру об эпизоде на террасе, ему бы он не понравился, они перестали бы видеться с Паттерсоном, и все бы от этого только проиграли. Паттерсон никогда не упоминал о том вечере, она — тоже, он канул в Лету, их совместной жизни с Оливером шёл тогда только пятый год, и теперь ей казалось, что его вовсе не было.

Верность Люси питалась не столько моральной установкой, сколько соединением любви, благодарности и страха перед мужем. Она считала, что Оливер спас её от неуверенности в себе, мучившей Люси в юности, и память об этом много лет почти автоматически сдерживала мимолётные чувства, которые порой вызывали у неё другие мужчины.

Несмотря на врождённую галантность обхождения, по своей неопытности Джеф не умел сразу оценить степень доступности того или иного объекта. Привлекательный внешне, он держался поначалу на удивление скромно и неожиданно для Люси выпалил своё признание, когда они отдыхали на лужайке после ленча, во время дневного сна Тони, составлявшего обязательную часть его режима.

К полудню над озером воцарилось безмолвие, утренний ветер стих, насекомые, казалось, задремали. Люси, в цветастом бумажном платье, сидела, прислонившись к

дереву и скрестив лодыжки; раскрытая книга лежала у неё на коленях обложкой кверху. Джеф опустился на одно колено в нескольких футах от неё, как футболист, отдыхающий во время короткой остановки игры. Пожёвывая травинку, с опущенными глазами, он время от времени срывал клеверный лист, изучал его, а затем бросал на землю. В тени деревьев веяло прохладой, и Люси, кожа которой ещё хранила память о свежести утренней воды, ощущала, что сейчас она переживает тот восхитительный миг, который хочется удержать на вечность.

Джеф был в линялых джинсах и белой футболке без воротничка, с короткими рукавами. На фоне блестящей зелени его кожа цвета красного дерева выгодно оттенялась белизной ткани. Когда Джеф срывал очередной листок, Люси видела, как мягко натягиваются сухожилия под тёмной кожей его гладкого мускулистого предплечья. Босые худощавые ступни Джефа, загоревшие слабее других частей тела, казались Люси по-детски трогательными. За эти годы, подумала Люси, я забыла, как выглядят юноши.

Джеф склонился над клевером, зажатым в руке.

— Всю жизнь,— сказал он,— я провёл в безуспешных поисках.

— Чего? — спросила Люси.

— Клевера с четырьмя листиками.

Он отбросил растение.

— Вы полагаете, что важно — найти его?

— Исключительно важно,— сказала Люси.

— Я тоже так считаю,— заявил Джеф и точным, экономным движением опустил ся на землю, прижав колени друг к другу.

Какая тонкая, гибкая галия у юношей, подумала Люси. Она потрянула головой, взяла роман и уставилась на страницу.

— Неудачи преследовали их,— прочитала она вслух.— В Арле было полно комаров, а когда они приехали в Каркассонн, оказалось, там отключили на день горячую воду.

— Я хочу знать ваши условия,— заявил Джеф.

— Я читаю.

— Почему вы избегаете меня последние три дня? — спросил Джеф.

— Мне не терпится узнать, чем кончится книга,— сказала Люси.— Богатая, молодая и красивая пара путешествует по Европе, и их брак рушится на глазах.

— Я задал вопрос.

— Ты был когда-нибудь в Арле?

— Нет,— ответил Джеф.— Я нигде не был. Вы хотели бы поехать в Арль со мной?

Люси перевернула страницу.

— Поэтому-то я и избегала тебя три дня,— призналась она.— Если ты будешь продолжать в том же духе, я действительно решу, что тебе лучше нас покинуть.

Но уже произнося эти слова, она отдавала себе отчёт в том, что думает: «Ну разве не чудесно, сидя под этим деревом, услышать, как молодой человек безрассудно спрашивает, хочу ли я поехать с ним в Арль?»

— Я вам кое-что поведаю о вас,— сказал Джеф.

— Я пытаюсь читать,— сказала Люси.— Будь вежлив.

— Вы позволяете уничтожить себя...— сказал Джеф.

— Что?

— ... вашему мужу,— продолжал он и поднялся на ноги.— Он придушил вас, связал и упрятал в сундук.

— Ты сам не понимаешь, что мелешь,— сказала Люси с тем бóльшим негодованием, что иногда она обвиняла Оливера практически теми же словами.— Ты едва его знаешь.

— Я знаю его,— возразил Джеф.— Мне знаком этот тип. У моего отца десяток таких друзей, я видел их дома с рождения. Самоуверенные, безгрешные, сладкоголосые аристократы, всезнающие хозяева жизни.

— Ты не имеешь и малейшего представления о том, о чём говоришь,— сказала Люси.

— Не имею?

Джеф начал нервно расхаживать перед ней.

— Я наблюдал за вами весь прошлый август. Я сидел за вами в кино, стоял возле фонтанчика с содовой, когда вы покупали мороженое. Делал вид, что выбираю журнал в книжной лавке, когда вы приходили за новой книгой. Трижды за день проплывал мимо вашего коттеджа. Я не спускал с вас глаз,— возбуждённо проговорил он.—

Почему, вы думаете, я приехал сюда этим летом?

— Тсс, не так громко,— попросила Люси.

— Ничто не ускользнуло от моего взора,— взволнованно заявил он.— Ничто. Неужели вы не замечали меня?

— Нет,— сказала Люси.

— Вот видите! — торжествуя воскликнул Джеф, словно выиграл очко.— Он надел вам шоры. Ослепил вас! Вы глядите на мир его холодными бесстрастными глазами.

— Ну положим,— рассудительно сказала Люси, надеясь успокоить юношу,— я не вижу ничего удивительного в том, что замужняя женщина моего возраста не замечает девятнадцатилетнего мальчишку.

— Не называйте меня девятнадцатилетним мальчишкой,— рассердился Джеф.— А себя замужней женщиной вашего возраста.

— С тобой действительно очень трудно,— сказала Люси и снова взялась за книгу.— Теперь я буду читать,— твёрдо добавила она.

— Пожалуйста, читайте.

Джеф скрестил руки на груди и посмотрел на Люси.

— Мне безразлично, слушаете вы меня или нет. Я всё равно скажу то, что считаю нужным сказать. Я наблюдал за вами, потому что вы — самая восхитительная женщина, какую я видел в жизни...

— После Каркассонна,— чистым мелодичным голосом читала вслух Люси,— их задержал ливень; они решили, что Испания в любом случае нагонит на них скуку, и повернули на север в сторону...

Со стоном, застрявшим в горле, Джеф наклонился, схватил книгу и швырнул её на край лужайки.

— Довольно,— сказала Люси поднимаясь.— С меня хватит. Одно дело — забавный легкомысленный мальчишка, совсем другое — грубый самоуверенный нахал... Теперь, пожалуйста, уходи.

Джеф посмотрел на неё стиснув зубы.

— Извините меня,— произнёс он глухим голосом.— Я вовсе не самоуверен. Я самый неуверенный в себе человек в мире. Просто я вспоминаю вкус ваших губ и ...

— Ты должен забыть это,— сухо попросила она.— Я позволила тебе поцеловать меня, потому что ты клянчил как ребёнок, для меня это было всё равно, что поцеловать племянника перед сном.

Произнося эти слова, Люси мысленно похвалила себя за то, как умно она держит себя с Баннером.

— Не говорите неправду,— прошептал он.— Делайте что хотите, только не говорите неправду.

— Я попросила тебя уйти.

Джеф бросил на неё горящий взгляд. Кто бы нас сейчас ни увидел, подумала Люси, он наверняка бы решил, что этот парень признался мне сейчас в лютой ненависти. Внезапно Джеф повернулся и, расправив плечи, зашагал босиком к тому месту, где валялась книга. Он поднял её, разгладил смятую страницу и медленно вернулся к дереву.

— Вот ваша книга,— сказал он.— Да, я безумец. Соглашаюсь с вами во всём.

Он улыбнулся Люси, следя за её реакцией.

— Я даже признаю, что прошлым летом мне действительно исполнилось девятнадцать лет. Я забуду всё, что вы просите меня забыть. Я уже не помню, как называл вас самой восхитительной женщиной; Оливером Крауном я всегда восторгался как образцовым мужем. И главное, я не помню, как целовал вас. Я преисполнен восточного самоотречения и обещаю сохранить его до Дня труда¹.

Он ждал, когда она улыбнётся, но Люси не сдавалась. Она отыскивала потерянное место в книге.

— Я смиренен, как червяк,— сказал Джеф, внимательно глядя на Люси,— почтителен, как дворецкий миллионера, беспол, как семидесятилетний евнух из турецкого дома для престарелых... Ну,— торжествуя заметил он,— вы засмеялись.

— Ладно,— сказала Люси, усаживаясь на землю.— Можешь оставаться. При одном условии.

— Каком? — насторожённо спросил Джеф.

— Ты должен обещать не говорить серьёзно.

¹ Праздник, отмечаемый в США в первый понедельник сентября.

— Обещаю быть настолько фривольным,— произнёс он,— что маленькие дети в отращении побегут от меня прочь.

На дальнем берегу запел горн, и Джеф, словно по сигналу, резко, размашисто отдал честь, по-военному чётко повернулся на пятках и произнёс:

— Теперь я покидаю вас. Отныне я посвящаю свою жизнь поискам трёхлистного клевера.

Он медленно отошёл от Люси и, опустив голову, стал методично разглядывать траву на лужайке, периодически останавливаясь, чтобы сорвать новое растение. Люси сидела, прислонившись к дереву, с полузакрытыми глазами, ощущая присутствие юноши на залитой солнцем лужайке, за которой блестело солнце и тонули в полуденном мареве холмы.

Глава шестая

— Послушай, Люси, ты должна вспомнить, куда ты его положила,— устало и терпеливо говорил Оливер по телефону, и Люси, как всегда в подобных случаях, охватила частичная амнезия — она знала, что Оливер пытается скрыть своё раздражение.

— Напряги память.

— Я точно помню,— сказала Люси,— как клала все счета в ящик моего стола.

Она чувствовала, что голос её звучит по-детски упрямо, но ничего не могла с собой поделать.

Люси стояла у аппарата в гостиной коттеджа и смотрела на Тони и Джефа, которые играли в шахматы, сидя за большим столом под абажуром в центре комнаты. Они оба сосредоточились, склонив головы над доской — Тони ужасно хотелось выиграть, а Джеф деликатно старался делать вид, что не слышит, как Люси в шести футах от него разговаривает с мужем.

— Люси, дорогая,— тем же утомлённым и сдержанным голосом продолжал Оливер,— я дважды перерыл твой стол. Его там нет. Я нашёл счета за 1932-й год, рецепт ухи, приглашения на свадьбу знакомых, которые уже три года как развелись,— но счёта из гаража там нет. Повторяю,— медленно сказал Оливер тоном, способным вывести собеседника из равновесия,— счёта из гаража там нет.

Она едва не расплакалась. Когда Оливер упрекал жену в небрежности, с какой она обращалась со счетами, у Люси появлялось тягостное ощущение, что современный мир слишком сложен для неё, что кто-то заходит в их квартиру, когда там никого нет, и нарочно перекалывает бумагу с места на место, что Оливер считает её идиоткой и сожалеет о своей женитьбе на ней. Не будь рядом Тони и Джефа, она бы разревелась, и Оливер, смягчившись, сказал бы: «Ну и бог с ним. Не так уж это важно. Я всё улажу».

Но хотя молодёжь уткнулась в доску, Люси не могла заплакать. Она могла лишь сказать: «Я помню, что оплатила их. Твёрдо помню».

— Дженкинс говорит, что нет,— возразил Оливер.

Дженкинс был хозяином гаража, Люси презирала его за умение мгновенно переходить от наисердечнейшей приветливости к надоедливому брюзжанию, стоило кому-то не внести деньги до пятого числа каждого месяца.

— Кому из нас двоих ты больше веришь? — спросила Люси.— Дженкинсу или мне?

— Но в чековой книжке тоже нет отметки об уплате,— сказал Оливер, и настойчивость в тихом, далёком голосе мужа едва не довела Люси до истерики.— Сегодня, когда я подъехал заправиться, он выразил своё недовольство, а я не могу найти счёт. Очень неловко себя чувствуешь, Люси, когда к тебе подходит человек и говорит, что ты задолжал ему семьдесят долларов за три месяца.

— Мы правда заплатили,— упрямо сказала Люси, не помня ничего.

— Люси, повторяю,— сказал Оливер,— нужен счёт.

— Что ты от меня хочешь? — не сдержавшись, закричала Люси.— Чтобы я примчалась и начала искать сама? Я могу приехать завтра утренним поездом.

Джеф быстро посмотрел в её сторону и снова уткнулся в доску.

— Гарде,— предупредил он Тони.

— У меня блестящий план,— сказал Тони.— Смотри.

— Нет, не надо,— устало произнёс Оливер.— Я с ним сам разберусь. Забудь.

Услышав это «забудь», Люси поняла, что ей вынесен приговор, очередной маленький безжалостный вердикт.

— Как вы там? — спросил Оливер сухим тоном, наказывая жену.— Как Тони?

— Играет в шахматы с Джефом,— ответила Люси.— Хочешь поговорить с ним?

— Да, пожалуйста.

Люси положила трубку рядом с аппаратом.

— Твой отец хочет поговорить с тобой, Тони,— сказала она и, услышав «Привет, папа», покинула гостиную.

Выходя на веранду, Люси ощутила на себе взгляд Джефа, наверняка заметившего её скованность и унижение.

— Мы сегодня видели оленя,— сообщил отцу Тони.— Он спустился к озеру, чтобы попить.

Люси пошла по лужайке к берегу, она не хотела больше говорить с мужем. Вечер был тёплым, полная луна светила сквозь лёгкую молочную пелену, поднимающуюся над озером. В лагере зазвучал горн. Каждый вечер горнист устраивал небольшой концерт. Сегодня он превосходно исполнял сигналы французской кавалерии, и непривычная быстрая музыка придавала размытым, порой тонушим в тумане берегам незнакомый и печальный вид.

От воды струилась прохлада, Люси стояла, обхватив себя руками, и под действием лунного света и пения горна её раздражение переходило в жалость к самой себе.

Она услышала за спиной шаги, но не обернулась, и когда Джеф обнял её сзади, она почувствовала себя не женщиной, преследуемой мужчиной, а ребёнком, которому покровительствует взрослый. Когда Люси повернулась лицом к Джефу и он поцеловал её, это чувство сменилось иным, но всё равно Люси казалось, что её сначала ранили, а теперь снимают боль. Гладкие и сильные руки с нежной настойчивостью ласкали обнажённую спину Люси. Она повернула голову в сторону, оставаясь в его объятиях, и уткнулась в плечо Джефа.

— О, господи,— прошептал он и взял Люси рукой за подбородок, пытаясь поднять его, но Люси только сильнее прижалась щекой к фланелевой рубашке юноши.

— Нет,— сказала она.— Нет. Не надо...

— Позже,— прошептал он.— Я один в домике. Сестра на неделю уехала в город.

— Перестань.

— Я так хорошо себя вёл,— сказал Джеф.— Люси, я больше не могу...

— Мама...— высоким детским голосом закричал Тони из окна.

Люси вырвалась и побежала по траве.

— Да, Тони,— ответила она, поднимаясь на крыльцо.

— Папа спрашивает, ты не хочешь с ним ещё поговорить?

Люси остановилась, схватившись за столб крыльца и пытаясь выровнять дыхание.
— Нет, если он не хочет сообщить мне что-то важное,— сказала она в распахнутое окно.

— Мама говорит нет, если ты не хочешь сообщить ей что-то важное,— сказал Тони в трубку.

Люси застыла в ожидании. После непродолжительного молчания Тони произнёс:

— Ладно, папа. Пока.

Она услышала звук опускаемой трубки. Тони высунул голову в окно, подняв занавеску.

— Мама,— позвал он.

— Я здесь,— отозвалась она с крыльца.

— Папа просил передать тебе, чтобы ты не ждала его на выходные, к нему приедет человек из Детройта.

— Хорошо, Тони,— сказала она, заметив в лунном свете Джефа, приближающегося к дому.— А теперь, если ты собираешься спать на воздухе, стели постель.

— Мы ещё не закончили,— сказал Тони.— У меня выигрышная позиция.

— Отложите партию до утра. За ночь твоя позиция не ухудшится.

— Лады,— согласился Тони и убрал голову из окна, с шумом роняя занавеску.

Джеф поднялся на крыльцо и остановился перед Люси. Он протянул к ней руки, но она отошла от него и зажгла лампу, стоящую на плетёном столике рядом с диваном-качалкой, на котором собирался спать Тони.

— Люси,— прошептал Джеф, следуя за ней.— Не убегайте.

— Ничего не было,— сказала она и судорожно засунула рубашку Тони, к которой она пришивала днём пуговицу, в корзину со швейными принадлежностями.— Ничего не было. Забудь это. Я прошу тебя. Забудь.

— Никогда,— сказал он, стоя возле неё.

Он поднял руку и коснулся её губ.

— Твои губы...

Стон, вырвавшийся из горла Люси, поразил её. Она почувствовала, что теряет контроль над своими движениями, жестах, голосом.

— Нет,— сказала Люси и бросилась мимо Джефа, кусая тыльную сторону своей ладони.

На веранду вышел Тони, нагруженный постельным бельём, и свалил его на диван.

— Слушай, Джеф,— сказал он,— не смотри до утра на доску.

— Что? Что ты говоришь?

Джеф медленно повернулся к мальчику.

— Чтобы всё было честно,— сказал Тони.— Обещаешь?

— Обещаю,— сказал Джеф.

Он натянуто улыбнулся Тони, поднял телескоп, лежащий под стулом, и начал увлечённо полировать его стёкла рукавом своей рубашки.

Люси наблюдала за тем, как сын расстилает на диване-качалке простыни и одеяло.

— Ты уверен, что хочешь сегодня спать здесь? — спросила она, надеясь, что материнские обязанности вернут ей силу.— Не замёрзнешь?

— Тут не холодно,— радостно сказал Тони.— Миллионы людей спят летом на воздухе, правда, Джеф?

— Миллионы,— подтвердил Джеф, полируя линзы.

Он сидел склонив голову, и Люси не видела его лица.

— Солдаты, охотники, альпинисты,— перечислил Тони.— Я напишу папе, чтобы он привёз мне спальный мешок. Тогда я смогу спать даже на снегу.

— Тебе представится множество удобных случаев,— сказал Джеф.

Он встал, и Люси заметила на его спокойном лице привычное выражение дружеской насмешливой снисходительности, какую он обычно проявлял к Тони.

Мне надо быть с ним осторожней, подумала Люси. Он меняется слишком быстро. У молодых людей не только талия гибка.

— Множество удобных случаев,— легкомысленным тоном повторил Джеф.— Например, во время Двенадцатой мировой войны.

— Это не смешно,— резко заметила Люси.

Она повернулась и стала помогать Тони.

— Извините,— сказал Джеф.— Во время Пятнадцатой мировой войны.

— Не сердись на него, мама,— попросил Тони.— Мы условились, что он будет говорить со мной так, будто мне двадцать лет.

— Мировых войн больше не будет,— сказала Люси.

Мысль о войне внушала ей страх, она отказывалась читать сообщения из Испании, где уже год шли сражения, и никогда не позволяла мужу покупать Тони оловянных солдатиков или духовые ружья. Люси относилась бы к войне спокойнее, если бы кто-то мог дать ей гарантии, что она разразится тогда, когда Тони будет слишком мал или слишком стар, чтобы в ней участвовать. Она считала, что патриотом быть легче, имея многодетную семью.

— Найди другую тему,— сказала она сыну.

— Найди другую тему, Тони,— послушно повторил Джеф.

— Ты видел сегодняшнюю луну, Джеф? — спросил Тони.— Она почти круглая. Можно всю её рассмотреть.

— Луна...— мечтательно произнёс Джеф.

Он лёг на пол веранды, зажав коленями спинку перевернутого стула, и, используя поперечину между ножками в качестве опоры для телескопа, стал разглядывать небо.

— Что ты делаешь? — насторожённо спросила Люси.

— Этому меня научил Тони,— отозвался Джеф, регулируя телескоп.— Надо обеспечить неподвижное поле зрения, верно, Тони?

— Иначе,— сказал Тони, стеля постель,— звёзды размажутся.

— А размазанные звёзды нам не нужны,— сказал Джеф, доворачивая окуляр на четверть оборота.

— Посмотрите на неразмазанную луну,— лекторским тоном произнёс он.— Прекрасное место для любителей путешествий. Можно переплыть в каменной ладье *Mare Crisium*... Как это по-английски, Тони?

— Море Кризисов,— без запинки ответил Тони.

— Море Кризисов,— повторил Джеф.— И на холодной мёртвой луне...

Не мог он тогда говорить всерьёз, если сейчас так дурачится с Тони, подумала Люси с неприязнью, он просто закидывал удочку...

— А южнее,— сказал Джеф,— более приятное место. *Mare Fecunditas*.

— Море Плодородия,— быстро перевёл Тони.

— Мы окунём тебя в него разочка два-три для верности,— усмехнулся Джеф, по-прежнему лёжа на спине и изучая в телескоп звёзды.

— Джеф,— предостерегающе произнесла Люси.

— Море Спокойствия, озеро Сновидений,— будто не слыша её, продолжал Джеф, глубоким юношеским голосом извлекая из произносимых с лёгким приятным бостонским акцентом слов космическую музыку.

— Может быть, Луна — то самое место, куда стоит перебраться в этот век. Ты когда родился, Тони?

— Двадцать шестого марта,— ответил мальчик, по-больничному тщательно подворачивая свисающие края одеяла и простынь «конвертом».

— Овен,— сказал Джеф; он опустил телескоп и откинул голову на деревянный пол. Потом Джеф закрыл глаза, словно ждал какого-то видения, знака свыше, вслушивался в неземную музыку.

— Баран, двурогое небесное животное. Ты знаешь, Тони, как он оказался среди звёзд?

— Ты веришь в эту чепуху?

Тони перестал стелить постель и уставился на Джефа.

— Я верю во всё,— проникновенным торжественным голосом сказал Джеф, не открывая глаз.— Я верю в знаки Зодиака, в удачу, в переселение душ, в людские жертвоприношения и тайную дипломатию.

— Приносить людей в жертву,— недоверчиво сказал Тони.— Неужели это было на самом деле?

— Конечно,— ответил Джеф.

— В какие времена? — скептически спросил Тони.

— До половины четвёртого вчерашнего дня. Это единственный вид жертвоприношений, в котором есть смысл,— уточнил Джеф.— Обожди, пока сам не совершишь его два-три раза, и ты поймёшь меня.

— Ладно, Джеф, хватит,— сказала Люси подумав: «Он нарочно провоцирует меня, из мести».— Тони, не отвлекайся.

— Фрик и Гелла,— произнёс Джеф, не слыша Люси,— дети царя Тессалеи, страдали от притеснений мачехи...

— Это имеет воспитательное значение? — спросила Люси, решив не выдавать своих чувств.

— Огромное,— заверил Джеф.

— Как звали мачеху? — спросил Тони.

— Это узнаешь в следующий раз,— сказал Джеф.— Меркурий, сжалившись над братом и сестрой, послал золоторунного барана, чтобы тот помог им бежать. Баран усадил их себе на спину и помчался по небу; всё шло благополучно, пока они не достигли пролива, отделяющего Европу от Азии. Тут Гелла упала и утонула в море, и с тех пор пролив называется Геллеспонт. Когда Фрик достиг Колхиды, он, исполненный благодарности, принёс барана в жертву, а Юпитер вознёс несчастное животное на небо в награду за услугу, оказанную им детям царя...

Люси с любопытством посмотрела на Джефа.

— Ты знал всё это до встречи с Тони? — спросила она.

— Ни слова,— сказал Джеф.— Дома я провожу над книгами все ночи, чтобы Тони считал меня умнейшим из смертных.

Он улыбнулся.

— Я хочу, чтобы отныне все другие учителя только разочаровывали его, чтобы он приобрёл отвращение к школе и никогда больше их не слушал. Уж эту малость я могу для него сделать.

Он неожиданно сел, лицо его стало открытым, доверчивым, в искренних глазах отсвечивала лампа.

— Тони,— попросил он мальчика,— покажи маме, как ты дышишь в воде.

— Вот так,— сказал Тони, опустив голову и делая руками гребок.— Взмах, раз, два, три, четыре, вдох!

Он повернул голову вбок, приоткрыл рот так, будто часть его осталась под водой, и с шумом втянул воздух.

— Неужели нельзя дышать более эстетично? — спросила Люси и подумала: «Опасность миновала, всё приходит в норму».

— Нельзя,— сказал Джеф,— этому я его научил.

Поджав ноги по-турецки, он обратился к Тони:

— Как ты считаешь, оправдываю я те деньги, что твой отец платит мне?

— Почти,— поддразнивая его, сказал Тони.

— Соври немного в следующем письме,— попросил Джеф.— Во имя нашей дружбы.

Он поднялся с пола, держа телескоп в руке, затем поднёс его к глазу и стал рассматривать Тони с расстояния в десять футов.

— Ты начнёшь бриться,— торжественно объявил он,— ровно через три года, два месяца и четырнадцать дней.

Тони засмеялся и потёр подбородок.

— Молодой человек, позвольте задать вам один вопрос.

Джеф подошёл к дивану и привалился плечом к цепи, на которой тот висел; диван покачнулся.

— Вы хотели бы после Дня труда вернуться в город вместе со мной, чтобы я мог за зиму немного просветить вас?

— Ты можешь это сделать?

Люси видела, что идея пришлась Тони по душе.

— Стели постель, Тони,— резко сказала она.— Джеф шутит. Осенью он вернётся в колледж и пробудет там до следующего лета.

— Каникулы имеют один недостаток,— сказал Тони.— Чем ближе конец, тем быстрее летят дни. Я, правда, увижу тебя зимой, Джеф?

— Конечно,— сказал Джеф.— Попроси маму привезти тебя в Дартмут. Сходим вместе на футбол, на зимний карнавал.

— Мама, мы поедим?

— Возможно,— уклончиво ответила Люси, не желая, чтобы это звучало как обещание.— Если Джеф не забудет пригласить нас.

— Завтра, Тони, я разрежу себе руку и напишу приглашение кровью. Мы нажмём тайные кнопки и добъёмся избрания твоей мамы Королевой карнавала, её сфотографируют на большом снежном коме, и все станут восклицать: «Боже мой, такого в Нью-Гемпшире ещё не бывало».

Люси смущённо посмотрела на Тони. Будь он годом старше, подумала она, мальчик бы что-то понял. Может, и сейчас...

— Прекрати,— сказала она Джефу, рискуя насторожить Тони.— Не смейся надо мной.

— Я над вами вовсе не смеюсь,— медленно произнёс Джеф.

Он вышел на крыльцо и посмотрел на небо в телескоп.

— Марс,— взволнованно произнёс он глубоким голосом.— Мрачная красноватая немерцающая планета. Это твоя планета, Тони, ты ведь Овен. Марс покровительствует убийцам и воинам. Становись солдатом, Тони, ты возьмёшь сотни городов и к двадцати трём годам будешь по меньшей мере генерал-полковником.

— Серьёзно, Джеф,— сказала Люси,— хватит болтать чепуху.

— Чепуху? — удивлённо произнёс Джеф.— Тони, ты тоже считаешь, это чепуха?

— Да,— рассудительно ответил Тони.— Но чепуха забавная.

— Люди пять тысяч лет веряют свои судьбы звёздам. Цари Египта... Люси,— по-мальчишески озорным тоном перебил он себя,— вы когда родились?

— Много лет тому назад.

— Тони, когда у твоей мамы день рождения?

— Двадцать пятого августа.

Тони это увлекло, он умоляюще посмотрел на мать.

— Двадцать пятое августа,— повторил Джеф.— Знак Девы. Дева...

— Мама...— Тони бросил на мать вопросительный взгляд.

— Я тебе потом объясню.

— В долине Евфрата,— быстро, по-лекторски бесстрастно заговорил Джеф,— Дева отождествлялась с Венерой, печальной и прекрасной покровительницей влюблённых. Ваша планета — яркий Меркурий, постоянно обращённый к солнцу одной стороной, на ней всегда жара, зато на другой — вечная стужа. Люди, родившиеся под знаком Девы, застенчивы, они боятся собственного блеска.

— Послушай,— сказала Люси, чувствуя, что он заходит слишком далеко,— где ты набрался этой чуши?

— Из «Книги звёзд» мадам Вечи,— усмехаясь, пояснил Джеф.— Продаётся за

тридцать пять центов в любой книжной лавке или аптеке. Родившиеся под знаком Девы стремятся к чистоте и порядку, они предрасположены к язве желудка. В любви они страстны и высоко ценят верность.

— А как насчёт тебя? — почти враждебно, с вызовом перебила его Люси, забыв о Тони.— Что говорит твой гороскоп?

— О...— Джеф опустил трубу и покачал головой.— Это чересчур грустно. Мои звёзды не помогают мне.— Он печально указал рукой на небо.— Они подмигивают мне оттуда и твердят: «Никаких шансов. Ну никаких». Я хочу вести за собой, а они настаивают — иди следом. Хочу действовать решительно, а они предостерегают об опасности. Хочу многого добиться, а они утешают: возможно, в другой жизни. Я мечтаю о любви — они предрекают несчастье. Я родился под чужим знаком.

На гравийной дорожке, ведущей к крыльцу, послышались шаги, и, мгновение спустя, Люси увидела девочку в голубых джинсах и свободном свитере. В первый момент Люси не узнала её, но потом поняла, что это дочь миссис Никерсон, с которой она познакомилась днём в гостинице. Тони замер и усталился на неё.

— Привет,— поздоровалась девочка, поднимаясь на крыльцо.

У неё была рано сформировавшаяся фигура, голубые джинсы туго обтягивали крепкие бёдра. Люси с раздражением отметила, что несколько прядей у неё на голове высветлены.

— Привет,— повторила девочка; она встала, широко раздвинув ноги и засунув руки в карманы джинсов. Без тени смущения на лице, с самообладанием укротительницы диких зверей, гостя обвела взглядом веранду.

— Меня зовут Сузан Никерсон,— представилась она; закрыв глаза, можно было с уверенностью сказать, что этот голос принадлежит взрослой, к тому же довольно неприятной женщине.— Нас познакомили сегодня днём.

— Конечно, Сузан,— сказала Люси.— Это мой сын Тони.

— Очень рада,— сухо произнесла Сузан.— Я много о тебе слышала.

Джеф скорчил гримасу.

— Миссис Краун, мама послала меня узнать,— сказала Сузан,— не хотите ли вы сыграть сегодня в бридж, нам нужен четвёртый.

Джеф украдкой посмотрел на Люси, затем наклонился и поднял стул, который лежал на веранде.

Люси задумалась. Она представила себе гостиничную веранду с томящимися на ней сезонными вдовами.

— В другой раз, Сузан,— сказала она.— Поблагодари маму за приглашение. Сегодня я устала и хочу пораньше лечь спать.

— Хорошо,— равнодушно сказала Сузан.

— Бридж,— заметил Джеф,— отбросил эту страну назад ещё дальше, чем «сухой закон».

Сузан холодно, изучающе посмотрела на Баннера. Её бесстрастные блестящие голубые глаза напоминали никелевые монетки.

— Я о тебе кое-что знаю,— сообщила она.

Сузан обладала даром произносить самые безобидные слова как обвинение. Люси, отметив это свойство, подумала, что оно пригодится, если девочка когда-нибудь поступит на службу в полицию.

Джеф засмеялся.

— Наверно, будет лучше, если это останется при тебе, Сузан,— сказал он.

— Ты учишься в Дартмуте,— сказала она.— Моя мама находит, что ты красив.

Джеф серьёзно кивнул головой, соглашаясь с мамой девочки.

— А ты сама как считаешь? — спросил он.

— Ты ничего.

Она неопределённо повела округлыми плечами, скрытыми под свободным свитером.

— В кино, однако, тебя сниматься не пригласят.

— Этого я и сам боюсь,— сказал Джеф.— Ты здесь надолго?

— Надеюсь, нет,— ответила девочка.— В Неваде мне больше нравится.

— Почему? — спросил Джеф.

— Там всегда что-то происходит,— сказала Сузан.— Здесь скучно. Не та возрастная группа. Даже фильмы тут крутят только по выходным. Что вы делаете вечерами?

— Мы изучаем звёзды,— сказал Тони, не спуская с неё очарованного взгляда.

— Хм,— сказала Сузан.

Ответ Тони не произвёл на неё впечатления.

Ей не больше четырнадцати, с удивлением и неприязнью подумала Люси, но держится она так, словно привлечь её интерес больше чем на пять минут могут только крайние формы порока.

Тони подошёл к Сузан и протянул ей телескоп.

— Хочешь посмотреть?

Сузан снова пожала плечами.

— Не очень.

Но она всё же взяла трубу и вялым движением поднесла её к глазу.

— Ты когда-нибудь смотрела в телескоп? — спросил Тони.

— Нет, — ответила Сузан.

— В этот можно разглядеть горы на луне, — похвастался Тони.

Сузан неодобрительно, критически посмотрела на луну.

— Понравилось? — тоном хозяина луны спросил Тони.

— Ничего, — сказала Сузан, возвращая трубу. — Луна как луна.

У Джефа вырвался короткий смешок, и Сузан смирла его своим полицейским взглядом.

— Ну, — сказала она, — мне пора. Мама ждёт ответа.

Сузан с непринуждённостью махнула рукой, словно благословляя всех.

— Пока, — сказала она.

— До завтра, — вымолвил Тони, и его стремление скрыть волнение вызвало у Люси прилив жалости.

— Может быть, — усталым голосом сказала Сузан.

Бедный Тони, подумала Люси. Первая девочка, на которую он обратил внимание.

— Рада была с вами познакомиться, — сказала Сузан. — Ну, пока.

Они посмотрели ей вслед. Сузан шла по дорожке, её ягодицы, обтянутые плотной тканью, напоминали два туго накачанных мяча.

Когда девочка скрылась за углом дома, Джеф театрально передёрнул плечами.

— Уверен, её мать — та ещё штучка, — сказал он. — Могу высказать три догадки, зачем эта дама прошлым летом ездила в Неваду.

— Не сплетничай, — сказала Люси. — Тони, сколько можно возиться?

Тони с трудом вернулся в мир взрослых.

— Смешно она выглядит в брюках, правда? Немного тяжеловато

— Иногда, Тони, они тяжелеют прямо на глазах, — сказал Джеф.

У Люси ещё было свежо в памяти нескрываемое пренебрежение Сузан к сыну. Шутка Джефа смутила её. В другой вечер, подумала она, сердясь на Джефа, я бы улыбнулась. Но не сегодня.

— Тони, — сказала она, — укладывайся. Надень пижаму. И не забудь почистить зубы.

Тони не спеша направился в комнату.

— Джеф, — сказал он, — ты мне считаешь, когда я лягу?

— Обязательно.

— Сегодня я сама тебе почитаю, — почти автоматически возразила Люси.

— Мне больше нравится, как читает Джеф.

Тони остановился у двери.

— Он пропускает описания.

— У Джефа сегодня был трудный день, — настаивала Люси, жалея, что начала спор, но не собираясь уступать. — У него, вероятно, свидание или другие дела.

— Нет, — начал Джеф, — я...

— В любом случае, Тони, — приказным тоном, который она почти никогда не употребляла в разговоре с сыном, сказала Люси, — иди надень пижаму. Быстро.

— Хорошо, — обиженно сказал Тони. — Я не хотел...

— А ну живо! — закричала Люси на грани истерики.

Удивлённый, немного испуганный, Тони ушёл в комнату. Люси заметалась по веранде, она сложила в стопку разбросанные журналы, закрыла корзину с шитьём, положила телескоп на стул возле дивана, чувствуя пристальный взгляд Джефа, который что-то напевал себе под нос.

Она остановилась перед ним. Джеф прислонился к столбу на крыльце, голова его была в тени, и только глаза слабо поблескивали.

— Мне не нравится, как ты ведёшь себя при Тони, — сказала она.

— При Тони?

Удивлённый Джеф выпрямился и подошёл к лампе.

— Почему? Я держусь естественно.

— При детях нельзя держаться естественно,— сказала Люси, сознавая, что голос её звучит напряжённо и фальшиво.— Это недопустимо. Твои скользкие шуточки. Твоё притворство...

— Какое притворство?

— Что ты любишь его,— сказала Люси.— Что вы в самом деле ровесники. Что ты хочешь встретиться с ним зимой.

— Но это правда,— сказал Джеф.

— Не лги мне. Ко Дню благодарения ты забудешь его имя. Ты вселяешь в него массу надежд... а осенью Тони будет страдать. Выполняй свою работу,— сказала она,— и всё.

— Насколько я понимаю,— сказал Джеф,— мне поручено сделать так, чтобы Тони почувствовал себя нормальным, здоровым человеком.

— Ты чрезмерно привязал его к себе.

— Послушайте, Люси,— сердито сказал Джеф.

— Зачем? Для чего? — почти кричала Люси.— Из тщеславия? Неужели это так приятно — видеть, как тянется к тебе одинокий больной мальчик? неужели это стоит всех ухищрений? Знак Барана, море Плодородия, жертвоприношения, Дева, зимний карнавал...

Она задыхалась, словно после длительной пробежки, фразы вырывались сквозь рыдания.

— Почему ты не идёшь к себе домой? Почему ты не оставишь нас в покое?

Джеф взял её за кисти рук, она не попыталась освободиться.

— Вы, правда, этого хотите? — спросил он.

— Да,— ответила Люси.— У тебя не тот возраст. Ты слишком взросл для Тони и слишком юн для меня. Найди себе ровесницу.

Она вырвалась резким движением.

— Кого-нибудь, кому ты не причинишь боли,— продолжала она,— партнёра на лето, которого ты забудешь в сентябре точно так же, как ты забудешь нас.

— Люси,— прошептал он.— Прекратите.

— Уходи.

Она едва не плакала.

Он снова схватил её, на этот раз за предплечья, врезаясь пальцами в кожу возле локтей.

— А мне, думаете, каково? — сказал он приглушённым голосом, чтобы его не услышал Тони.— Проводить все дни рядом с вами? Возвращаться домой и лежать без сна, вспоминая прикосновение вашей руки в тот момент, когда я помог вам выбраться из лодки, шуршание вашего платья, когда вы прошли мимо меня к обеденному столу, ваш смех... и не иметь возможности дотронуться до вас, сказать вам... Боль! — неистово прошептал он.— Не говорите мне о боли!

— Пожалуйста,— сказала она,— если ты со всеми так действуешь, если эта отработанная тактика приносит тебе успех у девушек... избавь меня от неё. Избавь.

Его пальцы на мгновение сжались, и ей показалось, что сейчас Джеф тряхнёт её. И тут он отпустил Люси. Они стояли лицом к лицу, и Джеф обратился к ней устало, тихо, без нажима:

— Прошлым летом вы носили большую соломенную шляпу. Под лучами солнца ваше лицо становилось нежно-розовым. С той поры стоит мне увидеть женщину в красной соломенной шляпе, мне кажется, будто кто-то сжимает мне горло...

— Пожалуйста,— сказала Люси,— я прошу последний раз... Найди себе другую девушку. Их тут дюжины. Молодых, свободных девушек, которым не придётся держать перед кем-то ответ, когда лето кончится.

Он посмотрел на неё, затем кивнул, словно соглашаясь.

— Я признаюсь вам кое в чём,— сказал он,— если вы пообещаете не смеяться.

— Хорошо,— в недоумении произнесла Люси.— Я не буду смеяться.

Джеф сделал глубокий вдох.

— Других девушек нет,— сказал он,— и никогда не было.

Люси опустила голову. Она заметила, что одна из пуговиц её блузки расстегнулась. Она медленно застегнула её. Потом, не в силах совладать с собой, начала смеяться.

— Вы же обещали,— с обидой сказал Джеф.

— Извини,— сказала она и подняла глаза, пытаясь сдержать смех.— Я смеюсь

не над тобой. Я смеюсь над собой.

— Почему? — насторожённо спросил он.

— Потому что мы оба такие неловкие,— сказала она,— такие беспомощные, не знаем, как это сделать.

Она серьёзно, в упор посмотрела на Джефа.

— Потому что мы сделаем это,— сказала Люси.

Они постояли секунду молча. Затем Джеф неуверенно потянул её к себе. Люси шагнула вперёд и крепко поцеловала его.

— Люси,— прошептал он и нежно коснулся сзади её шеи.

— А теперь, маленький мальчик,— шутливо, по-матерински сказала Люси, слегка оттолкнув Джефа,— отправляйся-ка в уютный, тёмный пустой домик твоей сестры, садись на крылечко, смотри на луну, думай о более красивых и молодых женщинах, с которыми ты мог бы провести эту ночь,— и жди меня.

Джеф не двинулся с места.

— Вы... вы туда придёте? — недоверчиво спросил он, сбитый с толку неожиданной переменой её настроения.— Вы не шутите? Это не обман?

— Нет, это не обман,— непринуждённым тоном сказала Люси.— Я приду, не бойся.

Джеф попытался снова поцеловать её, но Люси отстранила юношу, покачав головой. Он повернулся, быстро и бесшумно зашагал по росистой траве. Люси проводила его взглядом. Она снова покачала головой, рассеянно подошла к дивану, села, сложив руки на коленях, и стала смотреть на озеро, укутанное туманом. Спустя несколько минут на веранду вышел Тони, в пижаме и халате, с книгой в руке.

— Я принёс книгу,— сказал Тони, переступив порог.

— Хорошо. Ложись в постель.

Тони оглядел веранду, снимая халат.

— А где Джеф?

Люси взяла книгу и села возле дивана, туда, куда падал свет от лампы.

— Ему пришлось уйти,— сказала она.— Джеф вспомнил, что у него свидание.

— А,— разочарованно произнёс Тони.

Положив телескоп возле дивана на расстоянии вытянутой руки, он забрался под одеяло.

— Странно. Мне он ничего об этом не говорил.

— Ты не вправе рассчитывать, что он всё тебе говорит,— спокойно сказала Люси.

Она раскрыла томик «Приключений Гекльберри Финна». Оливер составил для Тони список книг на лето, эта повесть значилась в нём под третьим номером. За ней в списке стояла биография Авраама Линкольна.

— Откуда читать? — спросила Люси.

— Там заложен лист,— сказал Тони.

Он использовал кленовый лист в качестве закладки.

— Нашла,— сказала Люси.

Несколько строк она прочитала про себя, чтобы вспомнить текст; лишь деловитое пение сверчков нарушало тишину.

Тони снял очки и положил их на пол рядом с телескопом. Он поёрзал под одеялом и с наслаждением вытянулся.

— Здорово, правда? — сказал он.— Вот бы было замечательно, если бы лето никогда не кончалось.

— Да, Тони,— согласилась Люси и начала читать.— «Мы вернулись к тому месту, где осталось каноэ, и пока он разводил огонь на лужайке среди деревьев, я принёс продукты, бекон, кофе, кофейник и сковороду, а негр в нерешительности сел поодаль, ему казалось, что тут не обходится без нечистой силы...»

(Продолжение следует)

Из русской философской критики

(Г. П. Федотов о Пушкине)

В творчестве Георгия Петровича Федотова (1886—1951) пушкинистика занимает весьма скромное место. Публикуемые ниже две статьи едва ли не исчерпывают случаи специального обращения философа к личности и творчеству Пушкина. И тем не менее нельзя не пожалеть, что только теперь они приходят к советскому читателю. Настолько интересен критический анализ Федотова, настолько плодотворны его, пусть даже и не всегда бесспорные, построения.

Чем они могут обогатить такую, казалось бы, уже самодостаточную область, как пушкиноведение в его нынешнем состоянии? Именно — своей нетрадиционностью. Десятки лет у нас решали вопрос о том, какая трагическая случайность помешала Пушкину сделаться декабристом. Федотов утверждает: он им и не мог стать ни в каком случае.

Конечно, кому-то сегодня такой образ мыслей не покажется решительно новым. Советская филология в лучших своих образцах (Б. В. Томашевский, Ю. Г. Оксман, Б. Г. Рейзов, И. М. Тойбин, Н. Я. Эйдельман) также подошла к осмыслению феномена пушкинского консерватизма и обогатила эту тему множеством конкретных историко-литературных и общественно-исторических наблюдений. И тем не менее развёрнутый и концептуальный взгляд, какой мы находим в статье Федотова «Певец империи и свободы», для нас и сейчас ещё не теряет прелести новизны. В пору же её появления (1937) он мог бы произвести в Советской России впечатление разорвавшейся бомбы. (Хотя, кстати сказать, для интерпретации общественно-политических воззрений Пушкина та эпоха была не самой худшей. Плащ революционного поэта окончательно был накинут на Пушкина позднее. В 1930-е годы ещё ощущалось, что он тесен, и поэт то и дело клеймился за свои «дворянские и буржуазные предрассудки». При всей вульгарности терминов ощущение нетождественности поэта с революционным демократизмом ещё «смуцало» исследователей.)

Пушкинский консерватизм как вполне определившаяся политическая позиция поэта сложным образом сочетается с его идеалом свободы — вот что убедительно показано Федотовым в «Певце империи и свободы». Философу удалось проследить ростки — хотя и не все — пушкинского консерватизма в раннем творчестве поэта. Правда, он даже несколько переоценивает неблагоприятность воздействия на «медленный, органический рост» пушкинского консерватизма восстания 14 декабря: «Оно сильно запутало и исказило ясность пушкинского пути. Оно заставило поэта принять решение, сделать выбор — для него, быть может, преждевременный. Оно стало исходным пунктом ложного положения, в котором Пушкин мучился всю свою жизнь». Но вспомним, что 13 и 14 декабря, если верить Пушкину, написан «Граф Нулин» с его скепсисом относительно возможности изменить историю с помощью случайного, единичного события, что к тому времени уже были написаны «Замечания на Анналы Тацита», в которых идея исторической необходимости поэтом вполне прочувствована.

Примечательна переключка Г. П. Федотова с С. Л. Франком и П. Б. Струве. В том же 1937 году, когда впервые была опубликована в журнале «Современные записки» статья «Певец империи и свободы» (Париж, № LXIII), в Белграде вышла в свет брошюра Франка «Пушкин как политический мыслитель» с предисловием Струве. Как и Федотов, Франк и Струве шли от определения политического credo Пушкина, данного П. А. Вяземским в позднейшей приписке к его статье о «Цыганах»: «либеральный консерватор». При этом Франк в большей степени сосредоточивался на вопросе о том, как эти два противоположных начала сочетались в сознании Пушкина. «Консерватизм Пушкина, — замечал по этому вопросу философ, — органически связан с этим его либерализмом через идею, что свобода духовной жизни и культуры обеспечивается именно блюдением культурной преемственности общественных слов, которые являются её носителями. Требование уважения к родовому дворянству имеет в этой связи не только консервативный, но и либеральный смысл. Наследственное дворянство есть, по мысли Пушкина, твердыня, ограждающая начала духовной независимости в государственно-политической жизни» (цит. по: С. Л. Франк. «Этюды о Пушкине». 3-е изд. Париж, 1987, с. 52).

При всех оттенках в трактовке политических взглядов поэта оба исследователя исходят из сформулированной Франком потребности «научиться наконец добросовестно и духовно свободно понимать и оценивать политическое мировоззрение Пушкина, вникая в него *sine ira et*

*studio*¹ как в изумительное творческое явление русской мысли» (там же, с. 30).

Не потеряла своей актуальности и вторая публикуемая статья — «О гуманизме Пушкина» (впервые: «Новое Русское Слово». Нью-Йорк, 8 мая 1948). Совсем нелишне напомнить, как это делает Федотов, что «природный» Пушкин — это «Пушкин, созданный европейским гуманизмом», который (гуманизм — в точном, «возрожденческом» смысле) умерялся «христианскими влияниями», почерпнутыми, по Федотову, из «подпочвы русской жизни». И даже в позднем творчестве поэта эти противоположные начала не взаимоуничтожались, а скорее стремились к гармоническому равновесию.

Тексты статей приводятся по изд.: Федотов Г. П. «Новый град». Сборник статей. Под ред. Ю. П. Иваска. Нью-Йорк, 1952, с. 243—273.

Г. П. Федотов

Певец империи и свободы

Как не выкинешь слова из песни, так не выкинешь политики из жизни и песен Пушкина. Хотим мы этого или не хотим, но имя Пушкина остаётся связанным с историей русского политического сознания. В 20-е годы вся либеральная Россия декламировала его революционные стихи. До самой смерти поэт несёт последствия юношеских увлечений. Дважды изгнанник, вечный поднадзорный, он оставался, в глазах правительства, всегда опасным, всегда духовно связанным с ненавистным декабризмом. И, как бы ни изменились его взгляды в 30-е годы, на предсмертном своём памятнике он всё же высек слова о свободе, им восславленной.

Пушкин-консерватор не менее Пушкина-революционера живёт в кругу политических интересов. Его письма, его заметки, исторические темы его произведений об этом свидетельствуют. Конечно, поэт никогда не был политиком (как не был учёным историком). Но у него был орган политического восприятия, в благороднейшем смысле слова (как и восприятия исторического). Утверждая идеал жреческого, аполитического служения поэта, он наполовину обманывал себя. Он никогда не был тем отрешённым жрецом красоты, каким порой хотел казаться. Он с удовольствием брался за метлу и политической эпиграммы и журнальной критики. А главное, в нём всегда были живы нравственные основы, из которых вырастают политическая совесть и политическое волнение. Во всяком случае, в его храме Аполлона было два алтаря: России и свободы.

Могло ли быть иначе при его цельности, при его укоренённости во всеединстве, выражаясь языком ненавистной ему фило-

софии? Пушкин никогда не отделил своей личности от мира, от России, от народа и государства русского. В то же время его живое нравственное сознание, хотя и подчинённое эстетическому, не позволяло принять всё действительное как разумное. Отсюда революционность его юных лет и умеренная оппозиция режиму Николая I. Но главное, поэт не мог никогда и ни при каких обстоятельствах отречься от того, что составляло основу его духа, от свободы. Свобода и Россия — это два метафизических корня, из которых вырастает его личность.

Но Россия была дана Пушкину не только в аспекте женственном — природы, народности, как для Некрасова или Блока, но и в мужском — государства, Империи. С другой стороны, свобода, личная, творческая, стремилась к своему политическому выражению. Так само собой даётся одно из главных силовых напряжений пушкинского творчества: Империя и Свобода.

Замечательно: как только Пушкин закрыл глаза, разрыв империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. В течение целого столетия люди, которые строили или поддерживали империю, гнали свободу, а люди, борющиеся за свободу, разрушали империю. Этого самоубийственного разлада — духа и силы — не могла выдержать монархическая государственность. Тяжкий обвал императорской России есть прежде всего следствие этого внутреннего рака, её раздавшего. Консервативная, свободо-ненавистническая Россия окружала Пушкина в его последние годы; она создавала тот политический воздух, которым он дышал, в котором он порой задыхался. Свободо-

¹ без гнева и пристрастия (лат.).

любивая, но безгосударственная Россия рождается в те же тридцатые годы с кружком Герцена, с письмами Чаадаева. С весьма малой погрешностью можно утверждать: русская интеллигенция рождается в год смерти Пушкина. Вольнодумец, бунтарь, декабрист, — Пушкин ни в одно мгновение своей жизни не может быть поставлен в связь с этой замечательной исторической формацией — русской интеллигенцией. Всеми своими корнями он уходит в XVIII век, который им заканчивается. К нему самому можно приложить его любимое имя:

Сей остальной из стаи славных
Екатерининских орлов¹.

Изучая движение обеих политических тем Пушкина, мы видим, что одна из них не перестаёт изменяться, постоянно сдвигает своих грани и в общем указывает на определённую эволюцию. Выражаясь очень грубо, Пушкин из революционера становится консерватором. 14 декабря 1825 года, столь же грубо, можно считать главной политической вехой на его пути. Мы постараемся лишь показать, что, как в декабрьские свои годы Пушкин не походил на классического революционного героя, так и в николаевское время, отрекшись от революции, он не отрекался от свободы. Сама свобода лишь менялась в своём содержании. Зато другая тема, тема империи, остаётся неизменной. Это константа его творчества. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два «Воспоминания в Царском селе». Одно лицейское 1814-го года, то самое, которое он читал на экзамене перед Державиным, другое — 1829 г., по возвращении, после долгих лет изгнания, в священные сердцу места. При всём огромном различии художественной формы тема не изменилась; остались те же сочетания образов: «великая жена», Кагульский памятник, столь дорогой ему по воспоминаниям отроческой любви.

Увы, промчались те времена златые,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия, —

вздыхает отрок. И зрелый Пушкин отвечает:

Ещё исполнены великою Женою
Её любимые сады.
Стоят населены чертогами, столпами,
Гробницами друзей, кумирами богов,
И славой мраморной и медными хвалами
Екатерининских орлов.

Героические воспоминания минувшего века окружают детство Пушкина. Летопись побед России воплощается в незабываемых памятниках, рассеянных в чудесных садах Екатерины. Личная биография поэта на заре его жизни сливается с историей России: её не вырвать из сердца, как первую любовь.

Гроза 12 года глубоко взволновала царскосельский лицей. Для Пушкина она навсегда осталась источником вдохновения. Но замечательно, что за ней он прозревал век ещё более могучий, которого последними отпрысками были герои 12 года. Слагая оды Кутузову, Барклаю-де-Толли, он их видит на фоне восемнадцатого века. Таков же для него и генерал Раевский — «свидетель екатерининского века» прежде всего, и уже потом «памятник 12 года»². Пушкин никогда не терял случая собирать живые воспоминания прошлого века — века славы — из уст его последних представителей. Таковы для него старый Раевский, кн. Юсупов, Мордвинов, фрейлина Н. К. Загряжская, разговоры с которой он тщательно записывал.

Нахлынувшие в молодости революционные настроения нисколько не поколебали у Пушкина этого отношения к империи — не только в прошлом её великокопеей, но и в живой её традиции, в настоящей борьбе за экспансию. Чрезвычайно интересно изучать то, что можно назвать имперскими концовками в его ранних, так называемых байронических поэмах: в «Кавказском пленнике», в «Цыганах» — там, где мы их менее всего ожидаем. Казалось бы, на Кавказе сочувствие мятежного поэта должны были привлечь вольнолюбивые горцы, отстаивавшие свою свободу от наступающей России. Ведь для пленника в жизни нет ничего выше свободы:

Свобода, он одной тебя
Ещё искал в подлунном свете...

Байрон — и Вальтер Скотт — конечно, встали бы на сторону горцев. Но Пушкин не мог изменить России. Его сочувствие раздваивается между церкесами и казаками. Чтобы примирить своё сердце с имперским сознанием, — свободу со славою, — он делает русского пленником и подчёркивает жестокость диких сынов Кавказа. Тогда казацкие линии и русские штыки становятся сами символом свободы:

Тропой далёкой
Освобождённый пленник шёл,

И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штuki,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

Не довольствуясь этим завершающим аккордом, поэт слагает в Эпиллоге гимн завоевателям Кавказа — Цицианову, Котляревскому, Ермолову, не щадя жестоких красок, не смягчая исторической правды. Особенно ужасным встаёт Котляревский — «бич Кавказа». Стихи, ему посвящённые:

Твой ход, как чёрная зараза,
Губил, ничтожил племена,—

вызвали в своё время гуманные и справедливые замечания кн. Вяземского: «Мне жаль, что Пушкин окровавил стихи своей повестью... Гимн поэта никогда не должен быть славословием резни».

Здесь, несомненно, налицо погрешность против нравственного, а следовательно, и художественного такта. Это юношеское увлечение насилием в гимне империи находит свою параллель в оде «Вольность» — гимне свободе.

Зато в зрелых, почти совершенных «Цыганах» «имперская концовка» даёт настоящее разрешение пронёсшейся буре губительных страстей. Над личной трагедией проносится, как примиряющее и возвышающее воспоминание:

В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал...
Где старый наш орёл двуглавый
Ещё шумит минувшей славой...

В «Полтаве», в «Медном всаднике» тема Империи уже не концовка и не орнамент; она составляет самую душу поэм: заглавия об этом свидетельствуют. В «Полтаве» Пётр, истинный её герой, подавляет своим грозным величием трагических любовников:

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

Этот памятник, с теми же аполлиническими и грозными чертами императора, оживает и в петербургской поэме. В «Медном всаднике» не два действующих лица, как часто утверждали, давая им символическое значение: Пётр и Евгений, государство и личность. Из-за них явственно встаёт образ третьей, безликой силы: это стихия разбушевавшейся Невы, их общий враг, изображению которого посвящена большая часть поэмы. И какое это изо-

бражение! Нева кажется почти живой, одушевлённой, злой силой:

Осада, приступ! Злые волны,
Как воры, лезут в окна...

Продолжая традиционную символику — законную, ибо Всадник, несомненно, символ Империи, как назвать эту третью силу — стихии? Ясно, что это тот самый змей, которого топчет под своими копытами всадник Фальконета. Но кто он или что он? Теперь, в свете торжествующей революции, слишком соблазнительно увидеть в этой стихии революцию, обуздываемую царём. Но о какой стихийной революции мог думать Пушкин? Уж, конечно, не стихийным было 14 декабря. Пугачёвщина скорее напоминает разлив воли. Но и это толкование было бы слишком узким. Для Фальконета, как для людей XVIII века, змей означал начало тьмы и косности, с которым борется Пётр: скорее всего старую, московскую Русь. Мы можем расширить это понимание: змей или наводнение — это всё иррациональное, слепое в русской жизни, что, обуздываемое Аполлоном, всегда готово прорваться: в сектантстве, в нигилизме, в черносотенстве, в бунте. Русская жизнь и русская государственность — непрерывное и мучительное преодоление хаоса началом разума и воли. В этом и заключается для Пушкина смысл империи. А Евгений, несчастная жертва борьбы двух начал русской жизни, — это не личность, а всего лишь обыватель, гибнущий под копытом коня империи или в волнах революции.

Конечно, и Всадник империи имеет в себе нечто демоническое, бесчеловечное:

Ужасен он в окрестной мгле.

Называя его «кумиром», поэт подчёркивает языческую природу государства. Пусть ужасный лик Петра в «Полтаве» божествен:

Он весь как Божия гроза.

Но что это за божество? Кто это «бог браней» со своей благодатью? Не Аполлон ли, раз навсегда смутивший воображение отрока поэта? «Дельфийский идол», «полон гордости ужасной» и дышащий «неземной силой».

Бесполезно было бы до конца этизировать аполлинический эрос империи, которым живёт Пушкин. Мы уже видели срыв военных строф «Кавказского пленника». Этот срыв неизбежен в песнях вой-

ность своего творимого Петра: подобно тому, как низость Екатерины, прекрасно ему известная, не пятнает образа «Великой Жены»⁴ в его искусстве. Низкие истины остаются на страницах записных книжек. В своей поэзии — включая и прозаическую поэзию — Пушкин чит в венценосах XVIII века — более в Петре, конечно, — творцов русской славы и русской культуры. Но тогда нет ничего несовместимого между империей и свободой. Мы понимаем, почему Пушкину так легко дался этот синтез, который был почти неосуществим после него. В исторических заметках 1822 г. Пушкин выразился о своём императоре: «Пётр I-ый не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения»... В другом месте назвал его «*révolution incarnée*»⁵, со всей двойственностью смысла, который Пушкин — и мы — вкладываем в это слово.

* * *

Свобода принадлежит к основным стихиям пушкинского творчества и, конечно, его духовного существа. Без свободы немислим Пушкин, и значение её выходит далеко за пределы политических настроений поэта. В известном «Демоне» 1823 г. Пушкин даёт такой инвентарь своих юношеских — и, на самом деле, постоянных, всегдашних — святынь:

Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь...

При видимой небрежности этого списка он отличается исчерпывающей полнотой. Чем больше думаешь, тем больше убеждаешься, что к этим четырём «чувствам» сводится всё откровение пушкинского гуманизма. Свобода, слава, любовь и творчество — это его *virtutes cardinales*, говоря по-католически. Правда, это ещё не весь поэт. Пушкину не чужды и *virtutes theologales*, на которые он бросает намёк в «Памятнике»: «милость к падшим». Чем дольше Пушкин живёт, тем глубже прорастают в нём христианские семена (последние песни «Онегина», «Капитанская дочка»). Но «природный» Пушкин — иначе говоря, Пушкин, созданный европейским гуманизмом, — живёт этими четырьмя заветами: свободой, славой, любовью, вдохновением. Он никогда не изменяет ни одному из них, но если можно говорить об известной иерархичности, то выше других для него свобода и творчество.

Он может, во имя свободы, указать на двери любви:

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица...

И во имя её же поставить славу рядом с рабством:

Рабства грозный гений
И Славы роковая страсть...

Но никогда, ни на одно мгновение своей жизни Пушкин не может отречься ни от свободы, ни от творчества.

Следя за темой империи у Пушкина, мы, в сущности, следим за политической проекцией его «славы». Приступая к свободе, не будем сразу ограничивать её политическими рамками. Движение этой темы у Пушкина, во всей её полноте, может многое уяснить в изменчивой судьбе его политической свободы.

«Свобода, вольность, воля»... особенно «свободный, вольный»... нет слов, которые чаще бросались бы в глаза при чтении Пушкина. Пожалуй, они встречаются так часто, что мы к ним привыкаем, и они перестают звучать для нас (в этом омертвлении привычного совершенства главная причина нередкой у нас холодности к Пушкину). Осознаём ли мы вполне смысл таких строк:

Как вольность, весел их ночлег?..

Чувствуем ли мы всю странность этого образа:

под отдалённым сводом
Гуляет вольная луна⁶,—

издевающегося над всеми законами астрономии?

В невиннейшей «Птичке» способны ли мы, подобно умному цензору, разглядеть серьёзность и почти религиозную силу пушкинского свободолобия:

За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать?

В чём только, в каких образах Пушкин не искал воплощения своей свободы! В вине и пирах, в орле, «вскормленном на воле», и в беззаботной «птичке Божией», в волнуемом море (это один из главных ликов свободы) и в линии снеговых гор. Свободе посвящены всецело поэмы (помимо неудавшегося юношеского «Вадима»): «Братья-разбойники», «Кавказский пленник», «Цыганы». Из поздних свобода, ко-

нечно, одушевляет «Анжело».

Но, в отличие от темы империи, тема свободы непрестанно движется. Пушкин не только находит всё новые её воплощения: от иных он отрекается, хотя у Пушкина отречение никогда не бесповоротно. За сменой форм ясно изменение в самой природе пушкинской свободы: не только в творчестве, но и в живой личности поэта.

В лицейские и ранние петербургские годы свобода впервые открылась Пушкину в своеволии разгула, за стаканом вина, в ветреном волокитстве, овеванном музой XVIII века. Парни и Богданович стоят, увы, восприимчивыми свободы Пушкина, как Державин — его империи. Но уже восходит звезда Шенье, и поэт Вакха и Киприды становится поэтом «Вольности». Юношеский протест против всякой тирании получает свою первую «сублимацию» в политической музе. В сознании юного Пушкина его политические стихи — серьёзное служение. В них дышит подлинная страсть и торжественные классические одежды столь же идут к ним, как и к революционным композициям Давида. Но у Шенье есть и другой соперник: Байрон. Политическая свобода в лире Пушкина, несомненно, созвучна той мятежной волне страстей, которая владеет им, хотя и не всецело, в начале 20-х годов: тот же взрыв порабощённых чувств, та же суровая энергия, та же мрачность, заволакивающая на время лазурь. В эти годы, на юге, море («свободная стихия») становится символом этой страстной, стихийной свободы, сливаясь с образами Байрона и Наполеона. Но как близок катарсис, аполлиническое очищение от страстей! В «Цыганах» мы имеем замечательное осложнение темы свободы, в которой Пушкин совершает над собой творческий суд: свободу мятежную он судит во имя всё той же, но высшей свободы.

Алеко порвал «оковы просвещения», «неволюдушных городов», и это первое освобождение — байроническое — остаётся непререкаемым. Он прав в своём бунте против цепей условной цивилизации. Он ищет под степными шатрами свободы и не находит. Почему? Пушкин верит или хочет верить, что «бродячая бедность» цыган и есть желанная «воля»:

Здесь люди вольны, небо ясно...

Но этой ясности Алеко не дано. Он несёт в себе свою собственную неволю. Он раб страстей:

Но, Боже, как играли страсти
Его по сл у ш н о ю душой.

Грех Алеко в «Цыганах» не столько против милосердия, сколько против свободы.

Ты не рождён для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли.

Порвавшему оковы закона необходимо второе освобождение — от страстей, на которое Алеко не способен. Способны ли на это сыны степей? Поэту кажется, что да. В цыганской вольности даются два ответа на роковой вопрос: лёгкость изменчивой Земфиры, этой пушкинской Кармен, и светлая мудрость старика, который из отречения своей жизни выносит то же благословение природной, изменчивой любви:

вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?

В оптимизме старика цыгана слышатся отзвуки Руссо. Но отдавая дань и здесь XVIII веку, Пушкин всё же сомневается в его правде. Один ли Алеко, чужак, угрожает счастью детей природы? Последние звуки полны безысходного, совершенно античного трагизма:

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Очищение Пушкина от «роковых страстей» протекает параллельно с изживанием революционной страстности. Это первый серьёзный кризис его «свободы», о котором дальше. Прощание с морем в 1824 году не простая разлука уезжающего на север Пушкина. Это внутреннее прощание с Байроном, революцией — всё ещё дорогими, но ужеходящими вдаль, но уже невозможными.

С тех пор, на севере, свобода Пушкина всё более утрачивает свой страстный, дионисический характер. Она становится трезвее, прохладнее, чище. Она всё более означает для Пушкина свободу творческого досуга. Её всё более приходится отстаивать от утилитаризма толпы, от большого света, в который вошёл Пушкин. Она расцветает чаще всего осенью: уже не море, а русская деревня, Михайловское, Болдино являются пестунами её. Свобода Пушкина становится символом независимости. Такова её, приправленная горечью, последняя декларация (так наз. «Из Пиндемонта»):

Иная, лучшая потребна мне свобода...
Никому

Отчёта не давать; себе лишь самому
Служить и угождать...
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданными искусствами и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиления —
Вот счастье! Вот права...

Но если здесь свобода как бы снижает-ся до себялюбия, до индивидуалистического отъединения от мира людей, то на противоположном полюсе она начинает для Пушкина звучать религиозно. Не смея касаться мимоходом чрезвычайно сложного вопроса о пушкинской религиозности, не могу не отметить, что во всех, не очень частых высказываниях Пушкина, в которых можно видеть отражение его религиозных настроений, они всегда связаны с ощущением свободы. В этом самое сильное свидетельство о свободе как метафизической основе его жизни. Религия предстает ему не в образе морального закона, не в зовах таинственного мира и не в эресе сверхземной любви, а в чаянии последнего освобождения.

Так он вздыхает, заглядевшись на монастырь в горах Кавказа (1829):

Туда, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной высоте,
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Здесь важна интуиция Пушкина, что Бог живёт в царстве свободы и что приближение к Нему освобождает.

Переводя из Беньяна (1834) начало его суровой пуританской поэмы, весьма далёкой от всякого чувства свободы, Пушкин роняет стих, который, очевидно, имеет для него особое значение:

Как раб, замысливающий отчаянный
побег,⁷ —

для выражения аскетического отречения от мира.

Даже предлагая монашескую, покаянную, великопостную молитву, Пушкин вкладывает в неё тот же лёгкий, освобождающий смысл:

Чтоб сердцем возлетать во области
заочны⁸...

И наконец, накануне смерти, в послании к жене он оставляет своё последнее завещание свободы, в котором явно сли-

ваются образы Беньянского беглеца и монастыря на Кавказе.

На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля,
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.⁹

* * *

Вглядимся пристальнее в ту линию, которую на общем фоне пушкинского свободолюбия описывает кривая его политической свободы, — свободы, сопряженной с империей.

Пушкин начинает с гимнов революции. Напрасно трактуют их иногда как вещи слабые и не заслуживающие внимания. «Кинжал» прекрасен, и послание к Чаадаеву принадлежит к лучшим и, что удивительно, совершенно зрелым (1818) созданиям Пушкина. Среди современных им вакхических и вольтерьянских шалостей пера революционные гимны Пушкина поражают своей глубокой серьёзностью. Замечательно то, что в них выражается не одно лишь кипение революционных страстей, но явственно дан и их интерес. Чувствуется, что не Байрон, а аполлинический Шенье и Державин водили пушкинским пером. А за умеряющим влиянием Аполлона как не почувствовать его собственного благородного сердца?

Конечно, срывы есть. Дионисическая стихия мятежа иногда захлёстывает, и муза поэта, как в кавказском гимне Цицианову, поёт кровь. Строфа из «Вольности»: «Самовластительный злодей» и т. д., которая читается теперь как проклятие, исполнившееся через 100 лет, конечно, ужасна. Но дочитаем до конца. Поэт, только что выразивший свою радость по поводу убийства Павла, рисует сцену 11 марта:

О стыд! О ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!
Падут бесславные удары —
Погиб увенчанный злодей!

Нравственное сознание торжествует здесь над политическим удовлетворением. Убитый тиран и убийцы-звери одинаково отвратительны поэту. Не находит оправдания в его глазах и казнь Людовика, жертвы предков. Правда, он воспевает кинжал, т. е. террор, т. е. убийство. Но здесь слабый убивает сильного, свободная личность восстаёт против тирана. Принимая войну и рыцарский поединок, Пушкин не мог возражать против тирано-

убийства. Но посмотрите, как нелюбопытно наносит он свои удары. Его герои — Брут, Шарлотта Корде, Георг Занд. Убийца императора рядом с убийцей революционного тирана. В «Вольности» народы и цари одинаково подвластны Закону:

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль Народу, иль Царям
Законом властвовать возможно!

Призыв к «восстанию рабов», угрозы смертию тиранам кончаются идеалом законной, конституционной монархии:

И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Если это декабризм, то декабризм конституционный, Никиты Муравьева, а не Пестеля.

«Деревня» рисует крепостное рабство в России мрачными, тяжёлыми красками. Таким видел его Радищев. Злодейства господ, изображённые здесь, как будто вопиют о мести. Восстание угнетённых было бы в этом случае естественным, даже с художественной точки зрения, разрешением. Но мы знаем, как кончает Пушкин: падением рабства «по манию царя» и зарёй «просвещённой свободы».

Отметим также, что, хотя Пушкин поёт о страданиях народа и грозит его притеснителям, ничто не позволяет назвать его демократом. Свобода его ещё не эгоистична, она для всех. Но опасность грозит ей одинаково и от царей, и от самих народов. Для Пушкина драгоценна именно вольность народа, а не его власть. Это чрезвычайно существенно для понимания политической эволюции Пушкина. Его отход от революции вытекает из разочарования не в свободе, а в народе как в недостойном носителе свободы.

Мы сказали, что освобождение Пушкина от революционных страстей протекает параллельно с его очищением от страстей байронических. Байрон был для него и политическим героем, борцом за свободу Греции. Кризис настал, или был ускорен, в связи с политическими событиями в Европе. 1820-й год ознаменовался рядом восстаний, угрожавших взорвать реакционный порядок, установленный Священным Союзом. В Испании, в Неаполе, в Германии происходят народные движения, на которые Пушкин и его друзья отзываются радостными надеждами. В Кишинёве Пушкин сам присутствует при начале греческого восстания и восторженно провожает на войну героев гетерии.

Поражение всех этих революционных вспышек оставило в поэте горький осадок. По отношению к грекам оно обострилось ещё разочарованием в них, как в народе, недостойном великих предков. В конце 1823 г. этот кризис нашёл себе горькое и сильное выражение в известных стихах:

Свободы сеятель пустынный,—
Я вышел рано, до звезды.

Пушкин сознаёт себя сеятелем свободы, серьёзно относясь к своему революционному призванию. Но он приходит к сознанию бесполезности своих — и общих — усилий:

Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не забудит чести клич!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь!

Жестокие слова, срывающиеся из-под пера (снова срыв) — не проклятие свободы, а проклятие рабам, не умеющим за неё бороться. Но это поворотный момент. Здесь, а не 14 декабря 1825 г., первое рождение пушкинского консерватизма. Не отрекаясь от идеала свободы, он уже поражён горечью её неосуществимости. Его консервативное сознание впервые рождается из скептицизма. Это подтверждается обращённым к А. Н. Раевскому «Демоном», написанным в те же дни.

«Неистощимой клеветой» искуситель отрицает все святыни, на которых покоилась религия пушкинского гуманизма:

Он вдохновенье презирал,
Не верил он любви, свободе...

Отрицание свободы для Пушкина равносильно с клеветой на Провидение. И тем не менее Пушкин признаётся, что он подпадает под власть этих искушений («вливая в душу холодный яд»).

Свобода не теряет для Пушкина своей священности в то время, когда он прощался с ней. Его последнее обращение к морю, как мы указали уже, имеет своей темой свободу, т. е. ту мятежную, революционную стихию, к которой он рвался так страстно — в греческом ли восстании или в декабристском заговоре. Но об этой ли «свободной стихии» Пушкин мечтает, бессознательно (как бы обертоном), говоря о своих несбывшихся надеждах:

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег...

Эта твёрдая почва, на которой он стоит,— почва России, быта, консерватизма,— не имеет ещё для него ни малейшей прелести. Но свобода неосуществима, и мир постыл — именно потому, что в нём нет места свободе:

Мир опустел...
Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, или тиран¹⁰.

Эту мысль он повторяет — только с ещё большей горечью, на этот раз обращённой к самой изменчивой стихии моря — в 1826 г. в письме к кн. П. А. Вяземскому:

Не славь его! В наш гнусный век
Седой Нептун — земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Хорошо известен политический намёк, заключающийся в этих словах (слух об аресте Н. И. Тургенева), и совершенно ясно, что, обвиняя море, Пушкин ещё не предпочитает ему суши, и что величайшими преступлениями для него являются те, которые совершаются против свободы.

Много лет пройдёт, пока в «Медном Всаднике» (1832) Пушкин не увидит в ярости бушующей водной стихии — злую силу, и не станет против неё с Петром:

Да умирится же с тобой
И побеждённая стихия!

Что в Пушкине жив, и после прощания с морем, этос свободы, хорошо видно из «Андрея Шенье», написанного им «на суше», в Михайловском, в период «Бориса Годунова» (1825). Это стихотворение совершенно подобно «Вольности» и «Кинжалу» в своей двусторонней направленности против тирании царей и народа. Замечательно, что гибнувший под революционным топором поэт — а с ним и Пушкин — не смеет бросить обвинения самой свободе, во имя которой неистовствуют палачи:

Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, не виновна ты...

В 1825 г. Пушкин на распутье. Позади море, юг, революция — перед ним Михайловское, деревня, Россия. Нет сомнения, что его развитие в сторону «свободного консерватизма» было предопределено. Но в этот медленный, органический рост его нового чувства России 14-ое декабря упало, как молния. Оно сильно

запутало и исказило ясность пушкинского пути. Оно заставило поэта принять решение, сделать выбор — для него, быть может, преждевременный. Оно стало исходным пунктом ложного положения, в котором Пушкин мучился всю свою жизнь. Это положение можно было бы охарактеризовать кратко: поднадзорный камерюнкер, или певец империи, преследуемый до самого конца за неистребимый дух свободы.

Корни пушкинского консерватизма — вполне предопределённого — многообразны и сложны. В главном он связан, конечно, с «поумнением» Пушкина: с возросшим опытом, с трезвым взглядом на Россию, на её политические возможности, на роль её исторической власти. Личный опыт и личный ум при этом оказываются в гармонии с основным и мощным потоком русской мысли. Это течение — от Карамзина к Погодину — легко забывается нами за блестящей вспышкой либерализма 20-х годов. А между тем национально-консервативное течение было, несомненно, и более глубоким и органически выросшим. Оно являлось прежде всего реакцией на европеизм XVIII века, могущественно поддержанной атмосферой 1812 года. У его истоков «История Государства Российского», в завершении — русские песни Киреевского, словарь Даля, молодая русская этнография Николаевских лет. «Народность» не была только официальным лозунгом гр. Уварова. Она удовлетворяла глубокой национальной потребности общества. И Пушкин принял участие в творческом изучении русской народности как собиратель народных песен, как создатель «Бориса Годунова» и «Русалки». Мы понимаем, почему он был ближе по своим сочувствиям к Карамзину (несмотря на юношескую эпиграмму), чем к Каченовскому, к Погодину, чем к Полевому.

Но к этим органическим и оправданным мотивам историческая случайность (14-ое декабря) присоединяет другие, менее чистые. С одним мы уже познакомились: это скептицизм. Другой — явно и болезненно для нас встаёт в его письмах: это его естественная, но отнюдь не героическая потребность — определить как можно скорее свою судьбу, вырваться из Михайловского, покончить с прошлым, вступить с правительством в лояльные, договорные отношения. Замечательно, что и этот мотив восходит всё к той же свободе — на этот раз личной свободе. Пушкин жаждет вырваться из ссылки какой бы то ни было ценой: не удастся бегство

из России, эмиграция,— остаётся договориться с царём. В этих переговорах все преимущества были на стороне императора. Николай I показал себя, как в отношениях с декабристами, превосходным актёром, и Пушкин запутался в сетях царя.

Есть полная и печальная аналогия между отношением Пушкина к Н. Н. Гончаровой и отношением его к Николаю. Пушкин был прельщён и порабощён навсегда — в одном случае бездушной красотой, в другом — бездушной силой. С доверчивостью и беззащитностью поэта, Пушкин увидел в одной идеал Мадонны, в другом — Великого Петра. И отдал себя обоим добровольно, связав себя словом, обетом верности, обрекавших его на жизнь, полную мелких терзаний и бессмысленных унижений.

Но как понятен источник роковой ошибки. Поэт, наскучивший своей бездомностью и скитальчеством, хочет иметь родину, семью, быть певцом родной земли и вкусить лояльной, не блуждающей любви. Возьмём первую тему. Доселе он воспевал императоров XVIII века, носителей свободы, и проклинал царей своего времени — Павла, Александра, изменивших ей. Почему же новый царь не может вернуться к благородной традиции свободолюбивой империи? Пушкин не изменяет себе, он лишь хочет сковать в одно две свои верности, две политических темы своей музыки: империю и свободу. «Стансы» Николаю, его поэтический договор с царём, где он предлагает ему идеал Петра, — разве это измена? Пушкин долго живёт надеждами, ловит в словах нового самодержца проблески просвещённой воли; ошибаясь, бранится, протестирует, но не разрывает новой лояльности.

Впрочем, отношения Пушкина к Николаю I слишком сложны, чтобы их исчерпать в нескольких строках. Столь же сложен стал образ свободы у Пушкина в последнее десятилетие его жизни. С уверенностью можно сказать, что поэт никогда не изменил ей. Со всей силой он утверждает её для своего творчества. Тема свободы поэта «чёрни», общественного мнения, от властей и народа, становится преобладающей в его общественной лирике. Иной раз она звучит лично, эгоистически: «себе лишь одному служить и угодять», иной раз пророчески-самотверженно. Но рядом с этой личной свободой поэта не умирает, хотя и приглушается, другая, политическая тема. Всё чаще она, никогда не имевшая демократического характера, получает аристокра-

тическое обличье. Впрочем, этот аристократический либерализм Пушкина оставил больше следов в его заметках и письмах (рассуждения о дворянстве, замечания вел. кн. Михаилу Николаевичу о Романовых-niveleurs)¹¹, чем в поэзии. Нельзя, впрочем, не найти в «Борисе Годунове» отражения собственных политических идей поэта хотя бы в словах фрондирующего Пушкина, его предка, или в похвалах кн. Курбскому.

Наконец, нельзя не видеть сжатого под очень высоким «имперским» давлением пафоса свободы в пушкинском «Пугачёве». Не случайно, конечно, Стенька Разин и Пугачёв, наряду с Петром Великим, более всего влекли к себе историческую лиру Пушкина. В зрелые годы он никогда не стал бы певцом русского бунта, «бессмысленного и беспощадного». Но он и не пожелал бросить Пугачёва под ноги Михельсону и даже Суворову. В «Капитанской дочке» два политических центра: Пугачёв и Екатерина, и оба они нарисованы с явным сочувствием. Пушкин, бесспорно, любил Пугачёва за то же, за что он любил Байрона и Наполеона: за смелость, за силу, за проблески великодушия. Пугачёв, рассказывающий с «диким вдохновением» калмыцкую сказку об орле и вороне: «чем триста лет питаться падалью, лучше один раз выпить живой крови», — это ключ к пушкинскому увлечению. Оно порукой за то, что Пушкин, строитель русской империи, никогда не мог бы сбросить со счетов русской, хотя бы и дикой, воли. Русская воля и западное просвещение проводят грань между пушкинским консерватизмом, его империей, и Николаевским или Погодинским государством Российским.

Конечно, Пушкин не политик и не всегда сводит концы с концами. Есть у него грехи и прегрешения против свободы — и даже довольно тяжкие. Такого его удовлетворение по поводу закрытия журнала Полевого или защита цензуры в антирадищевских «Мыслях по дороге». Но все эти промахи и обмолвки исчезают перед его основной лояльностью. Никогда, ни единым словом он не предал и не отрёкся от друзей своей юности — декабристов, — как не отрёкся от А. Шенье и от Байрона. Никогда сознательно Пушкин не переходил в стан врагов свободы и не становился певцом реакции. В конце концов кн. Вяземский был совершенно прав, назвав политическое направление зрелого Пушкина «свободным консерватизмом». С именем свободы на устах Пушкин и умер: политической свободы в своём «Па-

мятнике», духовной — в стихах к жене о «покое и воле». Пусть чаемый им синтез империи и свободы не осуществился — даже в его творчестве, ещё менее в русской жизни; пусть Российская империя погибла, не решив этой пушкинской задачи. Она стоит и перед нами, как перед всеми

будущими поколениями, теперь ещё более трудная, чем когда-либо, но непреложная, неотвратимая. Россия не будет жить, если не исполнит завещания своего поэта, если не одухотворит тяжесть своей вновь воздвигаемой Империи крылатой свободой.

О гуманизме Пушкина

*Пушкин! Тайную свободу
Пели мы во след тебе.
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!*

А. Блок (1921)

Не всем и не во всём может помочь Пушкин. Блоку, пожалуй, он уже не мог помочь, как и большинству модернистов нашего фашистского и префашистского времени. Им нужны иные, более могущественные средства, чтобы спасти их от разложения. Но я принадлежу к тому поколению, или душевной формации, для которых Пушкин ещё не утратил своей целебной и возрождающей силы. В часы тоски и отчаяния, сомнений в человеке и человечестве мы раскрываем Пушкина, всё равно на какой странице, и медленно пьём — как назвать этот напиток? — не воду, конечно, но и не вино, — а какой-то божественный нектар, который вливает успокоение, надежду и любовь к человеку. Словом, Пушкин для нас это то, чем был для Тургенева русский язык, уже не целебный для нас с тех пор, как мы узнали всю ту меру или безмерность лжи, какую он способен нести в мир. Но Пушкин жив, и пока он жив, ещё не умер гуманизм, ибо Пушкин и есть наш великий гуманист, в каком-то смысле, может быть, даже единственный.

В последнее время — вероятно, с лёгкой руки Горького, а может быть, и под влиянием русского народничества — слово гуманизм у нас утратило свой настоящий смысл и стало употребляться как синоним гуманности. В этом понимании гуманистами оказываются и Некрасов и Глеб Успенский, т.е. люди, гуманизму совершенно чуждые и даже враждебные. Слово гуманизм родилось в Италии в 15 столетии и всегда употреблялось для обозначения культуры Ренессанса, или всей, или одного из её аспектов, преимущественно литературного. Но что может быть более чуждого гуманности, чем ве-

ликопепный и жестокий век Леонардо да Винчи или Борджиа? Без всяких объяснений и доказательств, предлагаем такое краткое определение: гуманизм есть культура человека как творческой личности. Это покрывает всё — от Петрарки до Бердяева. Не человек как страдающее существо, нуждающееся в спасении, каким он дан в христианстве и в старом социализме, не человек, «преследующий своё счастье», каким его видит буржуа, а человек, создающий ценности — вот человек гуманизма.

В России струя гуманизма всегда была чрезвычайно слабой. Рядом с Пушкиным, но, конечно, на большой дистанции, можно назвать разве одно большое имя, Вячеслава Иванова. Не случайна и связь обоих с классической древностью; едва ли возможен гуманизм вне предания Греции. Но если бы даже мы имели одного Пушкина, мы не смели роптать: живёт же англо-саксонский мир с одним Шекспиром!

Приглядимся пристальнее к гуманизму Пушкина: из каких элементов составлен его драгоценный сплав?

Несколько лет тому назад, когда мне пришлось писать о Пушкине, я напал на одно стихотворение, где поэт сам даёт совершенно точное определение своего мирозерцания: Это всем известный Демон («В те дни, когда мне были новы...»).

Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь...

Демон (Раевский?), который искушал его тогда, отрицательно утверждал ту же систему ценностей.

Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенне презирал;
Не верил он любви, свободе...

Формула Пушкина четырёхчленна: слава, свобода, искусство и любовь. Демон отрицает три из них. Понятно, что он не отказывается от славы. Гордость и похоть власти составляют самую основу демонизма. Слава — это единственное, что и фашизм оставляет от ценностей гуманизма и что дало Муссолини ложную претензию считать себя преемником Ренессанса. Для Пушкина характерно то, что он, в своей ясной цельности, не желает ничего уступить демону. Отрицать гуманизм для него значит «искушать Провидение». Иначе Лермонтов. Его демон говорит о себе, вслед за Байроном: «Я дух познания и свободы», и этим начинает роковой раскол в мире ценностей, взорвавший русскую культуру.

Четырёхчленная формула Пушкинского гуманизма может показаться искусственной. Я предлагаю читателям проверить её на любом из созданий Пушкина, — предварительно дочитав до конца эту статью.

Какое место занимал Пушкин в истории гуманизма вообще? Итальянский Ренессанс выше всего поставил славу и творчество. Любовь досталась ему по наследству от средневековья: Петрарка связан крепко с Данте и трубадурами Прованса, которые изобрели любовь. О свободе мало помышляли гуманисты, скитавшиеся по дворам тиранов. Свобода, столь обаятельная для Пушкина и его современников, есть дитя XVIII века, как французской революционной, так и германской, гуманистической его традиции. В послепушкинской России Лермонтов и Гоголь отказались от славы и этим нанесли Империи первую и смертельную рану. Радикализм 60-х годов пытался убить всех четырёх Пушкинских богинь, как и самого Пушкина. Не без труда они воскресали одна за другой, в борьбе и примирении с ценностями других, негуманистических порядков, пока, наконец, большевизм не покончил со всеми... кроме славы. Верный своей фашистской природе, он возродил лишь культ империи и войны (Суворов, Кутузов и проч.).

Но вернёмся к Пушкину. Действительно ли служением четырём богиням — Славе, Свободе, Музе и Любви — исчерпывается его отношение к миру и жизни? Конечно, нет. Ведь их мы находим и на Западе, во французском романтизме, напр., но в совершенно иной тональности.

Сами по себе они совместимы с горделивой отъединённостью творческой личности (Байрон), с олимпийским презрением к жизни простых людей (Гёте), даже с острой ненавистью к их быту и судьбе (Ницше, Блок). У Пушкина мы дышим особенным, ему свойственным, воздухом великодушной человечности, которая близка уже к гуманности XIX века, хотя и не совпадает с ней. Ведь написал же Пушкин о своём «Памятнике», т.е. на своём памятнике:

Что чувства добрые я лирой пробуждал...
И милость к падшим призывал.

Добрые чувства (т.е. этика человечности) и милость к падшим не были главным для поэта. Почти никогда они не были и темой или содержанием его поэзии. Упоминает он о них в «Памятнике», только становясь на точку зрения «народа», который будет его читать. Но они были тем незримым этическим фоном (а у всякого искусства есть свой этический фон), на котором легко и непринуждённо возникали создания его музыки.

Милость к падшим, т.е. сострадание, у Пушкина всегда соединялась с сорадованием, как соединялись они ещё у апостола Павла, но очень часто разлучались в поздней христианской традиции. Сорадование, пожалуй, было ближе сердцу Пушкина, чем его печальная сестра — темы пиров, дружбы, лицейских годовщин. Но в «Повестях Белкина», в «Капитанской дочке» находим то внимание, то участие к судьбе маленького или оскорблённого человека, которым будет потом жить чуть не вся русская литература XIX века. Пушкин не проливает слёз, не пронзается до глубины зрелищем человеческих страданий, как Достоевский или Некрасов. Страдания не омрачают для него основной благодати и красоты мира, но он не закрывает на них глаз и подходит к ним со вздохом дружеского участия. Невозможно представить себе лицо Пушкина искажённым презрением и ненавистью к человеческому роду, каким больны почти все писатели нашего времени. Читая их, слишком часто чувствуешь, что автор хочет плюнуть вам в лицо. Пушкин, если и ненавидел, то одних подлецов. И сама ненависть его легка; он не мечтает об убийстве, с него достаточно и эпиграммы.

От острой, жгучей ненависти своих западных современников (якобинцев, Байрона) Пушкин рано вернулся к тому своему, у нас неповторенному гуманизму, ко-

торый позволительно назвать христианским. В этом и заключается в сущности простая разгадка его тайны. В последние десятилетия у нас грешили против Пушкина, пытаясь объяснить его «тайну». Многие авторы хотели сделать из него глубокого христианина, иные — даже мистика. Пушкин, как поэт — эхо, откликался на всё; не мог пройти равнодушно и мимо образа Мадонны или даже литургической поэзии Церкви. Но, увлекаясь его немногочисленными библейскими поэмами, не забудем, что он перелагал и Коран. Читая его «Монастырь на Казбеке», не будем думать, что вчерашний вольтерьянец серьёзно собирался окончить свою жизнь в монастыре. Но, что он глубже, чем Гёте или даже Шекспир, способен был чувствовать раскаяние, это бесспорно («Когда для смертного...»). Что он дышал более чистым и крепким христианским воздухом, чем его западные со-

братья, не пережившие «обращения», это тоже не подлежит сомнению.

Эти христианские влияния, умеряющие его гуманизм, Пушкин почерпнул не из опустошённого родительского дома, не из окружающей его вольтерьянской среды, но из глубины того русского народа (начиная с няни), общения с которым он жаждал и путь к которому сумел проложить ещё в Михайловском. Невзирая на холод целого века Просвещения, подпочва русской жизни была и долго ещё оставалась религиозно-горячей, и этого подземного тепла было достаточно, чтобы преобразить гуманизм Пушкина. В своём сознательном мире Пушкин всегда был западником, или, по Достоевскому, всечеловеком. В подсознании он воспринял от своего народа больше, чем кто-либо из его современников. Только это и позволило ему стать великим национальным поэтом не Московии, не Руси, но России.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Неточная цитата из стихотворения «Перед гробницею святой» (1831).

² Из письма к Л. С. Пушкину от 24 сентября 1820 г.

³ Из стихотворения «Клеветникам России» (1831).

⁴ Ср. стихотворение Пушкина «Мне жаль великия жены» (1824).

⁵ В заметке «О дворянстве» (1830—1835).

⁶ Цитаты из поэмы «Цыганы» (1824).

⁷ Из стихотворения «Странник» (1835), созданного по мотивам религиозно-философской поэмы Дж. Бёньяна «Путешествие пилигрима».

⁸ Из стихотворения «Отцы пустынники и жёны непорочны» (1836), включающего переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина.

⁹ Из стихотворения «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит», в действительности датированного 1834 годом.

¹⁰ Цитаты (вторая неточная) из стихотворения «К морю» (1824).

¹¹ Имеются в виду заметка о дворянстве (1830—1835) и запись в «Дневнике 1833—1835 гг.» от 22 декабря 1834 г.

Вступительная заметка, публикация и примечания С. Кибальника

Ольга Седакова

О погибшем литературном поколении — памяти Лёни Губанова

Эти заметки написаны в 1984 году в совсем иной, чем нынешняя, ситуации. Это недалёкое прошлое, впрочем, и донныне не описано изнутри, с позиции тех, кто волей или неволей оказался тогда в радикальном отчуждении от всего официального общества — и от той его либеральной части, которая теперь составляет «активное ядро» перестройки. Мы прожили с ними разную жизнь, и новое время с новыми, как будто общими задачами не может соединить то, что так глубоко разошлось. Новому читателю, вероятно, будет непонятна резкость разграничения с либералами и прогрессистами прошлых лет. Но дело здесь не в обидах, прощении или непростении кого-то, и меньше всего мне хотелось бы, как теперь принято, призывать к «покаянию» тех, при ком погибало младшее литературное поколение. Этот разрыв — не печальная случайность и не вина «старших» перед младшими. На мой взгляд, это историческое приобретение. Мы не хотели и не могли иметь тех представлений о жизни и словесности, которые практиковали они.

И ещё одно важное уточнение. Эти заметки не только посвящены другой ситуации: они обращены к ней и поэтому менее всего летописны и объективны. Сама характеристика «погибшее поколение», тогда ещё неизвестная, имеет в них не констатирующий, а предостерегающий смысл: он обращён к близким людям и значит: «Давайте не погибать!» В историко-литературном смысле это поколение ни в коей мере нельзя назвать погибшим (при всех несвоевременных концах и самоубийствах его поэтов): достижения этих десятилетий — высокая поэзия Елены Шварц одна отменяет всякую мысль о погибшести — ещё неизвестны читателю. Быть может, с точки зрения внутреннего напряжения и свободы скорее уж другие, более благополучные поколения советского искусства окажутся «погибшими» в сравнении с «глухими временами».

1989

*....яблоки сбиты на грядки —
Десятки незрелых плодов и ещё раз десятки,
Их пачкает, моет и новою грязью кропит...*

Владимир Лапин

17 октября 1983 года в Москве были поминки сорокового дня по Лёне Губанову. Эта форма имени, Лёня — не знак нашего приятельства, его не было, это литературное имя. Так Губанова звали, так он себя звал — и часто даже не Лёня, а Лёничка. Кто начинал в шестидесятые годы, до седых волос живут с детскими именами. Это означало многое: Лёня, Сева, Таня. Теперь это кажется фамильярным — «как у крепостных», кто-то заметил.

Я не относилась серьёзно к поздним Лёниним стихам, а ранние, когда он явился как «московский Рембо», мало знала. Из-за этого у нас вышел однажды скандал.

— Ну как, гений я? — спрашивал сильно пьяный Лёня, прочитав что-то вроде:

Сердце моё с разбитыми окнами.
По сердцу моему ходит седая любовница.
Руки у любовницы длинные, длинные,
Платье у любовницы чёрное, чёрное,
Губы из лести,
На груди крестик...

Читал он каким-то специально сделанным уплощенным голосом.

— Данте — гений, а ты нет.

Лёня скрипит зубами и швыряет чашку на пол.

— Ну, гений я?

— Данте — гений, а ты нет. (Не один он пил портвейн этим зимним вечером.)
Опять посуда, опять вопрос, опять Дан-

те. Наконец, перебив всё, что на виду, и двинув кулаком в зеркало в коридоре — осколки, кровь, но ничего опасного — немного отрезвев от этого, Лёня ищет компромисса:

— Ну, хрен с Данте, ладно. Но Пушкина-то я лучше?

— Лучше,— тихо и подло соглашаюсь я, опасаясь за оконные стёкла, на которые он косится: в Москве стояла великая стужа.

С тех пор, выслушав стихи (по телефону):

— Слушай, у меня тут опять болдинская осень была. Восемьдесят стихов за три недели. Рекорд, да? И все гениальные, все.

Я не высказывала никакого мнения, ни в каких сравнениях, просто соглашаясь с предлагаемым:

— Ну, гениально?

— Ага...

Больше ему ничего не нужно было, а мне стало очень печально.

Не потому что *de mortuis*, хочу я признаться вот в чём. Несмотря на всё, вопреки всему мне казалось, что Лёня был рождён великим поэтом. Ни единой строчки и даже сравнения не любя в том, что я от него слышала, что-то я почитаю в Лёнином неопрятном, необузданном даже отчётливым чувством сочинительстве. Может, внутренний ритм? собственно стихотворный — интенсивный, но по сути банальный и однообразный у Лёни — ритм жизни, переживания жизни. Может, истинно поэтическое преображение слов? Бывает со словами в стихах (и в некоторых пассажах прозы) такое: собранные вместе, они зажигаются, как гирлянда лампочек на ёлке, они праздничны, они совсем не та словесная материя, какой были врозь. Как бы звон или гул поддерживает их звучание и значение, как бы говорит их не человек, а само пространство изо всех углов. Вряд ли кто опишет, в чём тут дело. Для себя я объясняю так. Хрестоматийное определение Пастернака: «Цель творчества — самоотдача» не совсем точно. Про цель можно судить по-разному. Но что самый дар творчества есть дар самоотдачи, это несомненно. Дар очень редкий, и научиться такому маловероятно. Это как раз то, чего не хватает в стихах дилетантов (даже самой высокой словесной квалификации), когда и ума, и вкуса, и стиля, и человеческого опыта, даже искренности у них куда больше, чем у многих поэтов по призванию. Если такое самозабвение сравнить с искренностью — то с такой только искренностью, о какой китайцы,

кажется, говорят: искренность, с которой голодный тигр пожирает ягнёнка. Так вот, такие празднично умноженные слова получаются там, где момент самоотдачи происходит непосредственно в словах — а это не обязательно так даже у настоящих и больших поэтов: бывает, словесная одежда подбирается уже потом, «вторых». Примета таких слов, аккумуляторов самоотдачи, — их близость к абсурду, иногда опасная, иногда они своими значениями туда-таки и перелетают. Вот пример — импровизация пятилетнего сочинителя:

Я знаю, ветер, ты мой друг,
ты веешь без обмана.

Вот бабушки идут с ведрами
за водичкой яркой —
золотая уж навеки
умирает с горя.

И скушно дню, и скушно ветру,
И скушно бабушке с ведром.

Всем, конечно, понравится яркая водичка. Но это ещё удачное наблюдение, а не выход из себя. Настоящий поэтический экстаз — следующие две строчки (золотая уж навеки и т. д.), которые, закрыв глаза, скачут в абсурд — и совершенно правдивы. Свидетельство тому — что после них «скушно». Вот такой огонь сверхсмысла или абсурда, чего-то неистово-истового пробежал по словам Лёни — и в этом отношении он выше виртуозного, содержательного, но тусклого в слове Бродского.

Может, такое качество слов у Лёни мне нравилось? Может, его соревнование с Пушкиным, ощущение себя в центре мира — свойственное графоманам и гениям и невозможное чуть выше графомана и чуть ниже гения? Может, это главное и есть... В а ж н о с т ь творчества.

Тема смерти была модной в нашей юности. Кроме моды, кроме неотразимого способа отличиться от «обывателя» (который, как известно, намерен пожить вдоволь) и прекрасного способа привлечь к себе любовь и жалость (собственную сначала, а потом того же «обывателя»), что серьёзное было в этой теме. Не во все же времена мода на неё. Теперь, когда у меня перед глазами многолетние продолжения тех начал и уже многочисленные концы, меня смущает такое предположение: может, нам и поручено было умереть рано? может, это была историческая задача? Не с этой ли вестью явился «поэт жизни», автор самой прославленной тогда вещи, поэмы в прозе «Москва-Петушки»

Веничка Ерофеев: и потерять сознание немедленно, и больше в него не приходиться... Каждый гений (а слово это легко слетало тогда с языка — теперь оно малоприспособно, хуже, чем уменьшительные имена) собирался и обещал умереть рано. Сроки жизни и порядочного гения были отмечены: 23 года — Веневитинов, 26 лет — Лермонтов, 30 — Есенин... После 37 лет живут только посредственности. Лёня пережил свое 30-летие с целым оправдательным циклом:

Если не был бы я поэтом,
То повесился б, как Есенин.

Вообще же о смерти своей он начал писать лет с шестнадцати. Эта тема, кроме прочего, переживалась как очень крамольная — в официальной культуре она запрещена (кроме смерти на войне). Но — пережив Есенина — он клялся, что Пушкина уж ни за что не переживёт. Так и случилось. Последний раз мне пришлось его видеть за два месяца до его внезапной, но так давно вынашиваемой смерти — так давно, что для всех уже это стали «слова, слова, слова». Реальный конец Лёни в 36 лет поразил всех — и как если бы это была смерть семнадцатилетнего поэта, каким Губанов остался для тех, кто знал его.

Поминки были ужасающи. Одним из немногих живых лиц среди сотни собравшихся, «цвета московской богемы», как объявили, было лицо умершего — старая фотография Лёни. Большинство же других — при всех усилиях перепиться, скандалить, драться, кричать и выть стихи, «как в шестидесятые», и «эпатировать», возвышая Лёню за счёт того же злополучного Пушкина, — были, в самом прямом смысле, — краше в гроб кладут. Безобразие мёртвой жизни, написанное на этих лицах, преследовало меня несколько дней. Но их благополучные ровесники — подумала я — лучше ли теперь? Те, кто мог как-то адаптироваться, кто около предела пушкинской жизни просочился в официальную прессу в роли «молодых», кто выучился, кто стал переводчиком или учёным и усмеяется теперь литературным грехам своей юности, кто занялся полухудожественной коммерцией (сценарии, радиопостановки, детские книжки)... Как выглядит эта часть погибшего поколения, лучше ли? По-моему, нет... «Пятого поколения» не образовалось не только в публичной литературе, но и в других гуманитарных областях, где, в общем-то, полегче «выразить свои мысли». Или та-

лантливые люди нашего *génération perdu* оказались совершенно социально не приспособляемыми — а адаптировались менее способные? Или талантливые ради адаптации развили побочные способности, а на главные махнули рукой? Ведь ещё к 20-му году Блок заметил, что деньги здесь платят за то, чтоб мы не делали своего дела. Не знаю... Но кажется, наше поколение первым столкнулось с такой ситуацией, когда не идеи, не политические взгляды, не что иное — а одарённость сама по себе оказалась политически нежелательным явлением. По этому-то признаку общество и выбрало, кого ему не надо.

Несчастье усугубляется в эгоизм, обидая уменьшает возможность перспективного, пропорционального взгляда на своё и чужое, нынешнее и прошлое. Король Лир под грозой, разбившей его мироздание, впервые пожалел бедных и бездомных. Такое случается с благородными людьми: их не очень много... Оказавшись под грозой, мы не только не вспоминаем, что для кого-то быть под грозой — обычное дело, быт, но забываем и того, кто тут же, рядом с нами, мокнет и мёрзнет, и даже уверены, что ему-то это легче: ему не так холодно и не так сыро. Чувствительность его грубее — а кроме того, все громы мира заняты сейчас мной. Поскольку же здесь все более-менее унижены и оскорблены, то все более-менее равнодушны и циничны к униженности и оскорблённости другого. Переживают. Мы пережили — и они переживают. Не господа.

Бедная жизнь, как иголка, страшна.
Разве калеку жалеет калека?

Мне кажется, что если кто разумеет голодного, то как раз сытый — скорей, во всяком случае, чем голодный. В одном хасидском рассказе есть похожая идея. Богачу, похвалявшемуся скромностью (он ест только хлеб и воду), учитель посоветовал употреблять вино и мясо. — Зачем? — Тогда ты поймёшь, что бедным нужны хотя бы хлеб и вода. Я опять вспоминаю короля Лира, теперь до бури — там, где дочери объясняют ему, что возить с собой свиту в сто рыцарей — излишество, в этом нет необходимости. Не поминайте unnecessarily, — отвечал Король, как известно. — Оставьте необходимое, и человеческая жизнь станет дешевле звериной. Наш последний нищий окружает себя излишним.

Среди многих переворотов, совершён-

ных революцией, этот, касающийся необходимого и избыточного, кажется десятистепенным — в силу того самого цинизма, который он и породил. Честно ответив, советский человек осудит Лиру: вольно капризничать. Двадцать пять ему мало. То, что при этом оказываешься заодно со злодейками дочерьми, проходит незамеченным. Как мы жестоки, я неожиданно увидела. С одной итальянкой мы говорили о другой.

— Она капризна, потому что горя не знала. Видно, ей очень хорошо жилось, — осуждающе заметила я, считая этот ход настолько естественным, что даже не проверила, мой ли он.

— Да, ей жилось очень хорошо, — сказала Франческа, сама жизнью не избалованная, — и мне приятно глядеть на её нетерпеливость, на её капризы — мне так приятно, что есть на свете счастливые и богатые люди, исходящие из нормы благополучия.

Вот здесь мне стало странно и стыдно. «С жиру бесится» — вот что, пускай в смягчённой словесной форме, внедрено в моё сознание, вот что оно говорит о человеческом возмущении не последней нуждой. Злые и жадные нищие, благодарные слуги так судят своих господ.

— А кто сказал, что должно быть хорошо?

Этот вопрос имеет одну прекрасную область применения: это вопрос о себе. Другим же должно быть хорошо, в этом нельзя сомневаться, нельзя оборачивать их в уме. Вот что вдруг стало мне понятно.

Так вот, «вопрос с жиру», вопрос о масштабе излишнего — 25, 50 или 100 рыцарей свиты — развернул трагедию короля Лира. Вопрос о разделении всего на «первую необходимость» и «избыток», на «потребность» и прихоть — среди других — развернул пружину трагедии культуры в нашей стране. Воинственное стихотворение Мандельштама «Я пью за военные астры» (реплика поэтического манифеста Вяземского «Я пью за здоровье немногих») присягает всяческим приметам «роскоши», «пустяков», «барства» — «за всё, чем корили меня», «за розы в кабине роллс-ройса», за эту сотню декоративных или ритуальных рыцарей — охранную гвардию культуры и личного достоинства, свободы и чести, всего, связанного с вопиюще ненужным. Оттого что человеческая жизнь всё же дороже звериной, «оттого что не волк я по крови моей». (Впрочем, мы и в этом, наверное, огориваем животных, полагая, что когда

для «жизни» нужно ровно столько, чтоб «не умереть», так это из области зоологии. Я видела, например, как умирающий котёнок пытался играть, поймать муху и солнечный зайчик — разве это не роскошь не хуже ста рыцарей Лира? Из мира цивилизованного одичания обиход зверей представляется возвышенным, не говоря уже о сложнейшей культурной системе «дикарей»: мы шагнули не назад, не «вниз», а вперёд от них, от зверей, от примитивных обществ — в какой-то неведомый природе мир, где реальной признается только потребность, только жадность и голод данной минуты.) В оголённом от «лишнего» существовании нет культурного творчества, как мы вдоволь нагляделись, — нет с такой простотой, наглядной и агрессивной, как в коммуналке нет детских и кабинетов. Это с жиру. Жили, не умерли. Вот оно: не умерли, значит, можно. Никто ещё не умер без «Короля Лира»!

Может, легче было бы, если б рядом были сытые. Но их не видно. Поэт — лауреат Государственной премии, когда его не выпускают в зарубежные гастроли, чувствует себя гонимым. И я — после Франчески — его не сужу: он прав по-своему, и так быть не должно. Как может он — и зачем? — сравнить свою обиду с литературной смертью неизвестных ему сочинителей? Как те самые, с первых лет обречённые на литературную смерть сочинители сравнят её с физической гибелью, которой награждали за ошибки в форме и содержании в годы чёрного, а не серого культурного террора? И зачем сравнивать? И где конец сравнений? Там, где иным вообще не дали родиться? Нет, в общности своей обидой, несмотря на существование других, и горших, чужих, всё-таки есть что-то человеческое, что-то обнадёживающее. Мой же собственный взгляд представляется мне катастрофически потусторонним.

Всё это к тому, что я хотела было думать, что опыт нашего зияющего поколения — первый и уникальный в истории советской литературы. Что литературная смерть в форме абсолютного замалчивания (в отличие от традиционных разоблачений, всенародных обсуждений и постановлений) впервые была применена так последовательно. Но... что-то такое я помню, если не помню, так можно догадаться, что есть тут что вспомнить.

Мы начинали без заглавий,
Чтобы закончить без имён.

Мария Петровых. Кто это — мы? Видно, какие-то поэты, моложе Пастернака, но не рабочего призыва. Однако для меня это зияние осталось зиянием через 50 лет. Там где-то Петровых, Арс. Тарковский... Может, Л. Мартынов... За каждым из этих имён чувствуется кружок, среда... Наверное, многие погибли на войне... Или так, с горя, как наши Л. Аронзон, Губанов, Серёжа Морозов... Быть может, есть архивисты, знатоки замолчанного поколения времён Смелякова и Твардовского. Хотя, если там с архивами так же, как у наших, сомневаюсь, чтоб кто знал это основательно. Мне пришлось видеть, из каких углов выскребали осколки художников тридцатых годов... Итак, что делали те, кого погребли под массовым претворением в жизнь соцреализма? Их погребли под Страной Муравией и Дейнекой. А нас — ни под чем. Вот своеобразие нашей художественной смерти. Рабочий призыв в литературу вяло продолжается, но плодов не даёт. Зияние прикрывалось, правда, вечно юным поколением Евтушенко, хватало возни с этими «сердитыми молодými».

Пока «сердитые» выступали в Лужниках, «юные гении» читали в других, в то общительное время ещё многочисленных, местах встреч — в мастерских, в больших квартирах, в каких-то физических и других институтах — и их очень полюбили. Лёня Губанов стал московской знаменитостью лет в шестнадцать. Лена Шварц прославилась в Ленинграде, наверное, в пятнадцать лет. Никто больше не советовал «уберите Ленина с денег!» — какой заход! — ведь «он для сердца и для знамёна» (вот образцовая полемика и риторика шестидесятых), не обличал больше мещанства и сталинизма. Твардовский спросил Сашу Величанского, когда обрабатывал его подборку для «Нового мира»: почему у Вас ничего нет против культы личности?

— Потому что я не писал в честь него, — ответил Саша. Он писал:

О, если справедливость — только месть,
И если в мести справедливость есть,
Пусть будет проклята любая справедливость.

Лучшие строки Лёни были в таком роде:
И над мёртвым лицом, как свеча, закачается
Серый конь, серый конь моих глаз.

Если же он касался темы Ленина —

Из-за синих рек,
Из-за белых рук
Лысый человек —
На Россию вдруг!

Но дело было не в Ленине и не в более тотальном отвращении ко всему казённому, которое становилось просто смешным, как журнал «Корея»: несмешным оставалась только его навязчивость. Много позже допотопный мифический абсурд официальных ценностей пригодился Д. Пригову, который сконструировал образ их идеального носителя. Ведя сказ от лица такого «настоящего советского поэта», он перенёс в лирику прозаический принцип Зошенко — «заместителя настоящего пролетарского писателя», — и это оказалось счастливым находкой. Но в те годы было не до глумления, всё представлялось драматически возвышенным, а «гражданские» темы — какими-то второстепенными, беллетристическими.

Хотела я счастья и славы
И в руки попасть палачу,—

писала Лена Шварц. Палач был свободен от исторических примет.

Пришло мне время колдовать,—

начинал стихи Лёня Губанов. Предстояло очень устать и отчаяться, чтобы дойти до Пригова. Или отрезать, или развестись, как угодно.

Тема колдовства, или магии, или шаманства была, может, самой заметной новостью у следующего за «сердитыми» поколения. О «колдовстве» вспомнили Вознесенский и Ахмадулина, но это осталось у них где-то на периферии. Ведь если оно — центрально, то должно привести к лирике, которую называют «суггестивной», к «непонятности» целого — неподведённости смыслового и морального итога, к неограниченному, скорее звуковым значениям слов, к звуковым же сцеплениям метафор, как это было у Лёни (на мой взгляд, до вульгарности):

Припекло припевом скулы у стрелца,
я припев при первом, я стрелок лица...

(Впрочем, с точки зрения Твардовского и его читателей, «непонятно» было почти всё.) Итак, вспомнили о принципиально ином отношении к смыслу целого. Но остановиться на таком несентенциозном смысле не могла даже склонная к этому Ахмадулина. Приходилось прибегать к известным «моралам», к пресловутым парам, спор между которыми ведомо решён: свет и тьма, поэт и мещанин, новое и косное, ленинизм и сталинизм. Интересных контрастов, сколько я знаю, придумано не было. Особое значение про-

Проблема творческого развития

ясняющего элемента принадлежало «лирическому герою», точнее, автору-персонажу. Такой персонажности не было даже у Лёни, который в жизни честно изображал поэта богемы, кабацкого Есенина. Но не он составлял центр. Дело в том, что тяготела эта лирика к какому-то иному, не биографическому пласту личности, к иному, «метафизическому» искусству (при всей культурной, философской и т. п. невооружённости авторов): Лёня, как и другие тогда, хотел говорить «о себе» (что видится небом, другое дело, но в сравнении с любым небом житейские похождения автора не так уж важны, многие тогда думали, что и вообще не важны — исключив только область «продажности», — небо наше, стало быть, было мечтательным...).

Я не возьмусь описывать другие свойства и качества этих начал, этого обещания. Осталось ли оно только обещанием — видно будет, наверное, «когда гроза пройдёт»... Долг, который я чувствую перед Лёней и умолчанным поколением, — не долг летописца или мемуариста.

Вкратце хроника дальнейших лет — сразу после окончания школы — сводилась к тому, что публичные выступления, в кафе, у памятников, в клубах были пресечены, а главных героев — кого выслали из Москвы за тунеядство, кого поместили лечиться от шизофрении. О том, что сфера письменной публичности — журналы, альманахи, книги, — закрыта для нас категорически, стало понятно без особых объяснений с каждым в отдельности. Впервые появился всесоюзно известный поэт, имя которого поминалось в прессе только в связи с судом над ним. Публиковаться казалось скорее стыдно, чем почётно. Где-то здесь и завертелась мельница серого литературного террора. Собственно содержательных, узко содержательных причин я не могу найти. Если кто, например, не подходил из-за «религиозности» — другой кощунствовал, кто из-за «заумности» — а кто проще простого... Так и прожили те, чей дебют должен был прийти на середину 60-х — начало 70-х годов. Лишённые всякой встречи с открытым читателем, лишённые даже критики и обличений и права быть упомянутыми публично. Гордиться можно только тем, что ни один скверный поэт прошлого не удостоен у нас этой чести, зато лучшие поэты 20 века наделены ей вполне или отчасти. Но такое соседство не должно льстить. Вот, например, два очевидных последствия серого литературного террора.

Поэту трудно быть ненужным — вернее, трудно быть ненужным поэтом. Ненужного поэта можно сравнить с ненужным оперным певцом, с ненужным архитектором и т. п. Свои способности они где-нибудь отчасти проявят — но как отчасти! Сравнение кажется несправедливым: условия и средства, необходимые для стихотворства, минимальны — это не оркестр, не строительные материалы, этого и в тюрьме не отнимут. Но, не имея столь наглядного материального поля действия, лирика так же несоразмерна с частным бытом, как опера, — в другом отношении:

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа...

Лирика соотносится с высоким стилем жизни, с большим стилем, какого нет в частном быте. «Вторая культура», которую создали замолчанные поколения, не даёт ни большого стиля публичной жизни «среды чужих», ни большого стиля одиночества. Это более или менее пространный круг «своих», а дурнее среды для творческого развития не придумаешь. Если б серый террор, молчаливое внушение сочинителю, что его нет, что без него прекрасно обходятся, продолжался лет пять, ну, десять в каждой жизни — может, это было бы плодотворное испытание. Взыскательный автор сам себе может дать испытательный срок в семь горацевых лет. Но в обильных и ничем впереди не ограниченных дозах это уже проба на героизм, а художественная одарённость таких проб обыкновенно не выдерживает, да и не обязана выдерживать. И большинство поэтов «второй культуры» если не прощаются к сочинительством, то пишут «то же, но хуже», из года в год, и в 35 лет беднее и слабее, чем в 25. Впрочем, та же картина «пути» и у неофициальных официальных поэтов (у А. Вознесенского, Ю. Мориц, А. Кушнера). У примерных же соцреалистов пути вообще не бывает, такой уж это метод. Их путь определяется линией партии, а в эстетике эта линия близка к точке.

Выбор между разрешённым и неразрешённым

Известно, что попытка сказать независимое слово приведёт, и мгновенно, к тому, что этого слова не услышат те, к кому оно обращено. Есть несколько проторённых путей в обход:

— можно, например, раскидать «независимые» слова там-сям среди благонамеренных, которые тренированный читатель поймёт, как нужно;

— можно сказать непонятно: сверхсциентистским или ещё каким-нибудь, неведомым цензору, языком или по поводу такого предмета, где ничего такого не ждут, и т. п. и т. п.;

— можно, наконец, сказать всё, что хочешь, но так, будто вообще ничего не говорится. Технологию этого, самого изощёренного, эзопова языка я не могу описать. Может, суть её в том, что автор такого высказывания, например, академик, или лауреат какой-нибудь премии, или чем-то ещё в прошлом заслужил невнимание цензора. Это тактика для людей с утверждённой репутацией.

Перечисленные и, наверное, ещё многие формы кукиша в кармане, конечно, унизительны, кроме того, они сподручны для публициста, но никак не для художника. Но главное ещё не в этом. То, что маскируется от цензора, маскируется и от читателя — ведь он, как правило, не более проницателен. Те, кто «умеют читать», — это почти те же «свои» из второй культуры. Цель, поставленная цензурой перед всеми авторами — и живыми и мёртвыми: не тронуть сознания читателя, не остановить его на путях внутренней рутины, не поставить хотя бы перед недоумением, — эту цель авторы эзоповых сочинений прекрасно исполняют. Исполняют уже одним своим смиренным видом — видом принципиальной лояльности при некоторых расхождениях, — притворность которого совершенно ничего не значит.

Дело в том, что акт речи, может, важнее её непосредственного содержания: старые ли, всем известные вещи говорятся (а главные вещи почти все — старые и известные), но взятый на себя акт высказывания и оглашения их — это акт свидетельства, т. е. ответственности за их реальности. А мало ли вещей, которые только тогда и реальны, когда есть хоть кто-то, отвечающий за их реальность и истинность? Я хотела сказать: все, кроме естественно-научных, — но вспоминаю, что и естественно-научные требуют своих мучеников, случается, и не во времена Галлилея... Да, область «исповеднических истин» расширена у нас необыкновенно. Но парадокс в том, что, сколько бы она ни расширялась, безопаснее и комфортабельнее становится научная, художественная и общественная деятельность. Скажи вначале, что то, что ты скажешь, можно считать, и не говорится, что это ничего

существенного не значит — и дальше можно сообщить и «критику», и «мистику», и «объективизм» (с некоторыми вводными предложениями, кавычками, ссылками, правда). И ещё считать это своим стратегическим триумфом. Можно, наоборот, отказ от содержания собственных речей сделать не предисловием, а послесловием, как в случаях «раскаяний», но про эти тяжелые случаи не хочется говорить мимоходом...

Старый анекдот про раскидывание пустых листовок печально реалистичен. Акт речи, о каком я говорю, вовсе не политическая акция. Так, взглядевшись пристальней во что-нибудь из того, что мы полагаем «бессмертной строкой» или счастливой находкой в другом искусстве — что мы там обнаружим? С материальной, профессиональной, содержательной, аналитической точки зрения — что особенного? И вроде бы — ничего. Какой-нибудь банальный «приём», какую-нибудь саму собой разумеющуюся «мысль» и т. п. Но там-то и есть надматериальная, надпластическая энергия у б е ж д ё н н о с т и говорящего, которая и преобразует всю пластику, размещает все «приёмы» и «мысли» в своём силовом поле. Там, в шедеврах, и есть полнота акта высказывания, полнота желания огласить, воплотить, п о н о в и т ь — говоря по-старинному — вот ЭТО. Этот, допустим, банальный ход, эту, старее Экклезиаста, мысль — эту реальность, эту правду. Так что, приняв стратегию отчуждения от собственной речи, можно обыграть только себя — насчёт своей чистой совести; может, ещё таких же, давно обыгранных людей... Надежда обыграть дьявола, приняв его условия игры, безумна. С таким партнёром в игры не играют.

В 60-е годы техника подтекстов и аллюзий расцвела необыкновенно. Она и не казалась такой бесплодной и смешной, как позже: это, казалось, первый шаг, ещё немного — и всё будет сказано не в притчах. Социально-злободневный подтекст всего, за что брались в 60-е годы, вытеснял самый текст. Предел виртуозности в такой технике — внедрить подтекст в самый правоверный текст, в трактовку романа «Мать», в поэму о Ленине.

(«Мы родились от тех метелей, умираем теперь от них».) Среди наших ровесников уже не было поклонников этой дурацкой полемики под прикрытием Ивана Грозного или Андрея Рублёва, в которой особенно преуспел театр на Таганке. Может, из-за этого тоже, из-за отношения к текстам и подтекстам, у нас не было уваже-

ния к шестидесятникам. Сами тексты стали интереснее их актуального искажения. Произошла поверхностная и быстро выродившаяся в снобизм, но всё-таки реабилитация культуры. Она коснулась даже Лёни Губанова — правда, как шум печальной волны, плеснувшей в берег дальней.

Среди предметов своего служения он называл:

Чёрный камень Нотр-Дама
И античность, и прибор.

Характерны истории с русской орфографией. Прогрессисты 60-х годов принимали новую реформу на основании рациональности правил письма. В 80-е годы новаторским оказалось требование издавать памятники девятнадцатого и предшествующих веков в их дореформенной орфографии. Традиционализм, иррационализм, эстетизм, академизм — в роли культурного авангарда или оппозиции. Можно было бы назвать другие ценности 70-х годов (вплоть до триады: православие, самодержавие, народность), которые показывают, до какой степени чуждым стало «левое» и «оппозиционное» 60-х годов со всей своей полемикой и надеждами — не менее чуждым, чем то, с чем они полемизировали. Мы оказались не в оппозиции, а во внутреннем изгнании. Спорить было больше не о чём, и проблем здесь не оставалось. Зато оказались они там, где не думали наши предшественники, — что и способствовало их оптимизму и непонятному для нас энтузиазму. Не говоря о более сложных вещах — хотя бы права человека. Тоже ведь проблема. Свобода совести. Мученики христианства, умирая, не требовали права свободного исповедания христианства: они показывали, что этим правом обладают — и тем больше, чем больше колесований, цирков со львами... Они показывали, что уж какого другого, а этого права человек требует от себя самого. Такое суждение — более роялистское, чем у короля, ибо сами главы церквей на всемирных собраниях говорят о необходимости права свободного исповедания — даёт видеть, как далеко зашла моя ретроградность. До сомнения в том, что удобно устроенное для человека общество — хорошо. До подозрения, что сама идея гарантированных прав исходит из известной картины человека, который «рождён для счастья, как птица для полёта». Может, это определение и не так плоско, может, оно правдиво и в высшем смысле этично (ведь и аристотелева этика построена на счастье, а не на долге). Оно

мне очень нравится, и, как толстовский Ерошка, я верю, что, «кто счастлив, тот и прав». Как только понимать. Я думаю, что счастлив человек бывает в любых условиях, потому что действительно для этого рождён, это его задание — быть счастливым, быть бл а ж ен н ы м. Так не лишит ли победа в борьбе за право быть не изгнанным за правду — самой возможности такого блаженства? Это не игра слов, уверяю. Может быть, такая картина человека и его счастья — очень традиционная — на «современный» взгляд патологически реакционна, и традиционная же формула «как есть воля грешить, так есть воля страдать», объясняющая у Данте природу Чистилища, теперь не более чем выражение садистски-мазохистского комплекса? И, наверное, можно вывести отсюда, что следует благодарить и обождать такую систему, которая щедра на возможности пострадать за что угодно — и тем самым найти своё счастье? Почему же я не хочу сделать этого вывода?..

Но мы уже далеко отвлеклись от внутреннего изгнания. «И как изволилось жителям прекрасной и славнейшей дочери Рима, Флоренции, отшвырнуть меня от сладостного её лона... странник, мало что не побираясь, побрёл я, против воли моей показывая другим рану судьбы. Истинно, стал я кораблём без ветрил и кормила, какой по чужим гаваням и заливам и побережьям носит худой ветер — дуновение горькой бедности; и являлся я так перед глазами многих, кто, быть может, по некоторой молве обо мне в ином образе меня воображал, и в мнении их не себя я только унизил, но бесценил я всякое своё создание, как уже сделанное, так и то, что будет...» (Данте, Пир, 1, 3).

Разница между Данте и Лёней не только в том, что, как говорилось на первой странице, Данте — гений со всеми относящимися сюда подробностями. Разница и в том, что Лёня показывал свою «рану судьбы» у себя на родине, на родине географической и лингвистической, во всяком случае, и «чужие гавани», по которым носило его разбитый корабль, располагались тут же, в непомерной нашей овчарне. Возвращаться в ином руне было некуда, а уж венец... И лавр, и дуб, и гражданский, и поэтический венец пусть дают кому-нибудь ещё. Кто заслужил его, как здесь заслуживают. Впрочем, Лёня меньше всего унывал без венцов и изданий. Никто не разуверил бы его в том, что будущее за ним:

Меня ищут, как редкий цветок,
Итальянцы, французы и греки,—

и своё местожительство, опережая Моссовет лет на двадцать, по его расчётам, он переименовал в Губановку. Время, видно, бежало мимо него, и он питался нектаром и амброзией ранней славы, облаком фирмы, если не рассеявшимся вполне, то совсем уже разреженным. Однажды, правда, что-то такое он заметил.

— Слушай, ты не знаешь, что случилось? — спросил он как-то в конце, съездив в Крым, где всегда есть кому послушать опальных поэтов.

— А что?

— Всё другое какое-то, поэтов нет, стихов не любят. Все торгаша или учёные...

Нужно очень осторожно думать про «своё время». Оно становится таким, как о нём привыкают думать... Ничего мистического в этом нет, наоборот, вполне возможно, что, подчиняясь расхожему мнению о себе, «время» это и уклоняется от исполнения своего мистического замысла. Чтоб о замысле такого рода догадаться, необходимо особое дарование и особая, значит, бодрость духа — т. е. нечто противоположное тому унынию, какое внушают общие мнения о «своём времени». Неутешительные, скучные, и притом — заметьте — никогда не мучительные! Все печальные характеристики «своих времён» похожи: они изображают их как времена отсутствия всего значительного, невозможности действия и оправданности бездействия. Мучительность ощущения «своего времени» уже как-то относится к его угадыванию, к угадыванию всякого времени как рокового.

Я ль буду в роковое время...—

не помню, в каком году писал это несчастный Рылеев, но наверняка немногие из проживавших тот год в России согласились бы, что он — роковой. Что же тогда с «нашим временем»? Оно даёт все оправдания не только для бездействия, но для любого почти содействия в поругании веры, чести, красоты... стыдно и писать такие слова — они давно принадлежат словарю тех, кто и устраняет всё, что этими словами называется. Чем шире этот словарь, чем растяжимее, чем благопристойнее внешне становится разрешённая культура, чем дальше от албанского образца, тем мне страшнее. Вот уже и Лёнины стихи, подчистив, посмертно напечатали в «Дне Поэзии-84» с нормально лживой врезкой. Уже легко представить, легко и скучно, как серый террор просветлеет до бледно-серого — и что белым при всех приближениях этот цвет не станет,

как число π не выразится окончательно в дроби. Не нужно особой фантазии, чтоб вообразить, как разрешат «всё». То «всё», чего пока недостаёт интеллигентному обывателю: «формализм», «авангардизм», «пессимизм»... все оболочки с вынутыми центрами. Что центры непременно будут вынуты, так же легко и скучно представить: опыт есть. Так вынули смысл из всего, что успели дозволить, — уже едва ли не одним тем, что дозволили, поскольку всё дозволенное здесь имеет привкус принудительного. Так вот из Достоевского, разрешив, что-то вынули — и согласовали... с чем? С тем, что смысла вообще нет и не предвидится. «Всё в порядке, пьяных нет», — как говорят в народе. Нужно только уточнить, что я называю смыслом. Не «содержание», не резюме содержания, не то, что переводится другими словами, упрощается, или распростирается, или трактуется. Смысл — это подведение к тому состоянию, где переводить больше не хочется, где переводить уже невозможно — но невозможно и остаться тем, что ты есть. Гёте заметил Эккерману, что знак нашей встречи с прафеноменом — изумление. Здесь желание объяснить кончается. Здесь познание, искавшее и искавшее «причин» и «природ», достигает своего заветного, от себя самого, быть может, таимого предмета — преобразования собственного состава, превращения в то «ничто», из которого «творят всё новое». Это познание, а смысл, о котором я говорю, относится не к познанию, а к (ещё одно скомпрометированное слово) душе. И он есть личная тревога, есть страх и надежда, сообщение о том, что тебе придётся ответить, и вопрос к тебе и задание не исчезнут, куда бы ты от них ни сбежал. Такой смысл понимают, когда перестают переводить в другие слова или понятнейные системы (пока переводят — как раз «всё в порядке, пьяных нет») — его понимают не иначе как поступком или отказом от поступка, желанием или поиском подходящего действия. Помните, что-то в этом роде понял про музыку злосчастный герой «Крейцеровой сонаты»? Смысл — то, что на какую-то долю секунды, и в какой-то ничтожной части, но делает каждого понявшего его Авраамом, выходящим из земли отцов...

— Я решил послушать, я решил уйти. а дальше буду решать не я... В нападении об этом смысле, может, вопреки автору «Крейцеровой сонаты», и состоит мораль искусства — и там, где оно «аморально» или «имморально». Слишком определённая «мораль» как раз скорее осла-

бит действие, поскольку она уже в какой-то мере переводима, переведена, это уже не область изменяющего изумления. Кажется, эстетическое переживание такого смысла вполне безопасно, это спасительный клапан для выхода тех «мыслей и чувств», которые в другом, внэстетическом исполнении были бы разрушительны для общества. Но судьба искусства в нашей стране говорит о недооценке эстетизма как смысла. Он, видимо, достаточно силён, чтобы бороться с ним не менее решительно, чем с религией. Как ни укажи, в чём заблуждался Достоевский, есть всё-таки опасность, что красота спасёт мир, и эту опасность нужно учесть. Итак, я говорю о смысле, понимание которого состоит в изменении жизни — или хотя бы в тоске по изменению.

Так вот, неграмотные, спившиеся, больные самоубийством и манией величия люди, как Лёня и его ровесники, что-то понимали. Что-то через них понималось. В их мечте о возвышающей смерти что-то было понято, что-то похожее на подтекст легендарных слов Пушкина императору: «Был бы жив — весь бы его был». Теперь же — не его. Теперь же — не всего этого мира, раз уж иначе нельзя. Упаси, Боже, я не восхваляю самоубийства. Но, отстраняясь от выживания, отсюда начав, можно куда-то идти — можно было куда-то идти. И в конце концов, разве смерть в мыслях живого человека — не метафора? И у Лёни она была не метафорой усталости и скуки, как «декадентская» метафора смерти — наоборот, свободы и торжества, она казалась более живой, чем мёртвая жизнь выживания, весёлая и лихая была мысль: дескать, вы ещё увидите!..

И вот, когда самые последовательные из них исчезают и мерещатся контуры времён более терпимых, — я боюсь, мы потеряем тот удивительный опыт, который почувствовали тогда и так мало и недостойно сумели воплотить и обработать. Опыт, вызвавший и лирические мечты о смерти, и декларации Венички «плевать снизу на каждую ступеньку общественной лестницы». Опыт крайнего унижения, обнищания, безродства — полной бесформенности. Л. Андреев в дневнике 18-го года заметил начало этого перелома, уничтожения формы, в связи с убийством императора. Он сравнил величественные ритуальные казни монархов бывших революций — и этот воровской расстрел. Голова Предтечи лежала на золотом блюде, настаивает он, и это важно, это форма: она не могла лежать на тарелке с обед-

ками. Очень рано почувствовал Л. Андреев новую эпоху убийств кесарей и пророков среди объедков. Уничтожение формы, как называл он этот демократический перелом, видимо, то же, что Блок смутно описывал под именем крушения гуманизма. Из самого эпицентра крушения формы и гуманизма, из неслыханного унижения человека дошло до нас свидетельство очевидца, мне кажется, лучшее из свидетельств — «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштама. И, как оказалось, по-настоящему убийцей формы стала не стихия, не пьяный Петруха Блока, не дикарская пугачёвщина — а кошмарно, почти пародийно организованная структура сверхгосударства с пустой центральной точкой какого-нибудь фюрера или вождя. Форму уничтожали как нечто недостаточно формальное, не чёткое.

Странно только, что Л. Андреев не заметил — и именно там, где искал он примера формы — вести о такой затрагивающей нищете человека. Там-то, кроме золотого блюда, и явился этот огонь, сведённый на землю, поедающий форму и гуманизм. Начиная с Рождества в яслях — к всенародному выбору Варравы, к позорной казни. Где же она, форма? Она вспоминается лишь для усугубления унижения: нешитый хитон, венец, надпись: «Царь»...

Если в иные времена такой опыт — шок условности всех ценностей, безнадёжности мира и человека, строящего на песке, — давался избранным, здесь он стал демократически открыт каждому. Мне казалось тогда, в юности, и теперь кажется, что после него вернуться к обычным «жизненным планам», к привычке «прожить свою жизнь» уже нельзя. Что тот момент в истории Пьера Безухова, когда его ведут в плену на расстрел и он вдруг смеётся: «Меня убить? Мою бессмертную душу убить?» Или предсмертная эйфория короля Лира, когда он восхищается перспективой тюремного заточения: «И когда ты попросишь благословения, я встану пред тобой на колени... и мы будем глядеть на всех счастливых и несчастных как шпионы богов», — что это и есть теперь общая жизнь, и есть та область, ступить в которую нельзя, надеясь вернуться... Что всё другое съедено огнём...

И нет, оказывается. Не окажется так, видно, до Второго Пришествия. Меняется только вот что: чем огромнее свидетельство мирового зла (знание, волей-неволей доставшееся всем, и тем, кто «ничего конкретно» не знает — но это знает окружающий воздух, знают формы пред-

метов обихода, движения и речь на улицах), чем оно ближе к окнам, тем, чтобы не видеть его, нужно крепче и крепче отгораживать своё проживание от всего, чреватого проблемами. Бессознательно чувствуется, что всякая проблема может вывести куда-то туда, куда-то не дай Бог куда... И упорно продолжаемая «как всегда» жизнь становится не «как всегда» — а по-новому мелочна, по-новому неразумна и обкрадена вещами и положениями, побуждающими к творчеству и просто к восхищению. Что-то сочиняется, но ненужное, ни от чего не идущее, никуда не ведущее, такое, что внимание кричит: «хватит, хватит!» с первых строк, с первых звуков, с первого взгляда на вернисаж. И конец этих эстетических впечатлений, их «неразложимый осадок» — явное, как день, проклятие творческого бесплодия и удивительная, как будто заколдованная бессознательность авторов. Если никто из говорящих не хочет (уже не решается, другой случай: когда не решаются, то представляют, а что, а здесь и догадки о том нет) сказать что-то, без высказанности чего всё остальное говорить бессмысленно, — то кто это скажет?

Я замечаю, что, говоря о поколении, употребляю разные местоимения: то «они», то «мы». Так же поступил бы каждый из «них», из «нас», в зависимости от темперамента тяготея к тому или другому, но одним не ограничиваясь. Это тоже характеристика. Безусловного «мы» шестидесятых нет, ни единомыслия, ни единочувствия, ни даже мысли и чувства необходимости держаться вместе — «возьмёмся за руки, друзья» — у нас нет. Это лежит на поверхности и рассуждать об этом легко, потому и не нужно.

Итак, внутреннее изгнание. Это положение неустойчивое и довольно быстро разрешилось — для кого в фактическую эмиграцию, для кого — в коллаборационизм. Да, «литературная смерть», существование за пределами гласности и ниже всей общественной лестницы стало потихоньку своеобразнейшим видом коллаборационизма. Точно слушать «антисоветские» тирады людей, немалые годы потрудившихся для советской культуры. По их мнению, они поступались минимумом. Ну, «Любовь к электричеству», ну, репертуар пьес — «Мать», Маяковский и т. п. По сравнению с другими, это ерунда. С нашей потусторонней точки зрения, это было д о с т а т о ч н о много. Но и нам гордиться чистотой позиции вряд ли возможно. Как в обсуждённом случае с обидами, в компромиссах степени тоже мало значат.

Если вспомнить историю Бродского, можно оценить перемену в отношении к бесцензурной словесности. Существование «второй культуры» приобрело статус разрешённости, во всяком случае, дозволенности — и платить за это свой налог пришлось, как ни клянитесь, что нет, а пришлось. За нищенское собачье существование? Да, но на свободе. С этим уровнем приходится сравнивать, а не с удобными для совести секретарями Союза, как это делает Вас. Аксёнов. А чем платить? Тем же, конечно. Подтверждением лояльности. Кому-то хотелось расширить представление, что искусство в принципе лояльно, не имея в виду никаких практических действий и политических программ, что само молчание по поводу официальной политики есть лояльность. Но молчание, чтоб стать знаком согласия, должно быть очень глубоким, очень надёжным, очень обширным — ибо в эту политику входят такие предметы, какие политикам не снились, хотя бы истолкование Достоевского. Так и выходило с молчанием: оно углублялось, оно начало действовать изнутри, оно, видимо, неосознаваемое, велело авторам держаться подальше от всяческой актуальности и, наконец, потерять её.

Р. Якобсон назвал одну свою статью «Поколение, которое потеряло своих поэтов» (это о Есенине, Маяковском и других). Если принять точку зрения на литературную эволюцию как на автономную, изнутри себя развивающуюся систему и по своим каким-то законам вдруг теряющую своих деятелей, — тогда нас нужно назвать «Поколением, которое потеряло своих будущих поэтов».

Финал

*... и новой грязью кропит.
А зёрнышко спит
И спать продолжает, вобрав сновиденья
из сока,
Который, быть может, слагался и здесь —*
(продолжение эпиграфа)

Перед какой задачей остановилось это «пятое поколение»? Это, конечно, моё частное мнение. Перед задачей построения личности.

Нужно просто, чтобы боль —
Вместо и воды и хлеба, —

так понимал дело Лёня Губанов. Помоему, и он, и множество поэтов и крити-

ков, официальных и неофициальных, разделяющих это убеждение, давно не правы. Уже потому, что тема «боли и крови» стала расхожей. Пожалуй, ничего другого в качестве положительной программы и не услышишь. А выражается эта хроническая потребность боли и крови в пустом и форсированном драматизме, в самовлюблённой нервности и бесстыдстве жалоб в форме стихов, скульптур и других изделий. Если бы вспомнить «божественную стыдливость страдания» «в существа разумном», одно это было бы шагом к построению личности.

Это после «деперсонализации»? во «время масс», после разрушения формы и крушения гуманизма? Вот именно. Я имею в виду не то утверждение интимной, характерной личности, что было в романтизме, — и не «образцовую личность», как у Петрарки, хотя к этому ближе. То, что я имею в виду, в казённом из казённых направлений официальной критики называлось «положительный герой». Они его, правда, «искали», а мне искать — каков он, положительный герой современности, не приходится. Он таков, как святой Франциск, таков, как... Как Внутренний Человек, не поступившийся Внутренним во встречах с миром.

Высокая поэзия как выражение напряжённо осмысленного существования несравненно чаще бывает голосом юности, чем взрослости. Взрослое вдохновенное существование — вообще дело редкое. «Да, воля человека может цвести, — горестно заметил Данте («Рай», 22, 85), — но непрестанные дожди обращают в уродливые завязи подлинные сливы». «Вера и невинность сохраняются в младенцах», продолжает он, — и начало членораздель-

ной речи — уже конец этого робкого и неверного цветения. Не обладая строгостью Данте, я продолжила бы это не испытанное испытаниями мира цветение воли до конца юности. Его и выражает лирика природнее всего. Если поэзия не перешагивает порога цветения воли, она кончается, и с ней кончается и жизнь поэта. Так или иначе, на переломе от цветения к плоду происходит что-то подобное смерти — и для взрослой поэзии нужен второй дар, потому что первый здесь кончается. Мне кажется, взрослое искусство, искусство реальности, а не предчувствия, искусство верности, а не влюблённости или разочарования в предмете любви нужнее всего. Искусство личности как личной страсти к выходу за собственные пределы, потому что Внутренний человек, в отличие от всего другого, бесконечен, это бесконечное желание бесконечности.

Одно дело, конечно, — образец, совсем другое — реалистичность его воплощения. Образец нищеты двенадцать веков ждал Франциска, чтобы ожить в Госпоже Нищете, его невесте. Весь фокус в том, что собственная ограниченность открывается только тогда, когда есть с чем сравнивать, когда есть это лично мне предельно желанное отсутствующее. И если я хорошо знаю наперёд, что это такое, я обманываю себя и ещё не догадываюсь о собственной ограниченности. Но если этим дело и кончится, то кончится, как эпиграф:

*...но сложился высоко
И должен погибнуть теперь взаперти.*

И прошу прощения у Лёни, что о нём самом так мало здесь сказано.

Леонид Губанов

* * *

Сиреневый кафтан моих обид...
Мой финиш сломан, мой пароль убит.
И сам я на себя немного лгу,
Скрипач, транжир у поседевших губ.

Но буду я у родины в гостях
До гробовой, как говорится, крышки,
И самые любимые простят
Мой псевдоним, который стоит вышки.

Я женщину любимую любил,
Но ничего и небосвод не понял,
И сердца заколдованный рубин
Последнюю мою молитву отнял.

Гори, костёр, гори, моя звезда.
И пусть, как падший ангел, я расстрелян,
Но будут юность в МВД листать,
Когда стихи любовницы разделят.

А мне не страшно, мне совсем светло,
Земного шара полюбил я шутки...
В гробу увижу красное стекло
И голубую подпись незабудки!

Русская керамика

Есть где-то земля, и я назовусь её именем.
Есть где-то тюльпаны с моей головой и фамилией.
Есть где-то земля, пропитанная одышкой,
сестра киселя, а душа голубеющей льдышкой.

Есть где-то земля, прочитанная слезами,
где избы горят, где чёрные мысли слезают
напиться воды, а им подают лишь печали.
Есть где-то земля, пропитанная молчаньем.

Есть где-то земля, которую любят удары,
и ржавые оспы, и грустные песни-удава.
Есть где-то земля, которую любят пожары,
и старые ритмы, и новые пьяные шармы.

Есть где-то земля, пропахшая игом и потом,
всегда в синяках, царапинах и анекдотах.
На пьяную юбку она нашивает обиды,
и только на юге её украшенья разбиты.

Есть где-то земля, как швея, как голодная прачка.
День каждый её — это камень во рту или взбучка.
Над нею смеются, когда поднимается качка.
Цари не целуют её потемневшую ручку.

Есть где-то земля, как Цветаева ранняя, в мочках
горят пастухи и разводят костёр кавалеры.
Есть где-то земля, как вино в замерзающих бочках.
Стучится вино головою, оно заболело!

Есть где-то земля, что любые предательства сносит,
любые грехи в самом сердце бездумно прощает,
любые обиды и боли она переносит,
и смерти великих, как просеки лес, её навещают.

Есть где-то земля, и она одичала, привыкла,
что лучших сынов застрелили, как будто бы в игры
играли, уволив лишь жалость, плохую актрису,
и передушили поклонников всех за кулисами.

Есть где-то земля, что ушла в кулачок даже кашлем.
И плачет она и смеётся в кустах можжевельника.
Есть где-то земля с такую печалью — нет краше.
Нельзя так сказать? Помилуйте, может, не верите?

Есть где-то земля, и я назовусь её именем.
Есть где-то земля, и я назовусь её знаменем.
Последней любовницей в жизни моей без фамилии
она проскользнёт, и кому-то настанет так завидно.

Есть где-то земля, и я не боюсь её грусти.
От соли и перца бывает, однако, и сладко.
Есть где-то земля, где меня рекламируют гуси,
летающие к Богу на бледно-любую лампадку.

И я сохраню её почерк волшебно хрустящий.
И я сохраню её руки молочно-печальные.
На всех языках, с угольком посекундно гостящий,
я знаю, я знаю, одна ты меня напечатаешь.

Ах, всё-таки люблю я церковный рисунок на ситце.
Ах, всё-таки люблю я грачей за седым кабаком.
Приказано мне без тебя куковать и носиться
и лишь для тебя притворяться слепым дураком.

Ах, всё-таки люблю я уют твой и вечные драки,
и вирши погладить давно бы пора бы, пора...
И с прелестью злой и вовсю нелюдимой собаки
лизнуть твои руки, как будто лицо топора!

Написано в Петербурге

А если лошадь, то подковы,
что, брызжа сырью и сиренью,
что рубят тишину под корень
неисправимо и серебряно.

Как будто Царское Село,
как будто снег промотан мартом,
ещё лицо не рассвело,
но пахнет музыкой и матом.

Целуюсь с проходным двором,
справляю именины вора,
сшибаю мысли, как ворон,
у губ с багрового забора.

Мой день страданием убелён
и под чужую грусть разделан.
Я умилён, как Гумилёв
за три минуты до расстрела.

О, как напрасно я прождал
пасхальный почерк телеграммы.
Мой мозг струится, как Кронштадт,
а крови мало... слышишь, мама?

Откуда начинается грусть?
Орут стихи с какого бока,
когда вовсю пылает Русь
и Бог гостит в усадьбе Блока?

Когда с дороги перед вишнями
ушедших лет, ослепших лет,
совсем сгорают передвижники,
и есть они, как будто нет!

Не попрошайка я, не нищенка,
прибитая злосчастной верой,
а Петербург, в котором сыщики
и под подушкой револьверы.

Мой первый выстрел не угадан,
и смерть напрасно ждёт свиданья.
Я заколдован, я укатан
санями золотой Цветаевой.

Марина, ты меня морила,
но я остался жив и цел.
А где твой белый офицер
с морошкой молодой молитвы?

Марина! Слышишь, звёзды спят,
и не поцеловать досадно,
и марту храп до самых пят,
и ты, как храм, до слёз до самых.

Марина! Ты опять не роздана.
Ах, у эпох, как растерях,
поэзия — всегда Морозова
до плахи и монастыря!

Её преследует собака,
её в тюрьме гноит тоска.
Горит, как протопоп Аввакум,
бурли-бурлючая Москва.

А рядом, тихим звоном шаркая,
как будто бы из-за кулис,
снимают колокольни шапки,
приветствуя социализм!

Эхо

Есть ценности непреходящие,
есть где-то руки нецелованные,
есть любящие, но пропавшие
лишь потому, что разворованы.

Есть тихий риск и громкий выигрыш,
царицы есть с испугом Золушки,
есть мир, который ты не выгладишь,
он в перламутре, лжи и золоте.

Есть капитаны пораженья,
крушения — учителя,
разврат святого отрешенья
и святость разного зверья.

Есть спившиеся в мире трезвенники,
непьющие — такая пьянь,
есть нищие — дворцам наместники
и есть блистающая рвань.

Есть правда, что с фальшивых матриц,
есть ложь в слезах последней славы...
И сиротою Божья Матерь,
и Сатана в венке из лавра!

Августовская фреска

И грустно так, и спать пора,
но громко ходят доктора.
Крест-накрест ласточки летят.
Крест-накрест мельницы глядят.

В тумане сизого вранья
лишь копны трепетной груди.
Голубоглазая моя,
ты сероглазых не буди.

Хладеет стыд пунцовых щёк,
и жизнь, как простынь теребя,
я понял, как я много сжѐг.
Крест-накрест небо без тебя!

* * *

Я каюсь худыми плечами осин,
холодного неба безумною клятвой:
подать на поминки страстей и засим
откланяться вам окровавленной шляпой.

Я каюсь гусиным пером на грязи
всех ваших доносов с эпитафией!
И жалобы жалки, как те караси
в холодной воде умирающих стансов.

И полную волю однажды вкусив,
я каюсь вечерней зарёй перед утренней:
опять разбирают глаза на Руси,
как избы, и метят, чтоб не перепутали.

Какая печаль была прежде всего,
та в землю уйдѐт, на неё после ляжет
и зимнее утро, и рюмка клико,
и девочка эта, что плачет и пляшет.

* * *

Господи, пореши
слѐзы с души нашей!
Мягкие карандаши
в беленькой спят рубашке.

Голову им снесу
острою бритвой завтра.
Скажут мне: «Нарисуй
тот, на траве, завтрак!»

Станет мой золотой
больше других по росту.
Солнцу за упокой
зелень бежит к погосту.

Мальчики вы мои,
вы у зари оброчны.
Белые журавли
красным ножом отточены!

* * *

И локонов дым безысходный.
И воздух медовый и хладный.
Ты стала свободной-свободной.
Ты стала желанной-желанной.

И утро в атласных жилетах
прелестных твоих перелесков.
Ты стала заветной-заветной
царицей моей поднебесной.

Мы, правда, любили немало,
мы, правда, забыли немного,
как солнце меня обнимало,
сияние тёплое Бога.

Душа твоя — вечное эхо,
а плоть, та и родины дальней
белей гималайского снега
и тайны хрустальной хрустальной.

Устали, а может, простили
те ночи, где, словно играя,
мы каждое слово крестили
и каждую мысль раздевали.

И было и сладко и чудно,
й, радости новой не чая,
блаженные губы почуяв,
мы огонь низводили очами.

И локонов дым безысходный,
и я за столом, бездыханный.
Но рукопись стала свободной.
Ну что ж, до свиданья, Губанов!

Публикация В. Д. Алейникова

Виктор Шавырин

Жизнь бесконечная

1

Пасхальный обряд свершился под открытым небом, во мраке ночи, едва разжёванным слабыми огоньками свечей.

Рядом лежало бездыханное озеро, помнящее, может быть, и крещение славян тысячу лет назад. Они входили в озеро не впервые — поколения и поколения их предков делали это во время языческих радений, в купальские ночи, проходя очистительный обряд. Здесь обитал их Водяной с русалками, и сюда же вошли они, чтобы стать христианами, — ибо стихия воды священна в любой религии, у любого народа.

...Как странно, что это повторилось ровно через тысячу лет. словно очерчен гигантский временной круг, словно природа и загадочная народная душа тоже умеют считать годы и возвращаются к истокам в точно назначенный срок.

Кто знает, жалели ли о вере предков первые христиане, те, что радели у озера, называвшегося в древности, как говорят, Волосовым — по имени языческого бога Волоса. Им было о чём жалеть, но не отрелись они ни от земной красоты, ни от поверий, ни от земледельческого календаря, ни от веры в русалок и леших... Переход в христианство был не концом, а продолжением их судьбы, и не потому ли уже первые русские храмы, фрески, иконы, книги — свои, русские, не потому ли так пышно расцвела на великой Руси рукотворная красота?

А те, кто после многих лет запустения вновь собрался на берегу и молился у стен разорённого храма, — с чем они прощались, о чём им было жалеть? Какую красоту они боялись потерять, возрождая свою веру и философию, с какими обычаями прощались, что отринули? Разве что десятилетия, пропитанные самогонкой, оглу-

шённые командным матом, орошённые вдовьими и детскими слезами, те десятилетия, от которых, как от батыева времени, в ужасе отвернётся читающий историю потомок.

«Вижу в гробах лежащую по образу Божию созданную красоту безобразну, бесславну, не имущую вида...»

Так говорят древние погребальные песнопения.

2

То ли название озера в самом деле утеряло когда-то один слог, то ли был здесь воловий водопой, но называется оно ныне Воловым. И когда бываю на этих плосковатых изгорбах, скорее степных, чем лесистых, на древнем Муравском шляхе, чудятся мне дальше мычанье волов, вскрики погонщиков, медленный скрип обозов, ползущих то ли в Крым из Москвы, то ли из Крыма вслед за татарской конницей... Здесь пролёг водораздел между бассейнами Волги и Дона: в иных местах вешние и дождевые ручьи бегут в противоположные стороны — одни к Каспийскому, другие к Азовскому морям.

Село Волово близ этого водораздела в километре от одноимённого райцентра Тульской области, у истоков двух рек: Упы, впадающей в Оку, и Непрядвы, бегущей к Дону. Достопримечательности села: озеро, которое дало ему название, и построенная в 1822 году Знаменская церковь.

Ныне языческая стихия воды и культовый памятник равно мертвы. Можно только догадываться, как прекрасны были эти места, когда озеро было чистым, наполненным ледяной родниковой водой, а храм на зелёном берегу отражался в воде блеском куполов и крестов.

Говорят, что здесь, из озера, у подножия храма, начиналась историческая река Непрядва, бегущая к Куликову полю и достигшая ниже по течению семидесяти метров в ширину. Куликово поле — в соседнем районе, по прямой километрах в сорока. Можно дойти за день, следуя течению реки, но только физическая география ныне устаревает: Непрядва уже не начинается из озера Волово. Вначале придётся пробираться сухим оврагом, и только километрах в десяти от озера появятся первые признаки водотока. А там, где когда-то тонули ордынские всадники, курица вброд перейдёт: гибнет исток реки — гибнет и устье.

Озеро наполнено серым глинистым илом, захлавлено металлоломом, банками и склянками. Таким я увидел его впервые, лет пять-шесть назад.

Я обедал в ресторане с громким названием «Русь». Был он пуст и тих, обслужили меня, скуки ради, сразу две девушки. Ресторан глядел окнами в поле, а за полем виднелась облезлая кирпичная колокольня. Отобедав, я пошёл на этот ориентир и вышел и к церкви, и к озеру, но только взялся за фотоаппарат, как проходившие мимо граждане сказали с укоризной:

— Загубили озеро, а теперь фотографируете.

Хотел было возразить, что вижу озеро в первый раз, что скорее всего это оно, местное население, его загубило, но граждане прошли мимо, торопились сажать картошку. Может быть, это чисто русская черта: возлагать ответственность на вышестоящих, за одного из которых меня, очевидно, приняли. Впрочем, не русская, а советская. Воспитывая народ в духе благодарности властям за все успехи, ненароком воспитали и эту черту. В самом деле, если всем, что имеем, мы обязаны мудрому руководству, то и всеми нашими прорехами мы обязаны ему же — самито ничего не значим! Что и говорить, семьдесят лет — это, как-никак, четырнадцать высших образований, и без следа они для народа не прошли. Может, и так рассуждали мимоходящие, что надо было бы своевременно принять насчёт озера какое-либо постановление, но вот не приняли — и валяются в нём теперь ведра, шины, чайники и железяки от комбайнов. Постановления вовремя не приняли, а теперь ходят по берегу да фотографируют...

Церковь... О ней в райцентре сказали то, что обычно говорят в далёких от культурных контор местах: приезжали, мол, из Тулы, смотрели и...

— И что же?

— Сказали: ничего особенного.

Оно, может, и впрямь ничего особенного, на то их учёная воля, хотя на госохрану церковь всё же поставлена. Провинциальный классицизм начала прошлого века. Есть и получше. Но в Волове другой церкви нет, она одна. Единственная и неповторимая. Озёра, может быть, тоже есть получше. Но и озеро в Волове — одно на весь район и едва ли не на всю область. Если погибнут храм и озеро — страна потеряет, в сущности, немного. Но воловцы потеряют всё, что имеют. Поэтому они вправе смотреть на своё достояние своими глазами. А чего же смотрят глазами приезжих?

Не знаю, кто приезжал в Волово и как именно выразился. Но вот это наше привычное, воспитанное за семьдесят лет обращение к мнению начальства по вопросам сокровенного, личного, неповторимого — оно тоже удручает и даже пугает. Кому-то стукнуло в голову, и... что же получается? Вали, ребята, сверху сказано, что это не может быть нам дорого? Так ведь понижают в селе эпоху, когда сохранение памятников и нравственности словно бы стало профессией людей, специально на то поставленных. А кто не специалист — не суйся!

И вот тогда, обойдя кругом озеро, прошагав, может быть, по Волосову капищу и — как выяснилось позже — по двум христианским, стёртым с лица земли кладбищам, я вошёл в церковь. Оказалась она обыкновенным бесхозом: открытые проёмы, груды кирпичного щебня; под куполом на проволоке висел обгоревший голубь. Как будто пять минут назад отхлынула отсюда орда с арканами и факелами, оставив по себе зловещую память, что столетиями будет волновать и уязвлять людей моей земли: «И церкви святые запалиша и огню предаша...»

Что за люди посетили нашу землю в двадцатом веке, кто всё же победил на берегах Непрядвы и где оно ждёт нас, наше поле Куликово?

3

Думал ли кто двадцать-тридцать лет назад, что Русская Православная церковь будет широко отмечать тысячелетие крещения Руси? Многие полагали, что лишь богомольные старушки да престарелые священники останутся к тому времени, но и те забудут, как Богу молиться. А народ... что народ? Что ему Нагорная проповедь, когда молчал он о кровавых ку-

пелях Афганистана, о голодных старухах, погребённых метелями, как в норах, в избушках истомлённых, вымирающих деревьев? Сказано в притче о Лазаре: «Господи, уже смердит!» — то есть процесс необратим, и не врача зовут в таком положении, а гроб готовят.

Ибо уже смердим, Господи.

А госохрана та самая, на которую поставлены многие наши местнотчимые храмы, — это та же бюрократическая личина, что обманывает, но не спасает. Что она защитила, от кого? Вот в Тульской области тысяча памятников стоит на учёте, ещё столько же паспортизовано и было бы взято на учёт, если бы облизполком искал себе лишнюю обузу, да пять-шесть тысяч ждут паспортизации; но и взятые на охрану, и описанные, и неизученные ветшают и разрушаются с равной скоростью. «Что делаете с памятниками?» — «Ставим на учёт». — «А когда они разваливаются?» — «Снимаем с учёта», — в таком диалоге я участвовал, заглянув в одно богоспасаемое общество по охране памятников истории и культуры, такой диалог был бы возможен в тысяче таких обществ. А иной раз и с учёта снять забывают: церковь уже давно на кирпич растащили, а государство всё ещё «охраняет» её. Где-то что-то реставрируют, но до храмов, подобных Знаменскому, реставрация вряд ли когда дойдёт — не шедевр, не столица, не туристский центр, после крымских ханов здесь, поди, ни одного иноземца не было и не предвидится.

Потому что в одной Российской республике стоит на учёте 37 тысяч памятников архитектуры — при том самом соотношении, когда рулетка искусствоведа не коснулась и пятой-шестой части всех имеющихся! И большинство из них на краю гибели. Взять бывшую Тульскую губернию: в ней было 870 церквей, и все они, конечно же, находились в полном порядке. Сейчас в хорошем состоянии их ровно столько, сколько действуют — три десятка.

У меня не было и нет сомнений: то, что мы имеем, мы потеряем ещё при нашей жизни, утратив всю созданную нашими предками земную красоту, за исключением немногих образцов, и ничего тут не поделаешь, как ни лицемерь, как ни «охраняй». Была, правда, у меня надежда, но такая крохотная, такая невероятная, что и вообразить было трудно, — надежда на возвращение такого положения, когда десятки тысяч храмов содержались в порядке без каких-либо реставрационных контор, советов ВООПИК, производственных групп по охране и эксплуатации памятников, заседаний в облизполкомах,

паспортизаций и диссертаций, без налётов БХСС, без прокуроров, отыскивающих по начальственным дачам уплывшие с объектов дефицитные стройматериалы, без отчаянных всхлипов краеведов в печати, жалующихся на гибель ещё одного памятника...

Так ведь оно и было — без всего этого обходились ещё семьдесят с небольшим лет назад. Но такой слабой была эта надежда, что и не верилось ей. Ибо уже смердели мы, и смердели изрядно, посильнее, чем Римская империя накануне нашествия варваров.

4

И тут позвонил председатель местного сельсовета Сергей Иванович Власов:

— А у нас новость. Церковь вернули верующим. На Пасху богослужение было. Правда, не в церкви пока, а так... снаружи, у алтаря. На берегу озера...

— Значит, и у вас возвращают? Ну, набрали вы себе очков перед выборами?

— Да уж... Все бабушки словно бы разогнулись...

Власов пригласил в гости, обещал прокатить на мотоцикле по всем своим владениям, показать достопримечательности. И когда открылась передо мной широкая долина с озером, садами и деревенскими улицами, я мысленно возблагодарил его за это приглашение, и явилась надежда на возвращение утраченной красоты.

Окна храма, прежде зиявшие пустотами, теперь оказались затянутыми плёнкой, закрытыми щитами. Внутри было выметено, висели электрические лампочки, розовел воск от сгоревших во время молебнов свечей. Церковь, освещённая изнутри, говорил Власов, производила в пасхальную ночь ошеломляющее, волшебное впечатление: её проёмы горели, верующих вокруг собралось несметно. Как-никак, тысяч пять населения в райцентре, да округа — и многие ли помнят, многие ли видели на своём веку, как в церквах службу служат? И я с ним согласился: сам попал в действующий храм лет семнадцати, в Загорске, а до тех пор ассоциировалось для меня само слово «церковь» с руиной, где пацаны голубей гоняют да где по ночам шлюшки визжат. В лучшем случае — с ремонтными мастерскими.

Церковная община собирает деньги, их на восстановление храма нужно много. Но это не проблема сельсовета, а вот озеро — его проблема.

Судя по почвенной карте, озеро Волово окружал в древности лес диаметром километров тридцать. Ему и обязаны своим началом славные русские реки: Упа, Непрядва, северные притоки Красивой Мечи. Озеро, как все вообще верховые болота и озёра, играло роль природной водонапорной башни, подпитывая через водоносные горизонты эти реки. Такую же роль играло на тульской земле ещё одно водораздельное озеро, из которого текли Дон и приток Упы Шат. Название у него было поэтическое: Иван-озеро, отсюда и Дон называется в исторических песнях Ивановичем. Теперь это Шатское водохранилище, заполненное раствором солей и кислот. Теперь Шат — скверный ручей, в котором вода не вода, а непонятная муть. Теперь Дон начинается в городской черте Новомосковска из стоков промышленных предприятий. Ничего живого в его верхнем течении нет; в нём стронций, ртуть, медь, аммиак, нитраты, и не то что купаться, но и просто гулять по его берегу нельзя: воняет река, и сильно воняет, превышены ПДК по содержанию в воздухе окиси углерода, двуокиси азота и особенно сероводорода и аммиака — это в сельской местности, в районе его слияния с Непрядвой, у поля Куликова!

Вернуть прежний облик Иван-озеру невозможно даже теоретически. Спасти Волово-озеро ещё можно: в таком случае оно останется единственным водораздельным озером меж бассейнами Верхней Волги и Дона.

Из-за обширного леса знаменитый Муравский шлях уклонялся в сторону от водораздела и форсировал Непрядву несколько ниже озера, близ села Никитского, где пролегла затем большая государственная дорога. О соприкосновении леса со степью и Руси с Ордой напоминает целая цепочка названий: Ялта, Караси, Становая, Баскаково, Осиновый Куст, Крестищи, Кусты...

Распространённые в южной России названия типа Караси принято связывать с тюркским карасу — чёрная (то есть подземная, родниковая) вода. И в это охотно веришь, учитывая близость древней кочевнической дороги и множество родников в этих местах, которые мечтает расчистить Власов. По местному преданию, Ялта получила название потому, что в восемнадцатом веке сюда было переселено из Крыма татарское племя. Это тоже очень похоже на правду, потому что ялта — название одного из татарских родов.

Родники и дали жизнь озеру Волово, причём здешние жители хранят ещё одно

предание. Когда-то ключи в озере забились так сильно, что водоём переполнился и угрожал снести плотину, отделявшую его от русла Непрядвы. Возникло опасение, что водяной вал хлынет по долине. Чтобы не допустить потопа местного масштаба, родники принялись забивать чем попало, даже мельничными жерновами. И забились так, что ныне озеро заполняется в основном паводковыми водами. А ключи пробили себе путь ниже по суходолу.

Разговоры о том, что озеро надо бы вычистить, велись давно. И однажды совсем уж решились это сделать, да пожалели карпа: как раз запустили в озеро двадцать тысяч мальков, и надо было подождать, когда они наберут товарный вес.

Кстати, о карпе. Озеро и соседнюю ферму брали в аренду инициативные люди из Армении. И взяли бы, если бы срочно не уехали домой после землетрясения. Трудно судить, хорошо это или плохо, что не взяли. Во всяком случае, то, что природные объекты в средней полосе готовы взять едва ли не в собственность приезжие из дальних краёв, свидетельствует не в пользу предприимчивости здешнего народа. Правда, местные лишены предприимчивости и веры в перемены по своей воле.

На этом фоне история с посадками кажется банальностью. Конечно, озеро надо обсадить, тем более что для райцентра это единственная экологическая отдушина. Так вот, деревья сажали много раз, и много раз они гибли от скота. И вновь посадили, и вновь ёлочки желтеют от жары — поливать надо. Скот, правда, теперь жители стараются отгонять — а раньше и внимания не обращали. Может быть, арендаторы лучше бы заботились о деревьях, но только нельзя же всё так — за деньги да за деньги... Вспоминаю я по книгам и рисункам красоту минувшую, вспоминаю и думаю: кто на ней заработал? Сажали мужики леса и сады, копали пруды, расчищали родники, строили церкви и часовни — за деньги, что ли? Надо было сделать красоту чужой, чтобы потом брать её в аренду. У себя в аренду не берут...

5

Была у меня мимолётная встреча с ленинградским профессором, специалистом по демографии, а точнее — по миграциям населения. Встреча состоялась после большого официального шоу в Туле, куда съехались и слетелись комсомольские функционеры со всей страны — в очеред-

ной раз решать, как поднять неподъёмную нашу нечернозёмную деревню. Рассказал он мне один эпизод из своей практики, который я приведу здесь так, как услышал его.

— Приезжаю в колхоз. Хозяйство как хозяйство: бурьяном заросло. Посреди села — церковь. Красивая, восемнадцатого века. Ещё фрески сохранились... В церкви — мехмастерская, трактора туда идут на ремонт. И что-то все проваливаются на пути в какие-то ямы. Туда и песок сыплю, и щебень — а они всё-таки проваливаются. Оказывается, кладбище было вокруг церкви...

Ну да ладно. Спрашиваю председателя: «Строите?» «Строим», — говорит. «А кто строит?» — «А шабашники, бригада из Дагестана». — «Почём платите?» — «Дорого, по шестнадцати рублей в день. Но и работают с темна до темна». — «А местные строители есть?» — «Есть». — «Почём им платите?» — «Да рубля по три. Мы их на подсобных, на ремонтных работах держим — доску прибить в коровнике, крышу подлатать». — «Да ведь у вас так последние люди разбегутся! Отчего же вы своим настоящей работы не дадите, чтобы они заработали?» А он мне: «Наши-то? Так это же пьянь, они же никуда не годятся. И не умеют работать, и не хотят. Нет, русские строить не могут, а их и близко к настоящему делу не подпущу. Вот дагестанцы — это да, это трудолюбивый народ!»

Тогда, рассказывал мне демограф, спрашиваю я его: «Извиняюсь, эту церковь кто построил — дагестанцы? Да они в восемнадцатом веке не тем занимались! Не-ет, я ничего плохого ни о каком народе сказать не хочу. Я только спрашиваю: с чего это русский человек, который тысячу лет назад Софию построил, сегодня и не хочет работать, и не может? Не поискать ли причины, а? Ведь прежде чем плевать, прежде чем варягов звать — не спросить ли самих себя, с чего это великий народ спился, дома забросил, в бега ударился? Тысячу лет пахал — и вдруг шлея под хвост попала? Или довели его до нечеловеческого состояния?»

...С этого разговора, с загадки, заданной случайным знакомым, я задумываюсь всякий раз, когда вижу в распадающемся, грязном и пьяном селе очередной силуэт старинного храма, ещё издали определяю время, стиль: классицизм? барокко? узорочьё семнадцатого века? И поражённый одною думой, гляжу я на матерящегося закопчённого мужика, что бредёт неведомо куда и зачем в своей промасленной одеж-

де у подножия этого всё ещё гордого храма: его ли предки построили и изукрашили это, или пройдёт время, и о наших же храмах и дворцах мы будем рассуждать, как некоторые горячие головы о пирамидах и статуях острова Пасхи — мол, воздвигли их пришельцы из космоса, потому что не способен был создать такое местный примитивный народ...

И тот самый деревенский житель и работник, всё более утрачивающий человеческий облик и свой родной язык, пропитанный не сивухой даже, а одеколоном и жидкостью от вшей, с детства слышавший только мат и без мата даже не откликающийся на своё имя, не понимающий простой команды бригадира — он-то знает, помнит, верит, что его дед или прадед строил этот храм, копал этот пруд, сажал этот сад и умел молиться Богу?

6

Едва ли не в километре от церкви мы обнаружили старинные вместилища подвалы, а в одном из них чёрное надгробие, которое нам с трудом удалось перевернуть и прочитать:

«Господи, прими духъ мой съ миромъ. Здесь погребено тело Лукиана Тимофеевича Балашева скончался 22 мая 1869 года 70 летъ отъ рождения».

Эту загадку немедля прояснили здешние граждане, стоявшие на берегу озера. Близ церкви когда-то было кладбище, от которого ныне не осталось и следов. Там и лежал этот памятник — последний из уцелевших. Потом кто-то приволок его к подвалам, зачем — неизвестно. А далее...

— Я его в подвал спихнул, — сказал человек в ветхих милицейских брюках и цивильном пиджаке.

— Зачем?

— А чёрт его знает зачем! — удивился он сам себе и словно бы впервые в жизни призадумался.

Кажется, он так и остался в своём загадочном недоумении, не прояснив и нашего. Равным образом мы не могли установить, кто был этот сверстник Пушкина, чем занимался и каких потомков оставил. Но один из собеседников вспомнил, что там же, у церкви, был похоронен его дед, мельник. Другое кладбище находилось на противоположном берегу озера, и от него тоже не осталось следов. Воистину, всё, что уцелело в Волове от многих поколений — одно чёрное габбровое надгробие неведомого Лукиана, да и то спасается оно в подвале среди рваных мешков из-под удобрений.

Волову, как, впрочем, и жителям многих других сёл, посёлков и городов и целых областей, надо ехать либо в Москву на Новодевичье кладбище, либо в Ленинград в Александро-Невскую лавру, чтобы сходить на экскурсию, посмотреть и подивиться: какие всё же раньше памятники были, какие слова до революции на надгробиях писали! Да и поймёшь ли, что оно такое: «прими дух мой с миром». И на современный язык не перевести, потому что нет в нынешнем телевизионно-газетном языке таких понятий. Пусть специалисты разбираются, на то они и специалисты. Есть ведь они где-нибудь... в той же Москве, например. Специалисты по надписям и по храмам, по плотинам и по родникам, по народной нравственности и по иконам, по старым песням и посадке деревьев... А то, что раньше каждый в этом разбирался, что всё это было естественной обязанностью всякого нормального человека — это, конечно, удивительно, да только что о том вспоминать!

7

В Лунёвке 24 двора, а жителей чуть больше — по одному с дробью на хозяйство. Председатель сельсовета — самое высокое начальство из тех, кто не брезгает заезжать сюда, а радио — самая малая из забот, с которыми к нему обращаются жители. Власов олицетворяет все верхи, на него смотрят как на подателя благ, которых у него в кармане, понятно, не имеется.

Председатель, заглушив мотоцикл, предложил мне посмотреть на «графские развалины», которые оказались чем-то вроде фольварка из белого камня-плиточника и с кирпичными арками полукруглых окон. Здание было основательно разрушено, причём не более трёх лет назад — здесь добывали стройматериалы для дальнейшего подъёма Нечерноземья. Кругом стоял огромный сад, бывший смородинник, густо заросший молодой крапивой и перезимовавшим сухим чернышом. Смородинник выкорчевали, но деревья по периметру ещё сохранились и навевали думы о тех временах, когда окапывали и ограждали леса, строили пруды и разводили сады.

В разговоре об эксплуататорах, навтыкавших всюду деревьев, кладбищ и плотин, мы приблизились к деревянному строению, из которого вышли две бабушки, охотно вступившие с нами в разговор. Видимо, мы для них были чем-то вроде

отсутствующего радио, и одна из них даже предложила осмотреть её жильё, оказавшееся бывшим барским домом. То был единственный в округе и один из немногих в державе сохранившийся деревянный дом помещика средней руки.

Дом был перегорожен внутри на две семьи, так что из внутренней стены, из обоев ещё торчала дверная ручка, за которую брался барин, прогуливаясь из своей комнаты в гостиную. Историческая пакля в исторических венцах, дощатый пол образца девятнадцатого века и образа в красном углу ещё хранили тепло ушедшей эпохи, когда всё было не то чтобы лучше или хуже — а иначе.

Бабушкин отец служил у этого помещика, Павла Андреевича Самородского, конюхом, и она держала предания в перевозданной свежести. А каменные «графские развалины» как раз и были каретной и конюшней.

Я не спросил у бабушки имя-отчество, опасаясь, что тогда она вспомнила бы меньше, чем могла. Она и без того, не смотря на всё желание поговорить, замолкала на полуслове, испытывающе поглядывая на нас, и осведомлялась, не напишем ли мы обо всём этом в местную газету. Мы заверили её, что в местную газету писать не станем, и поинтересовались, отчего она этак смущается, ведя с нами столь безобидный разговор.

Бабушка согласилась с нами, что бояться нечего, но только как-то привычно ей говорить с оглядкой, особенной потому, что нас всех вместе трое, а с подошедшей соседкой, живущей в барской гостиной, даже четверо.

— Конечно, теперь и про барина можно поговорить, теперь-то уж можно... А раньше ведь по трое, по четверо не собирались, — пояснила она. — Даже когда, бывало, скотину выгоняем, и то... Потому что сойдётся по трое — всех троих и заберут. Раньше-то каждый третий под присмотром был.

Всё же бабуся, не боясь «линии» и НКВД, рассказала, что барин был хороший, мужики его уважали, хотя, конечно, и наказать он мог...

Мы слышали, будто народ в Воловских околотках аховый — в каждой русской деревне уверены, что самый плохой народ у них. А у воловцев даже довод припасён: тут, мол, были окраинные деревни внебрачного сына императрицы Екатерины графа Бобринского, в которые он ссылал с глаз долой разных пьяниц и хулиганов. Насчёт окраины графских владений народ был совершенно прав — неистреби-

ма-таки память людская! — и нам оставалось выяснить, в самом ли деле здешние мужики унаследовали буйные характеры своих предков. Поэтому мы усиленно интересовались взаимоотношениями эксплуататорских классов и тех, кому нечего было терять, и бабушка-таки раскололась, выдала историю:

— Так-то взяли мужики кусок мыла, пошли на скотный двор и скормили барскому быку. У того, конечно, пена изо рта ползёт. Прибегают к барину, кричат: «Бык взбесился! Стрелять надо!» Павел Андреевич испугался: «Голубчики, застрелите ради Бога, только не у меня на дворе, это же бешенство! Уведите куда-нибудь подальше и кончайте. Я вам на выпивку дам». Ну, они увели быка в лес, застрелили, разделили да и сожрали.

Взаимоотношения, таким образом, не противоречили «Краткому курсу» и даже своеобразно иллюстрировали его, но бабушка этим не ограничилась и рассказала новую историю, которая усложнила и запутала начавшуюся было проясняться народоведческую концепцию:

— Уж всех господ в округе погромили, а Павла Андреевича всё не трогали. До тех пор, пока сам мужиков не позвал. Советская власть, говорит, уже в Семёновке, в Богородицке комиссар, сюда идут — берите всё, мужики, хочу, чтоб моё добро досталось не чужим, а своим. Ну, тут деваться некуда, стали его грабить. То есть имущество по домам растаскивать. А самого его вывезли. Жёну и дочерей он ещё раньше на поезде отправил, а сам припоздал. И уж нельзя было ехать, власти сменились, опознали бы его на железной дороге, а разговор тогда был короткий, — мужиков пачками стреляли, не говоря уж о помещиках. Так его наши, лунёвские, привезли на станцию Караси, посадили в бочку, в бочке окошко проделали и надписали сверху, куда идёт груз. И на платформу погрузили. Чтобы он, значит, из нашего, из Богородицкого уезда выбрался, проверки миновал. И ведь упасли! Ныне, говорят, его потомки даже в Москве живут. А мне тут говорят: как ты живёшь в его доме, то должна его в церкви поминать. Что ж, я и поминаю.

Мы получили удовлетворение от мысли, что род барина не пресёкся, ибо новые поколения живут на благо друг друга. Мужики, можно сказать, подарили жизнь не только самому Павлу Андреевичу, но и великому множеству его потомков, русских людей, которые родились или ещё родятся, — в ней, в череде сменяющих друг друга поколений, заключена жизнь бесконеч-

ная, которую одним выстрелом мог оборвать какой-нибудь припадочный комиссар с каменными желваками и серьгой в ухе.

Бабушка между тем говорила о водопроводе и дороге и, обратившись к нам, попросила несколько раз:

— Берегите людей.

И надо же, сколько было лозунгов: «Берегите женщин!», «Берегите мужчин!», а вот чтобы беречь людей вообще — до этого, по-моему, ещё ни одно светило политической мысли не договорилось, а казалось бы, куда как просто! Ну так просто, что проще некуда!

Может быть, оттого это, что подобный лозунг мог родиться только в Лунёвке, которая участвует в перестройке без дороги, водопровода и радио. У неё, у Лунёвки, где временами нет света, как нет и завоза хлеба, где не появляется автолавка, где жителям не видать друг друга за стеной бурьяна, своя собственная, оригинальная философия, не совпадающая с ценностями Томмазо Кампанеллы, Фурье и Оуэна. В сохранившихся ли преданиях тут дело, в отсутствии ли радио и телевидения, в приверженности ли к церкви или в личном опыте — не знаю. Но какая-то причина есть.

8

— А это моя родная деревня, Крестищи.

Власов присел на зелёный крутояр, по которому ярко желтели одуванчики, и поглядел перед собой с тем же удовлетворением, с которым художник смотрит на удавшийся, только что законченный пейзаж.

Перед нами в зелёных берегах лежало голубое зеркало воды, расширяющееся по направлению к высокой плотине. По обе стороны пруда стояли дома медленно угасающей деревни...

За право создать, а вернее, восстановить этот пруд он два года воевал с директором совхоза, когда был ещё не председателем сельсовета, а механизатором с обмороженными от металла, почерневшими пальцами. В конце концов он вытребовал скрепер и в общей сложности два месяца вычищал ложе пересохшего пруда, чинил прорванную плотину. Получал при этом по тарифу, но без дополнительной оплаты по конечному результату — в отличие от других механизаторов, потому что его конечный результат не оценивается в деньгах. Доканчивали плотину другие механизаторы, не обошлось и без воскрес-

ников, даже один родник расчистили, но родников тут было много, и все их надо чистить, как и старинный колодец на берегу.

Повыше пруда, в котором уже ходят караси, есть ещё пруд с прорванной плотиной, и к нему внимательно присматривается Власов. Тут был целый каскад, созданный барином, дальним потомком которого является председатель сельсовета и имя которого он — напрочь забыл, потому что воловская история ещё не написана и тем более не напечатана. При барине пруды чистили ежегодно, причём не спуская их, как делают ныне, чтобы осушить дно и загнать на него бульдозер, уничтожив при этом малька, водоросли и родники. Как видно, предок Сергея Ивановича был не дурак.

9

Далеко из полей видно — блестит на солнце шпиль Никольской церкви в селе Осиновый Куст.

Разбросанное, изреженное, неухоженное село вызывает своим видом грустное томление, и украшает его только храм. Он помоложе, чем Знаменская церковь, не так ценен архитектурно, но он действующий, и этим всё сказано. Ни мерзости запустения, ни жгучей обиды за чувства и историю своего народа. Кто верит, тот молится. Кто не верит, тот проходит мимо. Что и кому делить на этих бескрайних просторах?

Здесь, в ограде, под защитой действующей церкви сохранились старые могилки и памятники, каких уже не увидишь на современных кладбищах. Здесь даже деревья зеленеют словно бы веселее, и покоя в воздухе больше. Удивительно! А шагнёшь два раза, выйдешь за церковные ворота — и вот тебе бурьян, разбитая, усеянная гайками и бутылочным стеклом дорога, ободранные деревья и в самом воздухе разлитые равнодушие и уныние...

Русский храм как явление культуры с точки зрения современного человека должен существовать. Конечно, если этот человек — не современный дикарь.

Любое культовое здание — всегда произведение искусства. Это может быть гениальная архитектура, а может быть и посредственная. Но посредственных стилей дореволюционное зодчество не знало. Это архитектура в любом случае, а не безликая постройка.

Это фрески и иконы — десятки квадратных метров живописи, восходящей к

канонам, складывавшимся тысячелетиями, разрабатывавшимся великими художниками и вообразившими в себя достижения всей мировой культуры и духовный опыт всего человечества.

Это утварь, которую можно рассматривать как предметы прикладного искусства.

Это книги — каждый храм был библиотекой, составленной из книг, вообразивших в себя многовековой духовный опыт.

Это церковная летопись — история рода, села, прихода.

Это кладбище — место поминования, памятник с десятками форм малой архитектуры, выполненных в разных стилях — от барокко до модерна, со стихотворными эпитафиями, иконками, резьбой по камню и дереву, с чугунным литьём и ручной ковкой крестов, оград, скульптур...

Это хор, где разучивали, кстати, и светские песни. Именно церковные хоры обеспечивали прославленную музыкальную и певческую культуру сёл и городов России — культуру, просуществовавшую до тридцатых годов нашего века, которую ныне столь безуспешно пытаются реанимировать на клубной ниве...

Это колокольное литьё и звучание; красная иллюминация свечей и лампад; ценная мебель и драгоценные оклады, одежды священнослужителей и драпировки.

Это проповеди — лекционный зал, где говорили о том, что жгло души людей.

Это соборность людской общины и слияние дела рук человеческих с творением Божиим — мира людей и мира природы. Русские церкви всегда ставились на лучших местах, они как бы вырастают из ландшафта, внося в него сакральный и гуманистический смысл.

Попробую ввести в обиход выражение «плотность культуры». На Руси были десятки тысяч церквей. В средней полосе ни один человек не жил далее пяти вёрст от ближайшего храма, даже если он выходил на отруба или обитал в лесной сторожке. Не было точки, откуда в ясную погоду не слушался бы малиновый звон. И в плохую тоже: недаром в туман и в метель звонили в колокола. И так как у каждой колоколни был свой голос, то путники и обозы ехали от села к селу, ориентируясь то на альтовые, то на басовитые колокола.

Колокола Руси — даже если не говорить об их набате в дни набегов и пожаров — спасли тысячи и тысячи людей. Но их значение глубже и шире. Рассеянный по великим пространствам, разделённый холмами и лесами, реками и бо-

лотами народ мог сохранить и упрочить своё единство, лишь придав ландшафту единый сакральный смысл, связав разнородную географию с общим мировоззрением и общей нравственной идеей в то, что и было названо Святой Русью, Свято-русьем. Сёла и города, скиты и монастыри перекинулись друг с другом колокольным звоном, напоминая всем и каждому о своём родстве, об общей культуре и общем равенстве.

Странник путешествовал от одной освящённой точки местности к другой. Он приходил за тысячу вёрст в церковь, в монастырь, в скит и вставал на молитву так, как вставал на неё в своей приходской церкви — у него не спрашивали имя и звание, он всюду был своим, ему всё было здесь родным и понятным.

Красота растёт из красоты. Оттого ставили церкви на холмах. Оттого освящали истоки рек часовнями, особо живописные места — монастырями. Оттого шатровые колокольни возносятся к небу из пригорков, как бы вырастая из них. Оттого монастыри смотрятся в зеркало вод, а в самих монастырях непременно были сады, прудовые хозяйства; в конце концов, монастырям мы обязаны рецептами солений, квашений и многими весьма прозаическими навыками...

Это странничество, столь характерное для русской земли, теперь назвали бы средневековым и дореволюционным туризмом, однако я хотел бы избежать подобного искушения. Странничество не было пробежкой по храмам и пустым глазами на культурные ценности. Оно было в истинном смысле приобщением к высокой духовной культуре, благодаря которому осёдлый народ постоянно общался, обменивался опытом, разносил вести и идеи, видел и познавал свою страну и историю.

Мало какой русский человек не ходил на богомолья — именно ходил, преодолевая пространство неспешно, успевая его рассмотреть и запомнить, заходя по пути в десятки и сотни сёл, в десятки церквей, прикладываясь к местночтимым иконам, слушая проповеди местных батюшек, местные хоры, встречаясь с такими же странниками и беседуя с ними о пройденных дорогах. Ходили крестьяне, ходили и цари. Последние так же ночевали в мужицких избах либо на вольном воздухе, питались выловленной в реках рыбой; иной раз их прихватывали осенние дожди и ранние морозы, они брели по слякоти, с трудом волоча ноги, заходя, однако, во все попутные храмы.

По большим дорогам, например, по

тракту близ Ясной Поляны, куда любил выходить Толстой, тек непрерывный ручеек таких богомольцев — это шла, почитай, вся Русь. Так ходил на богомолье с бабкой маленький Есенин, так путешествовали Бунин, Лесков, Гоголь, Достоевский, сам Толстой...

Красота рукотворная делала особо почитаемыми некоторые города: в первую очередь, конечно, Москву, но и Киев, и Суздаль, и Сергиев Посад, и Ярославль, и Новгород, и Старицу... В этих священных городах, где сакральное зодчество как бы концентрировалось, жить было престижно и завидно, отсюда, с земной красоты, начиналось вечное общение с Богом — точно так же, как наиболее художественно ценные иконы не случайно были особенно чтимыми. Это единение искусства и духовности было вполне естественно для русского человека с его врождённым чувством прекрасного.

Врождённым? Но как же сказать иначе, если красота сопровождала его от крещения перед ликами старинных икон до отпевания под теми же образами, если вся жизнь проходила под речитатив притча, церковное пение, колокольный звон, близ волшебного белого или «украшно украшенного» храма? Это была культура, создававшая простор не только географический, но и исторический: она вела в глубь веков, от поколения к поколению, к почитанию Киевской Руси и Византии, к эпохе апостолов и патриархов; с этих фресок и икон смотрели на русского человека княгиня Ольга — и древнеримский поэт Вергилий, Александр Невский — и селяне шестнадцатого века, Андрей Первозванный — и Серафим Саровский... Два языка звучали в храмах — русский и старославянский, и последним в той или иной мере владел каждый верующий человек. Реальное двуязычие, связывавшее эпохи и народы...

10

Какой была судьба ценностей, изъятых у церкви?

Умолчание приводит к мысли, что они были перевезены в музеи и сосредоточены там. Если бы так! На самом деле в музеи попала ничтожная часть. Иначе и быть не могло: слишком много икон, утвари, книг хранилось в тысячах и тысячах храмов, не говоря уже о фресках и архитектурных деталях, которые просто уничтожались — в одних случаях ретивыми борцами с «опиумом», в других — безжалостным временем.

Доктор искусствоведения В. Г. Брюсова вспоминает, что её тернистый путь к спасению национальных сокровищ начался с драматического эпизода: в двадцатых годах пионервожатая привела её и других школьников на площадь, где была свалена огромная груда икон. «Юные безбожники» зажгли из них костёр — в воспитательных целях. Это было в Смоленске...

Но это было ещё не самым чудовищным надругательством над чувствами верующего народа (будем помнить: в двадцатые-тридцатые годы атеистов было мало, понятия «верующие» и «народ» неразделимы и в наше время, а в то — тем более). Нет, было куда более злонамеренное святотатство: из икон сколачивали скамейки и сортиры, в Туле ими мостили мост через Упу — лицевой стороной наружу, дабы люди поневоле топтали ногами священные изображения. Выколачивая из церквей, их рубили топорами, царапали гвоздями, и не раз я видел в деревенских избах Богородиц с выколотыми глазами, полуобгоревших Спасов, кое-как склеенные изображения апостолов — то, что под покровом ночи, ползком подбираясь к закрытым храмам, выносил и спалал народ.

Изъятые ценности подлежали реализации через Госбанк, Хозяйственный отдел ОГПУ, «Антиквариат», Рудметаллторг. Колокола, подсвечники, лампы, ризы на иконах, оклады из цветного металла направлялись в лом и переплавку. Иконы и иконотасы без позолоты подлежали уничтожению. Шкафы, скатерти, дорожки распределялись по учреждениям. Облечения для священников поступали в «Антиквариат» или — непременно в распоротом виде — в клубы для пошивки театральных костюмов.

Огромные ценности ушли за границу. Многие просто выбрасывались и уничтожались временем.

Я знавал человека, набравшего в тридцатые годы большую библиотеку церковных книг. Нет, он не закрывал церкви. Он просто заходил в уже закрытые, но не запечатанные, рылся в грудах книг и выбирал понравившиеся. Остальные оставались гнить в пустующих храмах.

Толпы воинствующих невежд, наускиваемые властями, громили кладбища. Вскрывались склепы, останки выбрасывались на поверхность земли. И ныне в Туле — не позор ли это! — стоят «obelisks», поставленные в память о революционных событиях, в которых без труда можно узнать надгробные памятники, вывезенные с кладбищ. В Тургеневских мес-

тах, близ Черни, из надгробий сделан мост и фундамент клуба — надписи ещё читаются. К 120-летию Бородинской битвы был взорван мавзолей Багратиона — вместе с останками полководца. Та же судьба постигла захоронение Скобелева на Рязанщине, и ныне гиды стыдливо опускают глаза, когда туристы из братской страны спрашивают, где они могут поклониться праху освободителя Болгарии. Останки святого Александра Невского, небесного покровителя города на Неве, установили в музее истории религии и атеизма, в который, словно в насмешку над верующими, превратили Казанский собор... Энциклопедия надругательства над культурой и церковью, будь она составлена, заняла бы много томов, и я вовсе не хочу приводить всё новые и новые факты: они перед глазами у каждого жителя страны, так же как в начале века перед глазами каждого был духовный центр округа...

Важно другое: психология погромщиков, обстоятельства, при которых шло это величайшее в истории разрушение. И тут я снова обращаюсь к моей родной земле:

«На Казанской площади против вековых стен кремля десятки лет стояло неуклюжее здание торговых рядов.

Там торговали купцы Стахановы, Ксенофонтовы, Быковы и другие. Вокруг рядов, оберегая их от «всякого соблазна», стояло пять церквей: «казанская», «покров», «воздвижение» и т. д.

Октябрьский ураган разрушил до основания это гнездо попов и купцов.

Ударники пятилетки построили на этом месте прекраснейшее из тульских зданий — фабрику-кухню».

Так ликовала в 1933 году тульская областная газета. Она же вела дискуссию о необходимости слома кремля. Правда, до него руки не дошли...

Только почему же речь в заметке шла об «октябрьском урагане»? Тут автор передёрнул: сносили не в октябре семнадцатого. Сносили в основном в «год великого перелома», ставший одновременно годом великого погрома национальной культуры.

Двести домохозяек тульского Заречья, если верить тогдашней печати, провели собрание и постановили просить городские власти снести колокольню церкви Сергия Радонежского. Начальству деваться некуда — снесло. Вообще-то не всегда удаётся что-либо выпросить у властей. Кто обивал пороги кабинетов, тот это знает. Но тут откликнулись. Без волокиты. А были ли домохозяйки?..

О том, что были просьбы оставить

церковь верующим и не ломать колокольню, известно наверняка — есть документы за подписями полутора тысяч жителей того же Заречья. Но не на всякий глас народа отзывался аппарат.

В Белёве над тихой Окой издревле стояла церковь, которая вдруг начала мешать больным местной больницы выздоравливать — своим надоедливым колокольным звоном. Согласно прессе, больные попросили церковь закрыть. Казалось бы, если уж так — то снимите колокола и перелейте их на бюсты вождей. Но на то и поставлены власти, чтобы выполнять наказания населения за лихвой. Церковь смахнули до основания.

А жаловались ли больные? С чего это верующий народ за полгода стал атеистом? Именно в течение полугодия: за такой срок в Тульской области было закрыто 229 церквей. И многие тысячи — по всей России.

Ныне во многих городах нет ни одной действующей церкви. Можно ли поверить в то, что там не наберётся два десятка верующих, необходимых для регистрации общины и восстановления или постройки храма? При ближайшем рассмотрении оказывается, что церкви предпочли сохранить где-нибудь в глубинных сёлах, вдали от городов и дорог. Странное дело: в деревнях община есть, а в городе с населением в пятьдесят — сто тысяч человек — нет. Но не секрет, что молятся в этих церквях в основном люди из того самого города, добирающиеся до церкви как придётся.

В новых городах, основанных при Советской власти, храмов вообще нет, даже пустых, заколоченных. Но что касается торговли водкой, столь усиленно насаждавшейся с того же «года великого перелома», — то тут не отмечается никакой социальной несправедливости, никаких подлежащих стиранию граней меж городом и селом.

Уничтожение национальной культуры ещё не стало фактом истории. Оно продолжается и ныне — тремя основными путями. Первый — прямое уничтожение памятников, что, правда, применяется всё реже. Второй — небрежение, в результате которого они разрушаются сами по себе. Третий — наиболее обманчивый и «аппаратный» — реставрация в том виде, в котором она сложилась за те же погротные десятилетия. Он набирает силу.

В результате нынешней реставрации памятник превращается в коробку без куполов и крестов, получает нелепые пристройки, приспособляется под кафе,

клуб, дискотечу, спортивный зал либо окончательно разрушается. Примеров я мог бы привести сколько угодно. Вполне понятна реакция человека, не имеющего жилья и далёкого от культуры: на то ли мы тратим деньги? Чего стоит эта хваленая русская культура, если на отреставрированный с таким трудом и с такими затратами «памятник» глаза не смотрят?

Безусловно, многим отреставрированным памятникам далеко до «прекраснейшего здания» фабрики-кухни, хотя упомянутая в тульской газете уродина просто-напросто разваливается.

Впрочем, кто сомневается ныне, что госреставрация вкупе со всеми ВООПИК и прочими обществами по сбору членских взносов не способна помочь духовному возрождению Отечества? Должна быть какая-то иная организация, владеющая этими памятниками на правах собственности, заинтересованная в их сохранности по глубочайшему убеждению каждого её члена.

Как, ещё одно общество?! — спросит читатель.

О, нет, не дай Бог новых обществ и новых функционеров. Хватит с нас отчётов о широком охвате, конференций и пенсионеров, брошенных с военной или партийной службы на спасение церквей. Такая организация уже существует, и создавать её не надо. Это та самая организация, которая как раз и создала эти художественные ценности и приумножала их до тех пор, пока у неё не было отнято такое право. Это Русская Православная церковь.

Единственно, что ей нужно — возможность получить назад то, что было отнято у неё в противоречии даже с действовавшими тогда законами.

Не думаю, что ей под силу восстановить всё, что следует восстановить. Но это в данный момент. Со временем, может быть, она возьмёт всё или почти всё. Она и сейчас готова взять многое, сняв с государства бремя бесполезных расходов на охрану и реставрацию. Пусть государство строит жильё и прокладывает дороги. У церкви есть деньги, и их будет тем больше, чем больше храмов вновь откроется на Руси.

Есть хорошие примеры такого возвращения. Но примеров отказов больше. Доводов нет — только идеологическое «но». Во имя идеологии продолжает истлевать наша культура. А положение такое, что государственным мужам ходить бы за церковниками и упрашивать бы их взять побольше да поскорей. Что, в самом деле,

они, подобно одному существу, боятся ладана?

В конце концов, Кафедральный собор в Вильнюсе был возвращён верующим после того, как государство отреставрировало его и обновило орган. И это не была милостыня. Это элементарный закон и долг вежливости — взятая вещь возвращается владельцу в том же виде, в каком она была взята. Но только я и не мечтаю о том, чтобы такое стало правилом. Хотя бы право вернуть: право вынести мусор, подлатать купол, оштукатурить стены, написать и повесить новые иконы... Большого и не надо: культура, как дерево, растёт из почвы без указаний сверху.

11

Однажды я сказал, что мы живём в средневековой Турции. Меня поправили: в Турции христианские храмы переделывали в мечети, а не разрушали.

Мы не переделали наши храмы во дворцы пропаганды и агитации. Мы не создали взамен новых прекрасных зданий. Что любопытно, несмотря на всё многолюдство Союза архитекторов, несмотря на «неустанную заботу» и прочее, несмотря на множество присуждённых Ленинских и Государственных премий — мы не создали за семьдесят лет почти ничего, достойного называться памятником архитектуры. Я говорю о стране в целом, где так много всего было построено. Что же касается Рязаней — Казаней, тем более районных центров, а паче сёл и деревень, то сама постановка вопроса вызовет у здорового человека улыбку: памятник архитектуры двадцатого века — в деревне? Да что это, Москва, что ли?

Но и в Москве их нет, хоть и пытались в разные времена выдать за таковые высотные здания «сталинского стиля», гостиницу «Россия», Дворец съездов, здание СЭВ и разные там олимпийские комплексы. Разрушив всё, не создали ничего — случайно ли это?

«Отдай душу в ад — будешь сыт и богат» — такую пословицу я записал в Лунёвке. Но вот отдали. И что? Сыты и богаты?

И всё же. Ещё течёт вода в Непрядве, тихо струящейся к Куликову полю, из

под стен Знаменской церкви — к чугунной колонне со златоглавым верхом, тоже в своё время свергнутым бравыми чекистами, но восстановленным и сияющим на десятки вёрст окрест. Течёт из тех же околотов другая река, Упа, стремясь в Оку, впадающую в матушку Волгу — в воды Упы ещё глядятся и тульский кремль, и Анастасов монастырь в древнем Одоеве. Грязны их воды. Бредут домой доярки с сетками, полными «бормотухи» — порадовал сельмаг, то-то балдёж будет! Но не те же ли самые доярки выбрали председателем сельсовета тракториста, отказавшегося от приличного куша к концу года и два месяца вкалывавшего, чтобы восстановить на своём водоразделе старинный пруд с голубой до блеска водой? Не они ли собрались к берегу мутного озера, под звёздное небо, не умея толком молиться, разучившись плакать и говорить друг с другом спокойным голосом? Смердим мы, Господи, но что же тянет нас к этим руинам, к брошенным нашим садам, к забытым родникам, отчего не унять её, мечту о жизни бесконечной, эту слабую надежду если не на своё бессмертие, то на бессмертие народа и обжитой им земли? Неужели это чувство изначально, раз живёт оно под спудом, как ни уничтожали его страхом и казнями, барабанными речами и водкой, непосильным деревенским трудом и беспамятством?

Сказано было: «опиум народа», но сказано было и «сердце бессердечного мира». Так и не ищет ли бессердечный мир своё сердце, собираясь у тёмных вод под пасхальными звёздами, заново начиная жить после того, как отхлынула в свою пустыню орда?

Какое усилие нужно, чтобы подняться над самим собою? Может, никакого такого усилия и не надобно? Может, мы по природе своей, по генам и наследственной памяти своей можем очиститься, как способны сами очиститься реки, если перестать в них гадить? Не знаю. Труден этот вопрос. Но та бабушка, что живет на краю раскорчёванного сада, за стеной чертополоха, в крапивных джунглях, поставила одно условие. Она своему председателю сказала на прощанье кратко:

— Хоть ты, Сергей Иванович, помни, что Лунёвка стоит. Береги людей, Сергей Иванович.



КАК МЫ ПИШЕМ: Андрей Белый, М. Горький, Евг. Замятин, Мих. Зощенко, В. Каверин, Борис Лавренёв, Ю. Либединский, Ник. Никитин, Борис Пильняк, М. Слонимский, Ник. Тихонов, А. Толстой, Ю. Тынянов, Конст. Федин, Ольга Форш, А. Чапыгин, Вяч. Шишков, В. Шкловский. М., «Книга», 1989.

В 1930 году издательство писателей в Ленинграде, замечательное, между прочим, издательство, которое начинало первую серию «Библиотеки поэта», выпустило собрание сочинений Александра Блока, которому пока ещё равных нет, и другие прекрасные книги¹, обратилось к 30 известным писателям с анкетой из 16 вопросов: от сбора материала до техники письма: «карандаш, перо или пишущая машинка», от прототипов действующих лиц — до: «наркотики во время работы; в каком количестве?», от влияния критики — до месячной производительности. Из 30 ответили 18. Трудно найти закономерность в одном и другом списке. Вот 12 уклонившихся: В. Вересаев, Вс. Иванов, М. Козаков, Л. Леонов, О. Мандельштам, Н. Огнев, Ю. Олеша, Б. Пастернак², М. Пришвин, С. Семёнов, А. Фадеев, С. Сергеев-Ценский.

Да, казалось бы, Ю. Олеше, всю жизнь наблюдавшему за самим собою, как же это я пишу — странно не отвечать, а скажем, А. Фадееву, мало озабоченному вопросами формы — естественно. Среди ответивших странно выгядит Ю. Либединский, всерьёз рассуждающий о мастерстве. Что ж, время производит свои действия со всеми списками, и оно разряжает «обоймы», заряжаемые тем или иным поколением критиков и издателей.

Показателен не только список имён, но показательна и затея. По многим причинам. Во-первых, по ещё не угасшему интересу и первостепенному значению, которое придавалось литературному мастерст-

ву. Под знаком этого прошли 20-е годы, давшие русской литературе именно мастеров (пусть не всегда вдохновенных художников, но мастеров, какими они и остались в последующем). Во-вторых, здесь сыграло роль и то новое явление, которое можно определить названием известной брошюры Владимира Маяковского «Как делать стихи». Многие тогда были убеждены, что этому не только можно, но сравнительно легко притом научиться и научить. Пришло время настойчивого заполнения литературы людьми хорошего социального происхождения от станка и от сохи (землю попашет, напишет стихи). И литературная учёба — одноимённый журнал, как известно, начал выходить именно с того же, 1930-го, года — литературная учёба того времени стремительно стала отдаляться от литературы. От первых студий послереволюционных лет, от студий, где большие мастера оранжерейно выращивали культуру в невозможное время — к призыву ударников в литературу, массовому производству писателей, убеждённых, что писателями не рождаются, в писатели выбиваются. Плоды всего этого мы пожинали долго, пожинаем и нынче. С этой массовой литучёбой естественно сопряжено и падение литературного мастерства как категории прежде всего индивидуальной. Серые члены СП в многочисленных кружках обучали желающих начаткам литературного ремесла. Порой из кружков выходили с большей или меньшей степенью повреждения и настоящие писатели.

И всё же книга «Как мы пишем» принадлежит более старому времени, когда почиталось стучное мастерство.

Автор послесловия к переизданию М. Чудакова справедливо утверждает, что сборник был «выключен из свободного обращения» не только потому, что среди его авторов — Замятин и Пильняк, но потому, что «всё его содержание к концу 1930-х годов уже выпало из упрочившегося и уплотнившегося общественного контекста».

Знак того, что проблемы мастерства, вдохновения, их независимости вновь стали обсуждать, М. Чудакова видит в появлении «Золотой розы» К. Паустовского. Возможно. Во всяком случае, именно с

¹ Издательство писателей в Ленинграде, последнее, вероятно, кооперативное издательство, было ликвидировано в 1934 году.

² К Н. Тихонову, О. Мандельштаму, Б. Пастернаку составители анкеты обратились не как к поэтам, а как к авторам прозы.

«оттепели» стал возрождаться робкий интерес к проблемам литературной технологии, и те, ставшие позднее шумно известными, молодые писатели, что начинали тогда, уделяли в своих поисках очень большое значение стилю, в противоположность молодым 30—40-х годов, жёстко сориентированным на тематику и проблематику. Вспомним, к примеру, ранние произведения таких непохожих писателей, как Юрий Казаков и Василий Аксёнов.

К тому времени поредели ряды мастеров, в том числе и тех, к которым обратились составители анкеты. И всё же присутствии в литературе М. Зощенко, Л. Леонова, В. Катаева, К. Федина, даже Б. Лавренёва или Вс. Иванова, как бы лихо мы нынче ни переоценивали вклад некоторых из них в русскую словесность, играло неочевидную роль. Чтобы признать это, достаточно вообразить, что в их отсутствие уже окончательное положение верховных жрецов социальности заняли бы Вишневский, Панфёров, Соболев, Кожевников, Кочетов и т. п.

Но это всё впереди, а тогда, в 1930-х, ещё были развязаны языки, ещё полагалось естественным поместить Горького между Андреем Белым и Евг. Замятиным — т. е. по алфавиту, ещё удавалось сочетать заветы русской культуры с наработанными навыками нового времени. Хотя, из наших дней, уже видны отчётливые признаки того грозного явления, которое вскорости обескровит литературу — крутая подгонка сочинений под идеологическую программу дня, года, пятилетки, эпохи.

Но здесь Федин ещё позволяет себе поиронизировать: «Поездки писателей в совхозы могут принести кое-какую пользу совхозам, но никакой — литературе». Через 21 год, выступая на совещании молодых писателей, он уже уверяет молодых, что секрет мастерства «прежде всего» в изучении жизни, и ссылается на письмо студента Литинститута со строительства Волго-Донского канала, пуску которого сам мэтр вскоре посвятит восторженную статью.

Здесь Андрей Белый ещё утверждает на собственном опыте «примат звука» в прозе. Но он же «надеется, что в 2000-м году, в будущем социалистическом государстве, его усилия будут исторически оправданы потомками тех, кто его осмеивает как глупо и пусто верещащий телеграфный столб». Увы!

Здесь А. Толстой признаётся, что «начало почти всегда происходит под материальным давлением (авансы, контрак-

ты, обещания и пр.)». И даёт замечательное, ставшее хрестоматийным определение трёх ипостасей писателя. А закончит советом почистить желудок перед работой.

Здесь Ю. Тынянов обронит знаменитое «Там, где кончается документ, там я начинаю».

Со многим знакомым, растраченным по цитатам, встретится читатель в этой книге. Но многое окажется внове.

Сборник «Как мы пишем» — это и приклад к творчеству писателей, и технические секреты, и самостоятельная ценность некоторых — не всех! — очерков, возросших из анкеты.

Есть возможность и поразмышлять о связи творческого *credo* с дальнейшей литературной судьбой писателя. Соотнести заявление с художественной практикой и т. д. Словом, достаточно разнообразному числу запросов способен удовлетворить этот шестидесятилетней давности сборничек ответов. И я лишь на одну ещё, в заключение, черту укажу, пусть не абсолютную, но всё же довлеющую: примат художественных критериев. Недавно побывавший в СССР Вас. Аксёнов в беседе с корреспондентом «ЛГ» очень высоко отозвался о творчестве Ал. Толстого. Не приняв ориентирующей подсказки корреспондента, напомнившей о «Хлебе», Аксёнов восхитился художником, автором «Хождения по мукам». Неужели нынче лишь эмигранту без риска для репутации дозволено оценить художественные достоинства мастера, хотя бы и «сталиниста»?

С. БОРОВИКОВ

ГЕННАДИЙ РУСАКОВ. Оклик. Книга стихов. М., «Советский писатель», 1989.

«Оклик» — третья книга Геннадия Русакова. Каждую из трёх разделяет три-четыре года, и по первым поэтическим книжкам, весьма невеликим по объёму, можно заключить, что самоопределение поэта было трудным и поздним, а обстоятельства становления — острыми и драматическими: «две войны, одна блокада», детприёмник, детский дом, суворовское училище:

...я полжизни проспал на подушках с
казённую меткой,
я родился в рубашке с начальственным
синим клеймом.

Пронзительная горечь сиротства, зависть к чужому куску, боль потерь, в ко-

торых остриженное под нулёвку «дитя общепита» ничуть не виновато, эмоциональная ущербность взросления, ощущение безотцовщины, неутолённая жажда родства — неполный итог ранних впечатлений бытия и памяти души. Первые книги Геннадия Русакова автобиографичны в плане предметно приземлённом: «свои» корни, детство, юность, внешний мир с близкой дистанции, завязь души... За пределы ближней памяти и окружения поэт если и выходил в первых своих книгах, то недалеко.

Как и почему мотив обездоленного войной детства, маетно-бездомной юности вдруг соединился в новой книге с предчувствием «родового наследства тамбовских прабабок, дьячковых старух», обернувшись то поиском отнятой и невозвращённой крестьянской души, то ответственностью за «потешку» на развалинах отчего дома, за пляску «на останках», за «обтрясённые колокольни», за потери куда более значительные, чем пережил лично? Как и почему сосредоточенность на себе или извинительный эгоцентризм сменились тревогами и страстями общими, где личный итог — это не только личный, а личная судьба — едва ли не общая участь?

Цельный образ книги, развивающийся свободно и непринуждённо из титульной метафоры, — в «оклике Родины», в оклике бескрайнего простора, носящего, кстати, в новой книге поэта самые различные наименования: огромной страны, земли, «шестой мира», «невесёлого пространства», дома, матери, родни, поля, дали, шири в их различных состояниях — то зова, то молчания, то времени дождей, то ненастья, то болезни; в о к л и к е зрелости, «возраста свершения дел», в оклике века, который оказался «других не хуже и не лучше»...

Мне больно за эти открытья на выбор. Мне больно того, что мне нынче дано. Спасибо, что дали, конечно, спасибо... Мне стыдно смелеть, если разрешено. ...Не верю ответам на четверть вопроса. Не верю смелеющим наперебой, как будто по воле сезонного спроса на совесть и жалость, на совесть и боль.

Размышление не столь уж неожиданное: оно стержневое, традиционное для лучших из того поколения, которое было старше Геннадия Русакова, — «сам попытаюсь, доищуся до всех своих просчётов»; «а если и ошибочка была, вину и на себя я принимаю»... Видимо, были идеи, ослепляющие быстротой осуществления. Даже потомок задаёт себе этот вопрос.

Себе, а не отцам и дедам. Каждый отвечает по-своему на «оклик» простора, земли, своего дома, как по-своему отзывается и Геннадий Русаков:

Российская страсть к невозможным делам и зуд по вселенским началам...

Эх, жизнь — о колена, судьбу — пополам! И вроде уже полегчало.

...Пускай нас окатит, и наземь швырнёт, и кости азартом ломает!

Лишь крови да воли наследственный гнёт душа на себя принимает.

Н. РЫЖКОВ

* * *

Место «трагического тенора эпохи» в нашей поэзии пока пустует. Это не значит, что в ней нет трагического начала. Напротив — на фоне общего падения интереса к стихотворному слову незыблемой остаётся читательская репутация поэтов, поднимающихся до высот трагического мироощущения. Таких немного, и у каждого внимательного читателя поэзии их имена на памяти. В последнее время в этот тесный ряд всё определённое и прочнее встаёт имя Геннадия Русакова.

Его новая книга «Оклик» ещё раз подтвердила серьёзность присутствия своеобразного голоса Русакова в современном поэтическом многоголосье.

Это темпераментная, резкая, страстная книга. Русаков пользуется классическим русским стихом, в этом он едва ли не «традиционалист», но любителям медитативной уравновешенности, элегической гармоничности «Оклик» вряд ли придётся по вкусу, потому что книга вся наполнена «яростью жизни»:

О ярость жизни! Не оставь — умру.
И так живу, как горло, напряжённый...

«Ярость жизни» — образ многозначный, стягивающий в своей глубине множество противоречивых, спорящих смыслов. Это, во-первых, острейшее чувство самой жизни, её плотской, материальной, природной стороны, это хмельное брожение крови, какая-то подростковая, языческая эмоциональная отзывчивость на всю прелесть «божьего мира». Однако исток всего этого — не здоровая, свежая чувственность, которая вовсе не редкость в поэзии. «Ярость жизни» у Русакова имеет отчётливую трагическую природу. Это чувство человека, который выжил чудом, который слишком хорошо, на собственном горьком опыте понял, насколько жизнь —

«дар случайный» в доставшийся ему и его поколению жестокий век.

Страшная сиротская судьба, напряжённый метафизический диалог с развенчанной в прах, перемолотой тяжёлыми жерновами неистой эпохи родней составляют, как и в двух предыдущих сборниках поэта «Длина дыхания» и «Время птицы», своеобразный «внутренний сюжет» новой книги:

Собирайся, мой род, мой приход отмечать:
пить дурной самогон и «матаню» кричать,
каблуками стучать, колготать что есть сил...
Собирайся, мой род, выходи из могил!

При этом Русаков не боится внешнего сходства с Юрием Кузнецовым, для поэзии которого тоже характерна трагическая напряжённость темы сиротства. Сходство воистину внешнее, если не сказать больше: полемическое. То, что у Кузнецова отмечено холодом мифологизированной риторики, демонической усмешкой, у Русакова выступает как вечная живая боль, столь же метафизическая, сколь и реальная. Русаков не судья и не фосфорический «гость из будущего», в судьбе родных он читает собственную судьбу, свою жизнь он воспринимает как случайную отсрочку от исполнения всеобщей судьбы рода: Допою-допляшу, где стоял — упаду и за вами, за вами, за вами уйду...

Однако этот «внутренний сюжет» не исчерпывает, конечно, содержательного богатства новой книги Геннадия Русакова.

Трагическая судьба рода и собственная сиротская участь теперь гораздо определённое вписаны в такой же трагический «хронотоп». Это страшные обстоятельства русской истории и огромные пространства России, как бы провоцирующие историю на «неистовость», крайнюю жестокость, невнимание к малой человеческой песчинке: «Кругом такая ширь, что страшно за страну...»

«История» и «география» наделены в поэтическом мире Геннадия Русакова универсальным смыслом, они фатальны, неизбежны. Так создаётся пространство для трагического конфликта: неумолимость судьбы, вычисленность исхода настолько не уменьшают ярости противостояния одинокого лирического героя «нелепому столетию» и «огромной ветреной стране». Она же — «неистовая», «невесёлая», «одинокая», «молодая». Любовь к ней, которую испытывает лирический герой Русакова, далека от благости, от умиленной слепоты. Это любовь зрячая, яростная, и всё же жаждущая какой-то конечной, последней гармонии:

Такая одинокая страна,
так низко небо, так душа томима.
И горькие, родные имена:
«Терновка», «Грязи»... Только мимо, мимо.

Впрочем, эта жажда гармоний прорывается, скорее всего, помимо воли поэта — в неожиданной эпической мелодичности некоторых стихотворений:

Мне бы встать и пойти и дождями на землю
пролиться,
но чтоб мокрые пальцы не тронули малых
птенцов,
потому что я тоже всего лишь пролётная
птица
на земле моих бедных, моих улетевших
отцов.

Самый же серьёзный счёт выставлен в книге Геннадия Русакова времени, точнее — истории, той самой истории, которая для многих поэтических поколений безотказно служила источником гордого чувства причастности высокой судьбе России. Этот державный исторический пафос решительно снят в поэзии Русакова:

Хвала тому, кто с временем на «ты»!
Хвала его душевному здоровью!
Я домогался этой простоты,
чтоб жить в ладах с моей строптивой
кровью.

И был неправ: у крови краткий час —
пусть подурит, пока ещё не ржава.
Ведь время — то, что уместилось в нас.
И родина — земля, а не держава.

Здесь принципиально изменён масштаб, изменён с исторического на человеческий. И это ещё один источник трагизма, поскольку никогда история не признает правоты отдельного человека, мимоходом превращаемого ею в «летучий сор, опилки, горстку пыли».

Исхода у этой трагической коллизии в пределах исторического времени нет — на то она и трагическая. Историческое «сегодня» не менее тревожно и не менее чревато «кровью» и «прахом», чем было «вчера» и будет «завтра»: «Той же кровью вода солон...», и мы — вечные «современники глады и мора, Аввакума, неистовых книг, половецкой хулы и разора». Поэту — и человеку вообще — остаётся стоически сопротивляться веку, «шепотком окликать издалека непрожитую тысячу лет», вечно искать «родство», которое в этом расширяющемся контексте обретает новое значение. Таким — несмотря ни на что — «окликом» и ценна новая книга Геннадия Русакова.

Высоко оценивая её как целое, не могу не сказать и о том, что явно нарушает её высокий строй. Это, во-первых, ряд стихотворений несколько «газетной» прямолинейности и однозначности («Опять меня учат гражданской отваге...», «Всё зло на свете — именем добра...»). Добротные стихи, дань традиционной «гражданственности», они ставят «точки над і», но не углубляют трагического пространства, заявленного книгой. Сочувственно прочитав их в журнальной публикации, я не почувствовал их необходимости на страницах «Оклика».

Второе, что вызывает некоторое сопротивление, имеет общий исток с тем сильным и живым, что является определяющей ценностью книги. Так часто бывает. Трагическая высота, на которую поднимается голос поэта, всегда грозит ему срывом. В ряде случаев Русаков такого срыва не избежал. И виной тому — всё та же «ярость жизни». Иной раз она застилает глаза, и поэт пугает трагический пафос с пафосом героическим (они отнюдь не близнецы), тяжкий и горький труд духовного самостояния — с насыщающей плоть «работой»:

Ни женщина, ни знание, ни власть
не насыщают. Есть одно — работа.
Пока мы живы — насладимся властью
порой земного севооборота.

Стих немедленно реагирует на снижение пафоса — он становится, несмотря на императив, дидактически вял, появляется тавтология — «насладимся властью», сразу вспоминаются аналогии — близкая по пафосу брюсовская «Работа» («Единое счастье — работа...») и едкое, опровергающее этот пафос блоковское: «работай, работай, работай: Ты будешь с уродским горбом...»

В стихах о любви та же несмирная «ярость жизни» провоцирует на форсирование голоса, нагромождение анафор и гипербол, что порой заставляет вспомнить эстрадные штампы не весьма высокого пошиба:

За три тысячи вёрст помани—
обомру и оглохну от звона.
Позвони, позвони, позвони!
Разве нет у тебя телефона?

Но, конечно же, не эти срывы определяют общую тональность новой книги Геннадия Русакова. Она — высокая и чистая.

А. АГЕЕВ

Б. ДЕДЮХИН. В братстве без обиды. Роман. Саратов, Приволжское кн. изд-во, 1989.

Постоянно растущий интерес общества к собственной истории делает новый скачок. Куда, казалось бы? Теоретики говорят, что новая полоса распространения культуры, в том числе и исторических знаний, идёт вглубь, в отличие от предшествующей, где главенствовало поверхностное освоение накопленного в веках. От Пикуля, так сказать, к Балашову?

Очевиднее другое: историческая проза с сюжетом приключенческим, облегчённым идейно-художественным содержанием всегда сосуществовала с прозой, ставящей перед собой задачу своего рода воскрешения национального духа, упорной в поисках связи времён.

Но у каждой книги и свой читатель, так что делить здесь нечего.

Новый роман Б. Дедюхина, а он явился продолжением романа «Чур меня» — первой части задуманной саратовцем трилогии, относится со всей очевидностью к «серьёзной» исторической прозе.

Романы Б. Дедюхина охватывают небольшой временной отрезок — три-четыре десятилетия рубежа 14—15 веков, но эти десятилетия краеугольные в нашей государственности и культуре.

Не буду заниматься безнадёжным да и ненужным делом пересказывания содержания. Скажу только, что если в «Чур меня» действие закручено вокруг сына Дмитрия Донского Василия, то в «Братстве без обиды» центр тяжести постепенно и окончательно переходит к образу Андрея Рублёва, хотя Василий, уже великий князь Московский, по-прежнему остаётся ведущим героем. Страницы романа населены персонажами самыми разными — от юродивых, крестьян, мастеровых, зарубежных гостей до рюриковичей, бояр и иерархов Русской церкви.

Вообще, заметной чертой исторической прозы Б. Дедюхина надо назвать его реставрационные усилия. Скрупулёзно восстанавливается немислимая старина — обычаи, детали быта и прочее. Но не делается бесполезной попытки передать русскую речь, звучавшую шестьсот лет назад. Правда, просветительское, информационное начало, как оно ни привлекательно, порой довлеет, замедляя действие, сообщая роману некоторую тяжеловесность, придавая оттенок несвойственной жанру учебности. Но это замечание, может быть, вкусовое.

Историческая проза — не фантастика ли это, обращённая в прошлое? Не в рав-

ной ли степени нереальны какие-нибудь «марсиане» и великие князья? Ведь ни тех, ни других мы не можем проверить практикой. Конечно, прошлое, в отличие от будущего, оставляет какие-то материальные опоры, элементы бывшего на самом деле. Доспехи древнего воина, его быт, не в пример «марсианскому», можно представить достаточно предметно. Однако исторический роман — не музейный каталог, не археологический доклад. Да и то: проза о текущем дне тоже может оказаться и каталогом, и докладом. Не вернее ли другая мысль: любимая проза, не важно, в какое время она обращена, реальна настолько, насколько она духовно зрела, насколько глубоко осмысляет вечные проблемы жития.

Перетекание действия из первого романа во второй, вся новая расстановка сил, новые идеи, новые идеалы — всё говорит о переходе центра авторских интересов от войны к миру, от воинов к художникам. Власть — то, без чего человечество пока не обходилось; искусство, культура — то, к чему оно постоянно стремится.

Духовное и материальное возрождение шло в единстве, и прежде всего через возрождение национального духа.

Русское Предвозрождение протекло в церковных формах. Андрей Рублёв — иконописец. Ключевые деятели русской культуры того времени были деятелями церкви. Стефан Пермский, допустим, создал азбуку для пермяков, чтобы те могли читать слово Божье на своём языке, лучше понимали его. В романе даются выразительные портреты Сергия Радонежского, того же Стефана Пермского, Епифания Премудрого, Кирилла Белозёрского... Исключительное участие Церкви в становлении русской культуры, искусства обеспечило и до сих пор придаёт глубокую духовность исканиям наших художников, выделяя их в мире и являя собой то, что и зовётся собственно русским национальным искусством.

Дружба Василия с Андреем Рублёвым, так внутренне укрепляющая великого князя, резко оборвалась после жестокой казни, учинённой им над провинившимися новгородцами. Подслушанный князем разговор Рублёва с Епифанием Премудрым и Кириллом Белозёрским открывает секрет: Бог прощает людям всё, кроме жестокости, немилосердия.

Гуманистическая идея является сердцевинной образной Андреем Рублёва, приготавливает читателя к третьей части трилогии, где характер Рублёва и его творчество, орга-

нически впитавшее языческую, русскую и христианскую, византийскую стихии, получает окончательное авторское прочтение.

Согласие русских перед лицом решающих испытаний... Самая напряжённая — тектоническая — линия нашей государственности, один из трёх китов, на которых она до сих пор держится. Вне национального согласия не может идти и речи о какой-либо национальной культуре. «В братстве без обиды» эта мысль объединяет весь художественный мир романа. В согласии видится и смысл рублёвской «Троицы» — подхваченный художником завет «Слова о полку Игореве». Предвозрождение не перешло на Руси в Возрождение — после Василия I опять пустились наши предки в раздоры и выяснения отношений. Увы!

В. БИРЮЛИН

Е. МОРОЗОВ. Когда мир тесен. Повести и рассказы. Куйбышев, 1988.

«Вспомнилось освоение нового типа деталей — радиопорных подшипников. Или разъемных, то есть разборных. Это самые сложные номенклатуры, с которыми заготовительные и сборочные цеха обычно намучаются, прежде чем освоят. Каждая новая марка нержавеющей стали по своему капризна в обработке, тут одной НТД не спасёшься, и нужен старый конь, который борозды не портит, нужен опыт да опыт...»

Увы! — скажем мы нашему терпеливому читателю, ибо нетерпеливый, видимо, до сих строк не добрался, — увы! — это цитата не из газетного репортажа на производственную тему, но из книги Е. Морозова.

«Не курит. Не любит иной раз ляля травить, то есть заниматься разговорами. Это всё лишнее. У людей необузданные запросы. Расход времени по пустякам: анекдоты и разные там похождения. Кому-то они интересны. Жизнь Гены сдержанна. Никаких отклонений: ни на работе, ни дома».

Увы! — скажем мы натурам добросердечным, склонным отыскивать во всём скрытый глубинный смысл, — увы! — автор приведённой характеристики не иронизирует, но пишет вполне серьёзный портрет юного положительного героя, Гены, который «... рассуждал очень часто. (...) Государство — сложный аппарат, в котором отлажены основные направления и задачи. Но если не выправлять в этом аппарате избалованных людей, в конце

концов, во что это выльется».

Впрочем, не спешите обвинить автора книги в ретроградности. Стиль его прозы не лишён некоторого авангардистского поиска: «Седые длинные волосы его пошевелились»; «Сам себе казался альбиносом, а она чёрной лебедью»; «Талант вырывался из этих молодых парней фонтаном»; «Классный коллектив — это уже не дети, а народ, связавший свою жизнь со спортом...»; «Натура у девочек не всегда гладкая, а вперемешку с ежовыми колочками...» и др.

И, наконец, самым-самым терпеливым читателям мы перескажем поучительный сюжет. Безвольному (в отца) сыну волевая мать подыскивает волевою же жену. Две сильные женщины в одном доме — результат: «коса на камень». Невестка никак не может полюбить своего маловыразительного мужа и сбегает к морю с восточным человеком, прихватив ребёнка. Волевая свекровь едет за ней и крадёт ребёнка. (Куда там Кабанихе с её невинными притеснениями, читатель!) Легкомысленная жена убита горем, а покаянием возвращается к мужу. Развязка — в его последней реплике: «Иди в ясельки и заведи Лёника... И не шути с матерью. Она всюду найдёт. И накажет!»

Не знаю, можно ли заподозрить автора книги в современной интерпретации «Грозы». Но можно, безусловно, заметить одно: как далеко ушла наша литература от Островского... не решусь добавить — «вперёд»...

А. БОНДАРЕВ

Б. СКВОРЦОВ. Иду на зелёный. Повесть. Горький, Волго-Вятское кн. изд-во, 1989.

И в прежние годы повесть, рассказ или роман на так называемую «производственную тему» считались лёгкой добычей критика, а в самые последние несколько лет, когда облетела шелуха «классового» первородства и отступилось от этого жанра начальственное благословение, подобное произведение не толкнёт разве что ленивый. Причём толкнёт, как правило, по делу: за схематичность сюжета, за героев-функции, за утомительные технические подробности, за спрямлённость конфликта и непрменный сладенький «хэппи энд»... «...Показан метод новой кладки, отсталый зам, растущий пред и в коммунизм идущий дед; она и он — передовые...» — издавался ещё Александр Твардовский, и его саркастическая «рецензия» не устарела и поныне. Вот и в первой книге Бориса

Скворцова, повести «из жизни начальника станции», всё происходит точно по Твардовскому: есть в книге молодой прогрессивный начальник, смело внедряющий новое, и немолодой халтурщик и лодырь, с позором изгоняемый в финале. Кроме того, имеют место чуткие коллеги главного героя и мудрый секретарь райкома, который мгновенно угадывает заветную сокровенную мечту героя — вступить в партию; не обходится без ЧП, во время которого наш герой ведёт себя мужественно, и финального собрания, где посрамлён клеветник, а добродетелям начальника станции воздаётся должное. Чтобы слегка оживить повествование, введена потенциальная разлучница, которая, «пружинисто выгнувшись», замирает в объятиях молодого начальника станции, естественно, женатого (а «потенциальная» — потому что и высоко нравственный герой вовремя спохватывается и вспоминает о жене, и сама разлучница вовремя отстраняется: «Будя, Сергей Григорьевич. Мне ведь замуж выходить надо... целёхонькой»). А чтобы придать повествованию масштабность, автор на последних страницах повести устраивает встречу нашего героя с самим начальником дороги, и герой, задыхаясь от волнения и ответственности, делится с ним выстраданным, наболевшим — рацпредложениями...

В такой иронической манере можно и далее писать о повести Б. Скворцова и, в конце концов, не оставить от неё камня на камне. Но это, согласитесь, путь исхоженный и потому не слишком-то плодотворный. Куда важнее для нас понять: для чего вдруг профессиональный железнодорожник взвалил на себя нелёгкое писательское бремя, для чего вообще взялся за перо? Ради славы? Едва ли. И тут взгляд натывается на две фразы, на которые в книге поначалу и внимания-то не обращаешь, настолько они привычны: «Железнодорожные станции работают на пределе. Ежедневно остаётся до сотни неразгруженных вагонов». Заметим, что действие повести происходит в первое послевоенное десятилетие, а фразы эти мы слышим и поныне: по телевидению, на массовых митингах, на съезде народных депутатов... Неужели же за тридцать с лишним прошедших лет на наших дорогах ничего не изменилось?

И, перечитав произведение Бориса Скворцова, уже без оглядки на в самом деле нехитрый сюжет и незамысловатых героев, с горечью осознаёшь: действительно, ничего не изменилось. Подновили фасады, кое-где заменили пути, вместо

пыхтящих «овечек» засновали электро-возы. Но в главном... Большинство проблем, которые более трёх десятилетий назад пытался решать молодой начальник станции Кстово, до сих пор остаются нерешёнными, потому и сама повесть оказывается интересной тем, что вольно или невольно занимает пустующую пока «экологическую нишу» публицистики «железнодорожного направления» (в этом жанре можно разве что ещё припомнить давнюю статью Михаила Антонова в «Октябре» — статью, солидную по размерам, обширную по фактуре и очень скромную по части выводов). Маленькая станция, руководить которой назначают Сергея Стрижова, — это как бы все наши дороги в миниатюре, и, стало быть, неблагоприятное и неустроенное, с которыми он сталкивается в первые же дни, — общие наши беды. Запущенное путевое хозяйство, текучесть кадров, низкая дисциплина труда, изношенная техника — и всё это при возрастающем объёме перевозок, при лихорадочном понукании сверху: «Давай, давай!» и при прямо-таки вызывающем отсутствии масштабных капиталовложений в течение всех этих десятилетий. Новый начальник станции в повести Скворцова постоянно должен выбирать — как поступать с инструкциями, часть из которых безнадежно устарела, часть не может быть исполнена по причине нехватки рабочих рук, а часть уже давным-давно не исполняется по привычке, в надежде на русский «авось»? Точно следовать букве закона — значит, растерять кадры окончательно (кто же, не имея каких-то послаблений, согласится работать за мизерное жалованье?), на что-то закрыть глаза — значит, «запланировать» будущую аварию (вспомним, что в известном фильме Вадима Абдрашитова «Остановился поезд» взята реальная и привычная ситуация: не положенный, как всегда, под колесо вагона лишний тормозной башмак вдруг приводит к катастрофе и человеческим жертвам). Автор повести ещё щадит своего героя, на участке которого не случается серьёзных аварий, однако ясно даёт понять, что это следствие не только небывалого энтузиазма начальника станции, но и элементарного везения. То, чего избегают дорожники Кстово, встречается сплошь и рядом в других местах, и не в литературе, а в жизни. В произведении «Иду на зелёный» не упоминается ставший печально знаменитым лозунг «Экономика должна быть экономной» — он возник значительно позже, — зато стремление сэкономить «на спичках», урвать, выгадать

в мелочах, не заметив главного; зато отношение к железной дороге как к старой, всегда всех выручающей лошадке, которую совсем не обязательно хорошо кормить (и так, мол, вывезет) — это замечает автор повести, это сохранилось до сих пор. Отсюда — механически, бестолково перенятый недавно на многих дорогах страны так называемый «белорусский метод», когда началось массовое сокращение незаменимых людей — стрелочников и обходчиков, осмотрщиков и монтеров (в итоге — недосмотры и аварии). Отсюда — формирование составов чуть ли не из восьми десятков товарных вагонов (в итоге — нередкие аварии таких голиафов, плюс бесконечные транспортные пробки). Отсюда — практически упразднение института железнодорожной военизированной охраны (в итоге — ограбление вагонов в пути стало обыденным явлением)... Жизнь железнодорожной станции, воссозданная Борисом Скворцовым, даёт возможность автору книги связать воедино отдалённое прошлое и настоящее, поскольку тема, о которой он пишет, остаётся, как и раньше, большой и — увы — актуальной. Не посоветую эту книгу любителям изящной словесности, но те, от которых сегодня реально зависит судьба наших железных дорог, должны ознакомиться с этим произведением. Возможно, они наконец осмыслят, что время подвигов, авралов, лихорадочной спешки и доблестных нарушений ими же создаваемых правил прошло. Пора, как и положено, всегда останавливаться перед красным семафором. А если двигаться — так только на зелёный.

Э. БАБКИН

В. Ф. ПЕРЕВЕРЗЕВ. У истоков русского реализма. М., «Современник», 1989.

Размышляя о сегодняшней литературной ситуации, мы непременно отыскиваем её истоки. Стремление заглянуть в глубь литературной истории то и дело приводит нас к первому послеоктябрьскому десятилетию, когда переосмысливались не только политические и социальные, но и эстетические представления. Журнал «Печать и революция» писал: «Мы заново и насвежо ощутили, что такое «хлеб», «дрова», «личность», «общество»... В нашем восприятии перестроилась природа вещей и идей».

Любое обращение к той давней эпохе оборачивается расширением нашего социально-исторического и литературного

опыта. Отрадны потому и факты издания или переиздания литературных трудов тех лет, среди которых заметное место по праву займёт сборник В. Ф. Переверзева «У истоков русского реализма» (составители В. В. Переверзев и В. В. Переверзев. Вступительная статья П. А. Николаева).

Новая литературная критика, определившая себя эпитетом «марксистская», настойчиво декларировала свою идеологическую зависимость от революционно-демократических идей и стремилась ввести в чёткое заданное русло сложный и многообразный мир искусства.

Имя Валерьяна Фёдоровича Переверзева стало известно в литературных кругах в 1910-е годы, а в 1920-е оно приобрело ещё и дополнительный экспрессивный смысл. Жёсткие споры, резкое размежевание и внезапная консолидация литературных сил, требование ясного обозначения своей позиции, поиски новой стилистики и отрицание классического наследия, построение невероятных концепций и защита чести и достоинства «старой» словесности, выработка принципов единомыслия и эстетический плюрализм — всё это приметы далёких двадцатых — времени, когда на многие годы обозначились перспективы литературной жизни в нашей стране. Способы и формы развития литературы и литературной критики в том виде, в каком они сложились в 1920-е годы, не имеют другого прецедента в мировом искусстве. Никогда и нигде на протяжении столь долгого срока искусство не вгонялось в такие жёсткие рамки, не декретировалось свыше, не анализировалось с позиций последних правительственных или партийных постановлений. Никогда и нигде литературный критик не выступал в роли запретителя или разрешителя чтения. Никогда и нигде читатель не был так зависим в выборе книги. Но ничто не происходит само по себе. Всегда существуют реальные авторы любых событий.

В. Ф. Переверзев — один из активных участников литературной жизни 1920-х годов, член Социалистической (позже — Коммунистической) академии, лектор и педагог, профессор Московского университета, один из редакторов первой советской Литературной энциклопедии — практически завершает свою научно-педагогическую работу в начале 1930-х годов, чтобы возобновить её лишь после реабилитации 1956 года. Свёртыванию деятельности учёного предшествовали почти двухлетние проработки и обсуждения его исследований. Противников Переверзева раздра-

жали не столько его научные концепции (не до Гоголя и тем более Достоевского было тогда!). На рубеже 1920—1930-х годов больше всего возмущала любая попытка выйти из строя, шагнуть не в ногу, а то и воскликнуть нечто своим голосом. Мешало в Переверзеве и его стремление создать «группу», сколотить школу, вырастить последователей. С одиночкой справиться было легче, за спиной Переверзева стояли его талантливые и обретавшие собственный голос ученики.

Уже в 1930 году Комакадемия издаёт знаменательный труд «Против механического литературоведения», где под рубрикой «Боевые вопросы коммунистической критики» публикуется стенограмма дискуссии и о концепции В. Ф. Переверзева. Достаточно сказать, что дискуссия эта продолжалась в течение семи (!) вечеров, а каждому оратору предоставлялось по 1,5 часа. Пафос борьбы с переверзевщиной определил тогдашний лидер Российской ассоциации пролетарских писателей, глава и теоретик журнала «На литературном посту», ярый противник любого отступления от правил (трактовавшегося всегда как отступничество от идеи) Леопольд Авербах: «Борьба идёт не только с одним заблуждающимся теоретиком, а с целым направлением, с целой школой. Не надо забывать, что в группу Переверзева входит целый ряд партийцев, что его взгляды определяют собою программу и наших вузов, и наших школ, и что направление это пытается именовать себя ортодоксальным марксизмом».

А в резолюции записали так: «Разоблачение и критическое преодоление литературоведческой системы В. Ф. Переверзева становится таким образом важнейшей очередной задачей марксистско-ленинской мысли именно потому, что эта система, до самого последнего времени пользовавшаяся довольно широкой популярностью и даже авторитетом в научно-исследовательских организациях и в высшей и средней школе, является в настоящий момент существеннейшим препятствием на пути дальнейшего развития марксистско-ленинского литературоведения». Так Переверзев переставал быть просто заметной фигурой, он оказывался символом, олицетворяющим гидру переверзевщины.

Враг был обозначен, обозначена и цель: врага разоблачить. К 1929 году складывается именно такая модель идейно-литературной борьбы.

Удивительная закономерность: из рапповских мишеней можно легко составить

список звёзд отечественной литературы — ведь среди «врагов», «прихвостней», предстателей «необуржуазной идеологии», «реакционных литераторов», «реакционных мещан» (терминология из периодики тех лет), всех, кто не рекомендовался «новому пролетарскому читателю», мы найдём имена Ахматовой, Булгакова, Зощенко, Мандельштама, Пильняка, Пришвина, Эренбурга, литературных критиков Воронского, Горбова, А. Лежнева, а вслед за ними Полонского и Луначарского, литературоведов Переверзева, Тынянова, Шкловского. Списки эти заведомо условны и неоднородны, нападки на названных авторов осуществлялись по совершенно различным причинам, но все они так или иначе попадали в разряд противников.

Казалось бы, именно Переверзев в своих историко-литературных построениях был наиболее близок рапповцам с их утверждением приоритета социального в литературе и науке о ней. Объединяющим рапповцев и Переверзева было и их общее неприятие формальной школы в литературоведении, и увлечение плехановским социологизмом, и стремление объяснить поэтику художественного произведения жизнью и борьбой классов.

Однако рапповцы сначала отвергли, а впоследствии и вовсе раздавили талантливого учёного. Они считали, что и социологизм у Переверзева иной, чем у них, и классовый подход к литературе другой. В Переверзеве их смущало два обстоятельства: его самобытность (что не приветствовалось) и его последовательность. Так, поверив ещё в молодости плехановской методологии в оценке литературных явлений, плехановскому «монистическому» подходу к искусству, Переверзев «не заметил» перемены в настроениях рапповцев по отношению к Плеханову, который к концу 1920-х годов перестал быть в моде. Рапповцам оказалась чуждой и исследовательская методология Переверзева: не наклеивание ярлыков, не «общий взгляд» на место классика в современной общественной жизни, не априорное приятие и абсолютное невнимание к другим — то, что было характерно для большинства работ, опубликованных в журналах «На литературном посту» и «РАПП», а интерес к эволюции творчества писателя, стилю, композиции, пейзажу, жанру, портретам и характерам в художественном произведении — вот что отличало Переверзева от представителей рапповской критики. Трагичность судьбы Переверзева связана была с тем, что он не примкнул ни к одному из существовавших тогда литературно-

политических течений, а создал своё, особое, претендующее на самостоятельное значение.

Вместе с тем нельзя не отметить, что совершенно произвольно рапповцы привлекли внимание к Переверзеву в широких читательских кругах. Заинтересовались отверженным учёным на Западе, вызывает интерес фигура Переверзева и сегодня. Не сложись трагически судьба Переверзева, вероятно, мы в большей степени говорили бы о слабости его научного аппарата, о противоречиях в интерпретации художественного текста, о нашем неприятии многих его оценок персонажей Гоголя, мировоззрения Достоевского, поэм Пушкина.

Но история распорядилась иначе, а потому нам гораздо важнее обратиться к позитивной стороне историко-литературного учения Переверзева. Вот почему мы с благодарностью воспримем работу учёного о произведениях русского писателя «второго ряда» В. Нарезного, оценим исследовательский подвиг Переверзева, публиковавшего в 1920-е годы свои наблюдения над творчеством непопулярного в среде критиков-марксистов Достоевского (крупная работа о нём «Творчество Достоевского» вышла у Переверзева в 1912 году), заметим строгую аргументированность (пусть не всегда для нас приемлемую) работы о поэмотворческом пути Пушкина, убедимся в его, Переверзева, добром и открытом внимании к нам, читателям. О «литературно окаменелых творениях» прошлого В. Ф. Переверзев пишет так, как, видимо, в идеале должен быть написан учебник по русской классике для старших школьников: «самый слог романа и тот лукаво двоится, выглядит хитрым оборотнем» (о Вельтмане); «возвращаться к натуре — значит вращаться в беличьём колесе. Смотреть нужно не назад в природу, а вперёд в культуру» (о «Цыганах» Пушкина); «Попробуйте, например, определить, перу какого художника принадлежит следующий аккорд»; «антисоциальность и склонность к преступлению, полный имморализм, достигший такой степени, что самое понимание нравственного чувства стало недоступным, презрение и насмешка над людьми, которые верят в мораль» (о герое Достоевского Валковском) — наудачу взятые образцы стиля Переверзева надёжно свидетельствуют о его литературном мастерстве и оригинальности его творческого и научного мышления.

Геннадий Блинов

Эхо языческих времён

Народная игрушка — настоящее произведение искусства, имеющее свою историю и вызывающее немалый интерес у художников, искусствоведов, историков, этнографов, археологов, педагогов, музейных работников, у самого широкого круга любителей народного творчества, у всех неравнодушных к прекрасному.

Дело в том, что нехитрая забава, детская «потеха», как в старину называли игрушку, — явление сложное, многоликое, глубокое. Как это ни парадоксально на первый взгляд, но многие из традиционных игрушек вовсе и не игрушки. Но об этом — несколько позже.

Можно выделить по крайней мере девять основных типов рукотворной игрушки.

1. Игрушка, малая декоративная скульптура самодельных художников.

Здесь мы чаще встречаемся с самодельными, подражающими профессиональной скульптуре малых форм, а то и создающими уменьшенные повторения и варианты станковой и даже монументальной скульптуры. Всё это не имеет отношения к народному искусству.

Давно возникла и распространилась мода разыскивать в лесу забавные сучки и корни и несколькими порезками ножа доводить причуды природы до занятных скульптурок. А сравнительно недавно появилось новое поветрие — создание настольных сказочных замков и прочих архитектурных построек и даже целых ансамблей из обыкновенных спичек. Подобные занятия чрезвычайно полезны с точки зрения врача или социолога (сохранение здоровья, организация досуга), но малопривлекательны для искусствоведа. Встречаются самодельцы, выполняющие работы по образцам русской традиционной игрушки. Иногда им удается достичь немалой мастерovitости и даже проникновения в сам дух народной игрушки. Яркий при-

мер тому — творчество Екатерины Иосифовны Косс-Деньшиной, ставшей постепенно профессиональным художником на ниве создания сувениров «по поводу» старинной дымковской (вятской) игрушки.

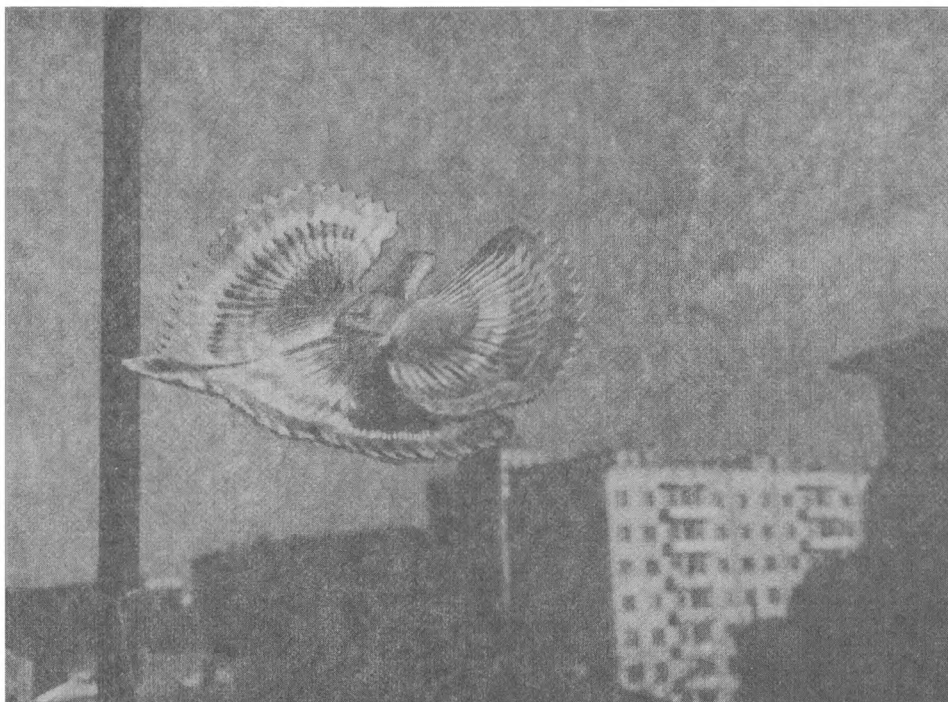
Если Косс-Деньшина создаёт оригинальные игрушки, опираясь на традицию, то другие имитаторы стремятся как можно более точно в лепке и росписи следовать старинным мотивам.

Народная игрушка очень широко используется в наши дни на уроках рисования и лепки в детских садах, школах, на занятиях изокружков и студий при домах культуры и дворцах пионеров. Явление это можно оценить только как положительное по его значению для эстетического, художественного, наконец — патристического (пробуждение гордости за наш богатый талантами-самородками народ) воспитания.

2. Попытки профессиональных художников копировать, реставрировать в духе традиции те или иные сюжеты угасшего промысла, создавать оригинальные произведения, следуя традиционным образцам.

Попытки «вернуться к первоизданности» могут вплотную приближаться к народной игрушке-скульптуре, но творчество таких художников никогда не совпадает с традиционной пластикой. Тем не менее эти художники способны достигать высокого уровня, творчески переплавляя принципы народного искусства. Назовём хотя бы Виктора Вячеславовича Неплюева, работающего в Гжели.

В последние годы появились художники-экспериментаторы в тех регионах, где промыслы народной игрушки давным-давно заглохли, зачастую не оставив почти никаких следов ни в запасниках местных музеев, ни в частных коллекциях. Эти художники, опираясь на скудные археологические материалы, на творчество мастеров традиционной игрушки близле-



Неизвестный автор. ПТИЦА СЧАСТЬЯ. Дерево, роспись.
Архангельская область

жащих районов, пробуют воссоздать, реставрировать местную игрушку. Один из них — Владимир Иванович Колмыков, мордвин-мокша, уроженец посёлка Зубова Поляна, живущий сейчас в Рузаевке. Изучив игрушку из села Абашево и ряда других близлежащих центров, познакомившись с единичными археологическими находками керамической игрушки на территории Мордовии, он создал ряд фигурок из глины, которые, по его представлению, могут передать в общих чертах дух ушедшей от нас игрушки народа мокша. В занятии лепкой он вовлёл и своих воспитанников в художественной школе, директором которой является. Эксперимент любопытен сам по себе. Но к народному творчеству он имеет такое же отношение, как лунный свет к солнцу (говоря это без иронии, скорее как комплимент).

3. Базарный кич.

Явление базарного кича лишь сравнительно недавно привлекло внимание искусствоведов. Что же имеется в виду? Прежде всего выполненные в гипсе, папье-маше, иногда в глине и периодически появляющиеся на базарах копилки, чаще всего изображающие сидящих кошечек. Сюда же нужно отнести отлитых из

подкрашенного сахара петушков, зайчиков, белочек на лучинках. К этой же группе причислим ныне всё реже встречающихся восковых (позже в ход пошёл парафин) уток, способных плавать в «озере», созданном в обычной тарелке. А кто не знает «тёщины языки» (бумажные рожки, скрученные в спираль, которые выпрямляются в длинный «язык», если подуть в отверстие у их основания), игрушку «уйди-уйди» (резиновый баллон, напоминающий воздушный шарик, надетый на пищик; вырывающийся из надутого баллона воздух извлекает из пищика звуки, напоминающие слова «уйди-уйди»), раскидаи (тугие бумажные мячики, обёрнутые фольгой и обмотанные нитками, в форме полусферы, на длинной тонкой резинке), устрашающих пауков с лапами, которые сочленены с телом пружинками, птичек и обезьянок аналогичной конструкции, змей, составленных из кусочков дерева на хорде, жужжалки — глиняные колечки с бумажной-мембраной, привязанные ниткой с петлей к жёлобу на конце палочки, покрытом сургучом, цветные воздушные шары, бумажные вертушки-мельницы, складные бумажные цветы на двух щепочках, пришедшие к нам из Китая, наивные свистуль-

ки «соловьи» из олова, а теперь — и из пластмассы, издающие громкие трели, если в них налить немного воды и дунуть в отверстие свистка. К искусству все эти поделки не имеют отношения. Но в них бездна весёлой изобретательности. Они придают особый неповторимый колорит ярмарочному гулянию.

4. Творчество «примитивных», «наивных» художников-самородков.

Значительно ближе, чем перечисленные уже три категории предметов, стоят к народному искусству произведения художника-примитивиста, «наивного» художника. Он никогда и никому не подражает —



В. Е. Шантырёва. ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ. Береста, плетение. Варнавинский район, Горьковская область

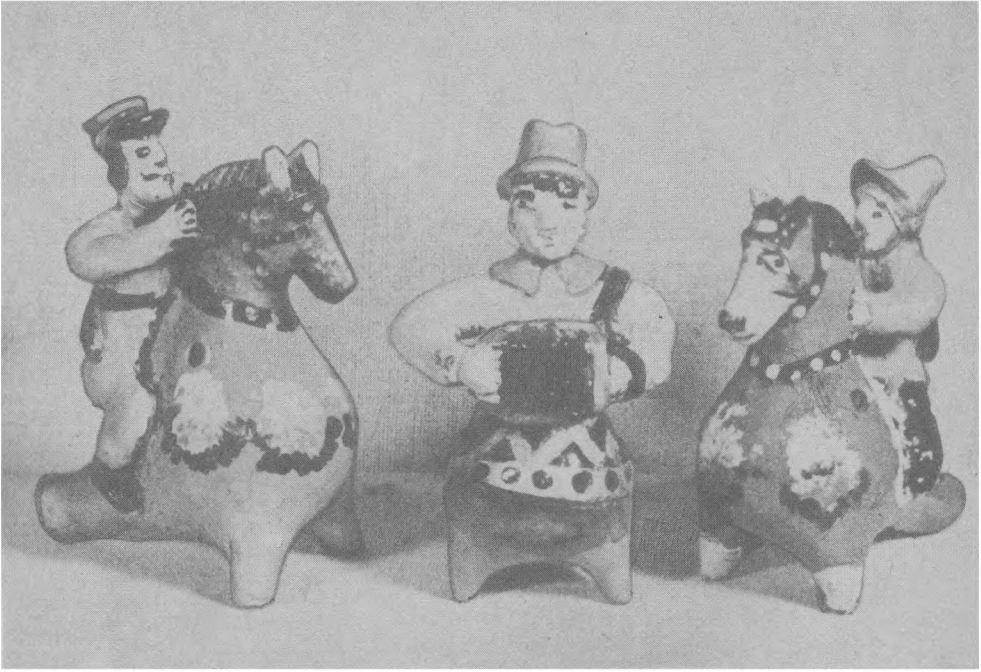
ни народному мастеру, ни профессиональному скульптору, ни соседу-самодеятелю. В большинстве случаев какой-то смутный внутренний импульс (это всегда «очарованные души»!) толкает его на занятие скульптурой, хотя в его деревне никогда не было традиционного промысла малой пластики. Но психология его, настрой души, его мироощущение, представление о красивом и некрасивом, наконец, сам образ жизни настолько близки к мировосприятию народного мастера, что такому примитивисту интуитивно удаётся угадать многие закономерности традиционной пластики и создавать чрезвычайно интересные произведения, напоминающие и работы народного мастера и творчество детей. Тут никогда нет школы, но часто встречаются озарения талантливого самоучки. Может быть, именно такими были зачинатели некоторых старинных промыслов? Типичный представитель художников-примитивистов — колхозник-разнорабочий Василий Алексеевич Дмитриев из деревни Татишево Островского района Псковской области.

5. Детские самоделки — самостоятельные или инспирированные взрослыми.

Сразу оговоримся: в этот ряд не входят случаи, когда пяти-девятилетние дети привлекаются к работе по изготовлению игрушки на традиционных промыслах. Такое включение малышей и подростков в работу вместе со взрослыми особенно типично для центров производства глиняной игрушки.

Под самоделками детей мы понимаем игрушки, лежащие вне плоскости подлинной традиции, хотя они существуют столько же, сколько живёт на земле человек разумный. Самоделки скорее сродни случайным предметам (камушки, сучки, жёлуди, шишки хвойных деревьев, кости животных — «душки», «козонки», «бабки», ракушки и даже живые майские жуки, жуки-носороги, мотыльки, стрекозы, богомолы), чем подлинно традиционному искусству. Ведь многие самоделки — едва лишь тронутые инструментом (чаще — ножом) природные предметы. Есть самоделки, которые тысячелетиями переходят от поколения к поколению практически в неизменном виде, например, свистки, изготовленные из отрезков сучков различных (обычно — ивы) деревьев, луки со стрелами. Однако и эта устойчивость не свидетельствует о традиционности в строгом смысле этого слова.

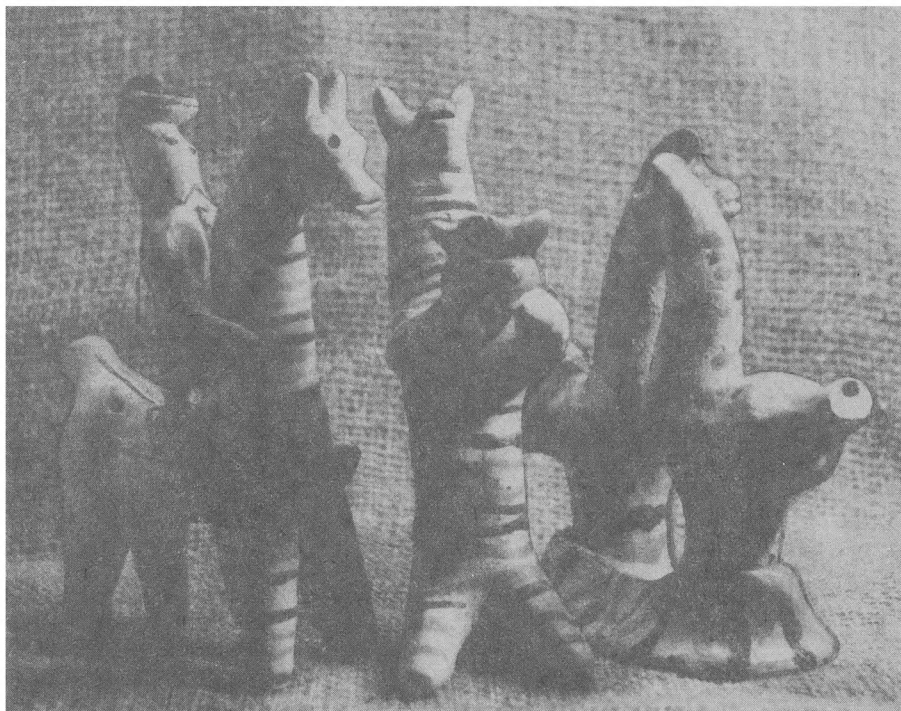
К самоделкам нужно отнести и инвентарь народных подвижных игр — биты и «чушки» (так в деревнях Саратовской



П. С. Тимофеева. ВСАДНИК. ГАРМОНИСТ. ВСАДНИК. Глина, роспись.
Городецкий район, Горьковская область



А. В. Студницкая. ВСАДНИК НА ТРЁХГЛАВОМ КОНЕ. БАРЫНЯ. ГНЕЗДО.
Глина, роспись. Думиничский район, Калужская область



П. С. Карпова. ВСАДНИК. МЕДВЕДЬ С ЧАШЕЙ. КУРОЧКА И ПЕТУШОК.
Глина, роспись. Одоевский район, Тульская область

области называют городки), «чижики», мячи из тряпок или сшитые из меха, сваленные из шерсти... Нередко этот инвентарь украшен затейливой резьбой, росписью или орнаментирован иным способом. Это приближает их к произведениям традиционного творчества.

Повсеместно были распространены тряпичные или меховые куклы. Иногда девочке достаточно обернуть обычную чурку лоскутом ткани — и готова кукла.

Копии оружия взрослых, вырезанные из дерева, — самый постоянный вид самоделок мальчишек. Столь же распространены самодельные лодочки, кораблики.

Характер самоделок детей значительно изменяется с развитием общечеловеческой культуры. Наряду с древними луками и стрелами, старинными веретёнцами (вертушками-мельницами) со временем появляются самострелы, затем — деревянные ружья, пистолеты и, наконец, ракеты. К поздним самоделкам следует причислить также игрушки из бумаги (возможно, они ведут родословную от японского искусства оригами).

Подчас игрушкам-самоделкам свой-

ственно яркое образное решение, что поднимает их до уровня настоящего искусства. В качестве примера можно назвать соломенные куклы (Пензенская область), лошадок, собранных из прутиков (Тамбовщина), коров из палочек (Якутия). Такие поделки могут быть названы народными игрушками. Но чаще самоделки чрезвычайно примитивны и рассчитаны на восприятие через призму фантазии их маленьких создателей.

6. Продукция предприятий художественной промышленности.

Если она не уходит в сторону от традиций старинного промысла, на базе которого создано предприятие, то может быть отнесена к народному творчеству. Однако всегда имеется риск падения художественного качества изделий и даже перерождение подобных предприятий в фабрики производства сувениров и бытовых вещей «по поводу» народного искусства, «под народное искусство». Это мы видим, например, в творчестве некоторых мастериц дымковской игрушки в мастерских города Кирова.

7. Кустарные игрушки.

Кустарная игрушка (название это мы используем условно) — непосредственный предшественник лучших образцов продукции современной художественной промышленности. Кустарная игрушка прошлого — наиболее подвижная, отзывчивая на различные влияния, в частности — зарубежные, группа анализируемых нами предметов. Наглядный пример кустарной игрушки и декоративной скульптуры — общеизвестные изделия из дерева и папье-маше мастеров Сергиева Посада и лежащего неподалёку от него села Богородское. Вышедшая из традиционной крестьянской игрушки, пластика кустарей всё больше удалялась от своего источника, подвергаясь изменениям в технологии производства, путём обновления материалов (папье-маше, фаянсовые головки кукол), сюжетов, а главное — в образном строе. И тем не менее мы поступим правильно, если причислим кустарную игрушку Сергиева Посада к кругу традиционной фольклорной пластики.

Мы пользуемся значительно суженным понятием «кустарь-игрушечник», подразумевая под этим мастеров прошлого, полностью или почти полностью освободившихся от полевых работ и часто входивших в более или менее крупные объединения, как это было в Сергиевом Посаде. К этой же категории предметов могут быть отнесены рукотворные ёлочные игрушки прежних времён.

8. Пластический ярмарочный фольклор.

Весёлый, яркий, праздничный мир представляет круг предметов, который мы, также с известной долей условности, обозначаем ярмарочным пластическим фольклором. Предметы эти не имеют за собой длительной истории, как строго традиционная пластика. Помимо игрушек, о которых мы говорили в рубрике «базарный кич», на ярмарках присутствовали и глубокие по образному решению игрушки, которые можно уже считать не просто затейливыми поделками, а подлинными произведениями искусства. Эти игрушки лишь косвенно связаны с архаикой. Отличительная их черта в том, что это действительно игрушки в буквальном смысле слова, причём игровая функция выражена довольно отчётливо. Пистолеты стреляют пробками, мельница крутит крыльями, если дёрнуть за верёвочку, тройку можно катать по полу (она на четырёх колёсиках), впрочем, как и парход (у него три колеса), у автобуса открываются дверцы, пыльщики и кузнецы усердно работают, попав в руки ребёнка, паяц кувьркается вокруг ниточек, натянутых между двумя планками. Уже

сам набор сюжетов говорит о сравнительно позднем возникновении ярмарочной игрушки: аэропланы, паровозы с вагонами, трамвай, автомобили, пароходы, фильячки (небольшие катера для перевоза пассажиров с одного берега реки на другой). Особенно богато промыслами ярмарочной игрушки Поволжье. К этому кругу предметов относятся, например, «топорная» или щепная федосеевская игрушка (Семёновский район) и игрушка из сёл Полховский Майдан и Крутец (Вознесенский район Горьковской области). Нет сомнений, что возникновению этих промыслов способствовала близость знаменитых нижегородских ярмарок.

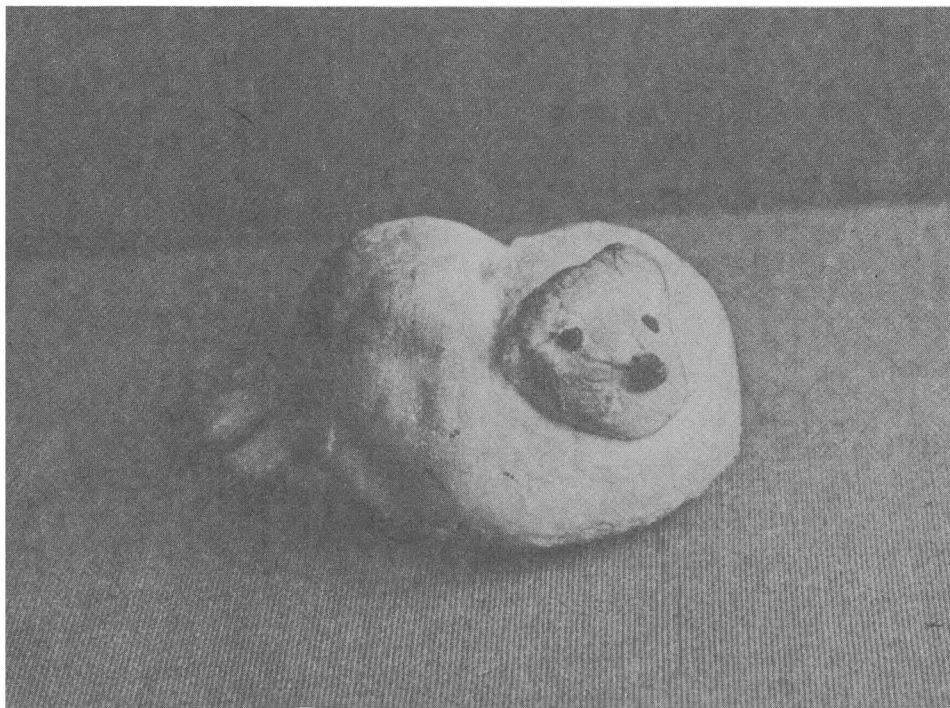
9. Сугубо традиционная архаичная игрушка.

Это — самая консервативная в лучшем смысле слова, самая малоподвижная во времени система. Игрушка эта дожила до нашего времени порой практически неизменной по сравнению с образцами глубокой древности, добытыми археологами. Такие игрушки сохранились в русской глубинке, обычно в далеко отстоящих от крупных городов, от железной дороги сёлах и деревнях. Типичные реликтовые игрушки архаического типа из глины мы встречаем, к примеру, в деревеньке Плешково (Ливенский район Орловщины), в Самово (Верховажский район Вологодской области). Сюда же можно смело отнести деревянные куклы «панки» и архаичных коней, а также сборные шаркуны (погремушки) архангельских поморов.

Архаичной реликтовой игрушке свойственна относительная узость круга сюжетов (баба, конь, птица, олень, медведь), первобытная примитивность в технологии изготовления и в трактовке образа, мнимая наивность, за которой кроется большая сила выношенности, выверенности, абсолютной точности лаконичной лепки, резьбы, скупого декора. Эта игрушка предельно обобщена, монолитна, статична, выполнена без лишних деталей, решена фронтально. Она лишена и намёка на вычурность, торжественна и несколько таинственна.

На протяжении веков малая пластика архаического типа проделала ряд метаморфоз не столько в своём облике, сколько в тех функциях, которые по преимуществу выполняла она на том или ином этапе истории. Если представить схематично изменение роли игрушки-скульптуры, можно говорить о трёх основных этапах её бытования.

Во времена язычества малая традиционная пластика нередко выступала в ро-



М. И. Г л а д к о в а. МАРТОВСКИЙ ЖАВОРОНОК. Печеное пшеничное тесто.
Новоузенский район, Саратовская область

ли вещественного атрибута, своеобразного аксессуара ритуальных обрядов сельскохозяйственной и охотничьей магии. Вполне серьёзные взрослые и пожилые люди ходили в марте за околицу «гукать», «кликать» весну. В представлении наших далёких предков тепло приносили на своих крыльях птицы. Вот и выпекали из теста мартовских жаворонков с глазками — сушёными ягодами черники или зёрнышками конопля. Хлебных пташек насаживали на палки, подбрасывали вверх, распевая обрядовые песни-веснянки.

Таковы жаворонки Музы Ивановны Гладковой. Она живёт сейчас в Подмоскovie, но традицию выпечки мартовских жаворонков ведёт из города Новоузенска Саратовской области, где родилась её мать Мария Алексеевна Гладкова, в девичестве Логинова.

Накануне Нового года выпекали из теста коровок, овечек, оленей, зайцев с надеждой, что это ритуальное действие будет способствовать приумножению скота во дворе, дичи в лесу и в поле.

Врачеватели далёкого прошлого пытались изгонять «злых духов» из больных резкими звуками. И тут шли в ход свис-

тульки, трещотки, погремушки, бубны.

Многие фигурки людей и животных, миниатюрные сосуды, довольно сложные конструкции были вотивными предметами, то есть изготовлялись по обету. Фигурки животных могли быть и изображениями тотемов.

Скупая, сдержанная, но выразительная орнаментировка или раскраска древних скульптурок отражала представления человека о природе, о космосе, его стремление заручиться поддержкой стихийных сил, языческих богов. Образ коня, красная окраска, такие элементы орнамента, как круг, квадрат, крест, связаны с культом солнца и солнечного божества. На масленицу мастерили соломенную куклу. Из меха и лоскутков ткани делали небольшие куклы, которые хранились в избе и должны были охранять хозяев от лихорадки, озноба и прочих недугов. Женский образ в традиционном искусстве был связан с представлениями о плодородии в самом широком понимании этого слова.

С принятием христианства на Руси малая скульптура, теснимая запретами духовенства, порой весьма жестоким преследованием, постепенно уходит из мира

язычества в безоблачный мир игрушек-потех. Чуть ли не до наших дней кое-где ещё сохраняются языческие представления, празднуются языческие праздники, выполняются древние языческие обряды, хотя смысл их всё более утрачивается. Это способствовало тому, что, несмотря на запреты церкви, древняя скульптура малых форм сохранилась до настоящего времени чуть ли не в своём первоначальном облике. Вместе с тем складываются основные центры производства игрушки в узком смысле этого слова. Зарождаются совершенно новые, уже слабо связанные с языческой магией разновидности игрушки в русле ярмарочного пластического фольклора.

Однако и на этом изменение роли народной игрушки-скульптуры не остановилось. В последние десятилетия, когда промышленность стала выпускать огромными тиражами фабричную игрушку, отвечающую в лучших образцах самым высоким педагогическим, эстетическим, гигиеническим требованиям, народная игрушка приняла на себя в основном декоративную функцию, стала предметом украшения в убранстве современного жилища. Всё реже можно увидеть традиционную игрушку в руках ребёнка, всё чаще — на письменном столе, в книжном шкафу, в мастерской художника.

Народная игрушка-скульптура не канула в небытие, дождалась до наших дней благодаря высоким художественным качествам. Любой образ в народном творчестве овеян тонким поэтическим чувст-

вом, живой фантазией, сказочностью. Игрушка проста, лаконична, выразительна, как пословица. Игрушка-скульптура никогда не копирует свой прототип, тот или иной персонаж. Мастер идёт по пути сказочно-фантастического решения образа, в котором точность отдельных деталей не вызывает ощущения обыденности, а сказочность не уводит совсем от реальности. Как в случае с коньком-горбунком — выдуманным и в то же время таким живым. При этом в последние годы мы стали изучать не только целые пласты традиционного искусства, но и индивидуальные особенности творчества отдельных мастеров. Да, оставаясь в русле местной традиции, каждый мастер имеет свой почерк, который легко улавливается его односельчанами, а также знатоками игрушки-скульптуры. Традиция не мешает проявлению одарённой личности.

Народная игрушка на протяжении всей её истории пронизана оптимизмом, глубоким гуманизмом. Порой для нас не так уж и важно, что именно изобразил народный ваятель. Нас привлекает главным образом то, как автор относится к изображаемому, что хочет передать зрителю.

В каждой местности сложились своеобразные по форме и декору типы народной игрушки. Каждая из них несёт в себе и черты общечеловеческие, и национальные особенности, и региональное своеобразие, и индивидуальную манеру мастера. Всё это накрепко и гармонично спаяно в одно целое и создаёт неповторимый феномен подлинного искусства.



Синенькие

«Диковинно,— говорит один литературный герой,— почему это ставят памятники разным людям, а почему бы не поставить памятник луне или цветущему дереву?»

В панораме волжских берегов, в сорока километрах ниже Саратова, появился новый штрих: издали видна тонкая вертикальная черта над синеватым профилем мыса. Ближе становится ясно, что это мачта с парусом. Ещё ближе видно, что у подножия бетонного треугольника паруса поднят на массивный постамент адмиралтейский якорь. А немного в стороне, над каменной стенкой, читается название села: Синенькие.

Так, во весь голос, заявлять о себе позволительно городам, а не малоизвестным сёлам. Во всяком случае, именно так повелось. Но с этим привычным порядком вещей не согласился уроженец Синеньких волжский капитан Владимир Константинович Сударкин. Не согласился и решил, как он говорит, «обозначить село с Волги». И не просто обозначить, а поставить на берегу памятник землякам, памятник селу, которое, как выясняется, постарше Саратова.

Конечно, не только руками Владимира Константиновича воздвигнут монумент, поднят на обрыв бетонный монолит в пять тонн весом и установлен на него якорь; отлит на заводе железобетонных изделий шестиметровый парус; заасфальтированы дорожки, выложена плиткой площадка у памятника. Помогали ему многие люди. Но ничего бы не вышло без самого Сударкина, его настойчивости.

В десятке метров от бетонного паруса на валуне можно прочесть несколько имён тех, кто сделал основную работу. Но любопытно было бы составить полный список причастных — не только помощников. В этом «хороводе» оказались бы архитекторы, шофёры, ботаники, историки, трактористы, археологи, каменщики, сельские пенсионеры, фотографы, милиционеры, писатели, бетонщики, полиграфисты, работники исполкомов, совхозное руководство, литейщики, инженеры, сварщики, журналисты...

Вмешались в эту историю и дачники, претендовавшие на участки, прилегающие к территории памятника. После долгих и нервных дебатов садоводам было отведено другое место, к удовлетворению Владимира Константиновича.

Когда Владимир Константинович только начинал строить памятник, для его земляков бетонная глыба, появившаяся на крутом волжском берегу, и поднятый на неё якорь были началом странной, непонятной деятельности капитана Сударкина. Для него же это было естественным продолжением давно начавшейся работы. Много лет Владимир Константинович собирает историю Синеньких: расспрашивает стариков, изучает старые газеты, роется в архивах. И прошлое села постепенно проясняется, становятся видны живые люди — хоть на миг, хоть одной чёрточкой, отпечатавшейся в чьей-то памяти. Рядом с именитыми земляками становятся неизвестные бакенщики, рыбаки, купцы Мулины, волостной урядник, пугавший шашкой надоедливых мальчишек, священники, учителя, революционеры, первый комбайнер, завклубом, и снова рыбаки, и землепашцы, и речники...

«На этом месте на бывшем поселении болгар в 16 веке были основаны Синенькие.

Здесь рождались и будут рождаться волгари, достойные славы».

Доска с этой надписью укреплена на лицевой стороне памятника, обращённого к Волге. Патетика надписи, соответствующая её назначению, тем не менее несколько сужает, по моему мнению, значение замысла капитана Сударкина. Немногим из живущих суждена слава, и немногие ищут её. А помнить стоит всех, кто жил, пусть по-разному, но всех. Вспоминая же людей, живших задолго до нас, вспомним, и как они жили: как добывали хлеб свой, во что одевались, чем развлекались, что покупали и продавали, во что верили, чего боялись, на что надеялись. И по каким дорогам ездили, из каких рек пили воду, какие дома строили.

Именно так я понимаю значение труда Владимира Константиновича Сударкина. Парус и якорь, поднявшиеся над селом, стали памятником и всем, кто жил здесь вчера или века назад, и самому селу с весёлым именем Синенькие, и самой Волге, такой, какую сегодня не все помнят, да и не все видели. И рукописная книга «Синенькие», куда собрал Владимир Константинович свои находки и открытия, наполнена не знаменитыми именами и эпохальными свершениями, а подробностями обыденной жизни — давней и близкой — обыкновенного села, каких множество, но все такие разные, что каждое заслуживает своего памятника.

Сергей Сергиевский

Когда мой теплоход приближается к родному селу, каждый раз с мальчишеским волнением выхожу на капитанский мостик... Смотрю, как исчезает прозрачная вуаль с прибрежной местности. В сознании промелькнуло видения самого себя, с той поры, когда начал помнить всё, неотделимое от Волги.

Тогда блики на воде от зари, от восходящего солнца переливались красками, навряд ли воспроизводимыми. Отражение с возвышенного берега строений, столбов, деревьев на игровой перекатной волне было причудливым. Слушать раскатыстые, сочные, приятные сердцу гудки пароходов, вдыхать тонкий запах дымка, разбавленного свежим утренним волжским воздухом, с Волги смотреть на берег, на село, на холмы с перелесками — можно было бесконечно, забыв обо всём на свете, и это всё воспринималось как-то по-особенному, с родной и близкой теплотой.

Неотделим от села в то время был пассажирский пароход «А. П. Чехов». Он приходил из Саратова, когда начинало темнеть. Перед тем как причалить к пристани, давал громкий свисток. Нет, это был не просто пронизывающий мелодичный свисток — это был звук, будоражащий души людей, провожавших близких в 1941-м, когда вместе с заунывным прощальным гудком «Чехова» были горькие слёзы, неударжимые рыдания.

Жители отчётливо помнят радостный раскатный свисток «Чехова», когда кончилась война, и переполненные радостью слёзы тех, кто встречал оставшихся в живых. Бесконечные ожидания с надеждой, что этот же голос известит о возвращении тех, кого уже больше нет.

Да, тот свисток был голосом парохода «Чехов». Подобного ему больше не было.

У всех людей того времени, из всего многоголосия пароходных свистков, навсегда остался в памяти голос «Чехова».

Сейчас село выглядит не так, как раньше.

Дом, где прошло моё детство, перенесён из-за наполнения водохранилища. Берег Волги видоизменился. Лишь прибрежные холмы остались прежними, но среди них я никогда не найду берега моего детства, от которого безвозвратно отнесло меня время.

Непреодолимо чувство протянуть руку к судовому сигналу. Видно, как на его звук поворачиваются к Волге ребячьи фигурки, как всматриваются они в силуэт теплохода. Как и мы когда-то стояли и мечтали о капитанском мостике. На сигнал выходят со старческой поспешностью мои близкие, доживающие свой век у Волги, и с волнением машут мне, отвечая на приветствие.

Быстро проходит теплоход вдоль берега. Отдаляясь, село сливается с далёкими прибрежными отрогами.

В полном географическом описании нашего Отечества, изданном в 1901 году под редакцией В. М. Семёнова, говорится, что Синенькие — большое торговое село, расположенное в живописной местности, в долине между высокими горами. Село имеет 3600 жителей, волостное правление, школы, ветряные мельницы, 9 лавок, базары и пароходные пристани общества

«Самолёт» и «Купеческого пароходства». Село основано в XVI веке. Верстах в четырёх от села, говорится в описании, местность вся изрыта оврагами. Сохранились остатки когда-то густого, непроходимого леса, где можно найти следы разрушенных землянок, конюшен, печей и т. п., указывающих на то, что здесь в прежние времена был притон разбойников. Крестьяне верят, что в этой местности зарыто разбойниками много всякого добра.

Итак, утверждается, что село основано в XVI веке. Но и значительно раньше на том же месте существовали древние поселения, относящиеся к эпохе бронзы (конец III — начало II тысячелетия до нашей эры), что установлено археологами.

«Из племён, ныне обитающих в Саратовской губернии,— говорится в Списке населённых мест 1862 года,— ни одно не было исконным здешним обитателем; да и неизвестно, кто были аборигены этого края».

В глубокою старину, как слышали старожилы от своих прадедов, которые, в свою очередь, знали о том от своих отцов и дедов, Синенькие находились на северной стороне Белой речки и были поселением болгар, и на другой стороне рос густой лес, располагалось кладбище. Это значит, история села уходит в прошлое гораздо дальше, в IX—XIII века, когда тюркские племена болгар основали своё государство — Волжскую Болгарию.

По мере расширения села на южной стороне Белой речки стали селиться откупные крестьяне. С тех пор та сторона стала называться «откупной». Старую часть села звали «барской» стороной.

Почему село называли Синенькими? Версий много. Кто объясняет, что в селе делали фальшивые деньги — купюры синего цвета, другие считают, что одно время приехавшие с пензенской земли ломовские крестьяне занимались здесь крашением холстов в синий цвет. Кто говорит, что когда-то рядом с селом было постоянное место отдыха бурлаков, а на берегу стояли ларьки синего цвета, и жители любили красить синим ставни окон.

Судя по множественному числу названия — Синенькие (есть и другие примеры: Беленькие и тому подобное) — можно предположить, что селения были прежде отдельными хуторами и назывались: Беленькие хутора, Синенькие хутора, Мордовинские хутора. Потом хутора росли, соединяясь в сёла, а названия укорачивались.

В окрестностях села протекает синяя речка, прилегающая низменность называется Синягой — от синей опоки и залежей фосфоритов. На берегу Волги остались малозаметные сейчас бугры синего цвета от опоки. Поэтому бурлаки всегда говорили: «Скоро дотянем до Синеньких, там и отдохнём». Даже сейчас, когда издалека с Волги смотрю на село, видишь, как голубизна неба над ним переходит в синеву горизонта, синевой наполнены перелески возле Синяги; остатки бугров создают контраст синевы.

Видимо, и в далёкие времена наши предки примечали эту необычную причудливую синеву в окрестностях, поэтому и дали селу такое название.

В дореволюционной литературе название села пишется: «Синенькие 1-е (Рождественское) б. Буковского». Почему село называли б. Буковского? Возможно, это было поместье Буковского, установить не удалось, только известно, что рядом с Синенькими была деревня Синенькие выселки (Исеевка), где жили до 1870 года крестьяне господина Буковского. Это были в основном старообрядцы, занимавшиеся рыболовством. Семьями они спустились вниз по Волге в Астрахань, на лов рыбы. Долгое время часть реки Волги именовали «Буковскими водами».

Рождественским село называли по названию церкви, поставленной в начале XVIII века. В 1849 году на средства прихожан была построена новая Христорождественская церковь, взамен обветшавшей старой деревянной. Называлось село Рождественским недолго.

В конце XVIII — начале XIX веков Синенькие были владением князя В. П. Кочубея, видного государственного деятеля, дипломата, почётного члена Академии наук, министра внутренних дел (в 1802—1807 годах), председателя Государственного совета (с 1827 года).

В XIX веке население в Синеньких быстро росло. В 1800 году в селе насчитывалось 240 дворов, жителей было 777 мужчин и 767 женщин. Восемьдесят лет спустя было уже 838 дворов, а взрослое население составляли 2480 мужчин и 2734 женщины.

Близость Волги давала возможность заработка сплавом грузов, разгрузкой, разработкой плотов. По Волге доставлялся лес на постройки. В Саратове всегда находила сбыт продукция крестьянских хозяйств. Были и в Синеньких еженедельные базары, где продавались хлеб, овощи, скот и многое другое.

Тринадцать мельниц работали в Синеньких.

В 1859 году в селе открылась земская школа. Село продолжало расти и богатеть до большого пожара 1878 года, тогда сгорел тридцать один двор. Это бедствие и два подряд неурожайных года вынудили многих покинуть село. В 1894 году в Синеньких оставался 641 двор, в селе жило 2439 человек.

Издавна всё население делилось на две части по роду занятий: на земледельцев и, как говорили в то время, «бесхозяйственных», занимавшихся рыболовством. Рыбацкий труд был нелёгким. Лодки передвигались на вёслах, под парусом, или бечевой вдоль берега. Рыбаки обычно работали семьями: и мал, и молод, и стар.

Перед революцией в селе нанимал рыбаков для отлова рыбы на арендованных им участках Волги Яков Романович Каменский. Он снабжал рыбаков необходимыми снастями и платил половину за выловленную рыбу.

После революции синенькие рыбаки сами организовали отлов. Выбранные ими Пётр Павлович Абызов и Иван Иванович Солдаткин сняли бывшие «Буковские воды» на один год. Свободный труд обеспечил успех в деле.

Отловленную рыбу доставляли в Саратов и сдавали в садки торговца Косматова, в его же магазинах закупали орудия лова и необходимый инвентарь.

В двадцатых годах от Рязано-Уральской

железной дороги (РУЖД) была организована артель «Рыба». Она стала нерентабельной и вскоре распалась, оставшись в долгу у государства.

30 марта 1930 года в Покровске был создан рыбколхоз «Путь рыбака» (ныне находится в селе Квасниково). Колхоз состоял из бригад, образованных в приволжских селениях Саратовской области.

В Синеньких на добровольных началах организовалась бригада из объединившихся двадцати пяти хозяйств, представлявших собой рыбацкие семьи вместе с орудиями лова, инвентарём, рыбацкими принадлежностями. Стан бригады расположился на берегу Волги, рядом с домом, где жил П. Я. Леонтьев (мой дед по матери).

Бригаду возглавил Сергей Николаевич Журавлёв, ставший в 1932 году членом правления и капитаном катера «Маяк». Он обеспечивал приём рыбы и доставку продуктов рыбакам. Бригадирство приняли Константин Иванович, а после Пётр Иванович из династии Солдаткиных. Ныне Почётный бригадир Пётр Иванович на заслуженном отдыхе, но продолжает трудиться.

От колхоза бригадирам выделялись материалы на изготовление и ремонт снастей, орудия лова, продовольствие — всё это они распределяли по хозяйствам.

Организовывалась производственная обработка рыбы. Прямо на берегу соорудили жаровню для получения рыбьего жира. В районе Займищ производился искусственный нерест. Рыбу сдавали на приёмный пункт. Учёт вёл бригадир, освобождённый от вылова рыбы.

В конце месяца каждому хозяйству выплачивалась сумма за сданную рыбу, с вычетом стоимости продуктов, выдаваемых с каждого члена семьи. Первенство по отлову рыбы держали династии Каменских, Абызовых, Солдаткиных.

Потомственным рыбаком был мой дед. Он стал брать меня на лодку, когда мне не было ещё пяти лет. Я внимательно следил за всем, что делал дедушка, и всё казалось очень простым. И я пробовал грести, но вёсла были лёгкими только в руках дедушки. И все другие рыбацкие дела получались опять-таки у него, а не у меня. На моё огорчение он медленно, с усмешкой в свою белую бороду, говорил: «Ещё наработаешься... О-орёл бескрылый».

Так я и мои сверстники начинали постигать, осознавать эту своеобразную жизнь на берегу большой реки. Многое осталось в памяти впечатляющего, такого, с чем сейчас не встретишься. Особо запомнилось, как на кострах разогрели смолу и смолили лодки. Запах горячей смолы и костра мне сейчас кажется чудодейственным, живительным.

Запомнился с детства и запах цветов, собранных за Волгой на Троице. Лодка всегда была переполнена молодёжью. Поднимали парус. Когда ветер был слаб, то подгребали вёслами, пели песни и с шутками вспоминали лысых, чтобы усилился ветер (таково было поверье). В сильный ветер парни старались друг перед другом показать удачу, подставляя себя брызгам с головы до ног, переносили из лодки

на берег девушек с огромными букетами ландышей и лазоревых цветов. Эти цветы с очень длинными стеблями росли на затопленных лугах. Запах от букетов отдавал чистой прохладной влагой.

В непогоду дедушка стоял у дома на яру и встречал нас. «Промокли,— говорил он, сильно выделяя «о».— Моряна разыгралась. О-о, кока силища!».

Мы уходили в дом, а дедушка ещё подолгу стоял, смотрел, как идут пароходы, давая друг другу свистки, приглушённые сильным ветром.

Много людей из нашего села, упоённых Волгой, связали с ней свой труд и свою жизнь. Одна из речных профессий, теперь уже почти забытая, не так давно была очень важной и заметной. Это — профессия бакенщика.

Знаки навигационной обстановки в виде вешек появились ещё во времена Петра I, но только в 1905—1906 годах на Волге у Саратова стали устанавливать постоянные знаки — береговые маяки, и после 1906 года стали вводиться бакены.

В любую погоду бакенщики следили за сохранностью бакенов, зажигали на ночь керосиновые фонари, ежедневно промеряли глубины на своих постах. А жили они обычно в будках, а то и в землянках на берегу реки, и днём и ночью обеспечивая безопасное движение судов по Волге.

В конце прошлого века и начале нынешнего Синенькие были центром волости, в которую входили несколько деревень: Бабановка, Исеевка, две Несветаевки, Пудовкино, Крутец, Широкий Буерак, Формосов и, кроме того, хутора.

Волостное правление — орган местного крестьянского самоуправления — состояло из волостного старшины, сельских старост и других должностных лиц, избравшихся сельским сходом. Выбирался крестьянами и волостной суд для разбора мелких гражданских и уголовных дел.

До революции на «барской» стороне села жил барин Ярас Андреевич Исеев. Как вспоминают, был он человек умный, хозяйственный, деловитый. В личном владении барина были деревня Исеевка и барский лес, частично сохранившийся до наших дней, между Исеевкой и Синенькими в низине, выходящей к Волге. Были у Исеева и большие сады из яблонь, груш, вишни, сливы, крыжовника, чёрной душистой смородины, черёмухи в Падинах. Остатки их сохранились, и весной запах цветущей черёмухи пробуждает в воображении представление об огромных садах, некогда цветших в этих местах. Кстати, и речку, разделяющую село на две стороны, назвали Белой потому, что в её верховьях осыпался в воду цвет и от лепестков речка становилась белой на всём протяжении.

Большая «откупная» сторона Синеньких была более благоустроенной. Там располагались волостное правление, мельница, маслобойня. Была выложена булыжником со стоком дорога на Масляной горе. Много магазинов, торговых лавок, построенных в дореволюционное время, сохранилось до сих пор и используется в разных целях. Перед первой мировой войной в

центре «откупной» стороны начали строить духовную семинарию, но недостроили. В здании разместили приют для эвакуированных детей, а при расположенной рядом Христорождественской церкви сделали для приютских детей столовую. Много позже, уже при советской власти, достроили и оборудовали под клуб. Он стал культурным центром села и близлежащих деревень. Первым заведующим клубом был Александр Иванович Коновалов. Он создал драматический, струнный и стрелковый кружки. В клубе устраивали разнообразных вечера.

В 1933 году сломали стоявшую перед клубом Христорождественскую церковь и на том месте установили памятник В. И. Ленину.

Первые революционные организации в Синеньких стали возникать в конце XIX века. Учитель сельской школы А. П. Соколов устраивал в школьном здании тайные собрания, на которых вёл революционную агитацию. Несколько революционеров вышло из семьи Павла Сургучёва, судебного писаря села. Старший сын его, Дмитрий, за революционную деятельность был заключён в Бутырскую тюрьму, а позже сослан на каторгу в Сибирь.

Революционную агитацию в 1905 году проводили В. М. Бессонов, И. М. Сосунов, У. Лысов, П. В. Белоглазов, С. Е. Чурсаев. Они боролись за программу РСДРП. В синеньской организации РСДРП было примерно пятнадцать большевиков и столько же меньшевиков. Руководителем организации был И. И. Коротков. Революционеры устраивали сходки на Горелом озере за Волгой. Среди них были отец и сын Нуждовы — Матвей Кириллович и Евтихий Матвеевич. Они работали в сёлах печниками по найму и вели революционную пропаганду. Летом 1905 года в Исеевке появились жандармы, приехавшие, чтобы арестовать Нуждовых, но, предупреждённые заранее, они ушли в Сосновку, оттуда в Мордовое и на пароходе уехали в Астрахань.

В годы гражданской войны жители села снабжали красноармейцев продовольствием, лошадьми. В двадцати пяти километрах от Саратова рыли окопы, в Мордовкинском лесу пилили дрова для паровозов. Многие жители села вступали в ряды Красной Армии.

На митинге 25 июля 1919 года крестьяне села дали клятву, занесённую в резолюцию митинга: «Ввиду грозящей опасности со стороны царского генерала Деникина и его полудиких и пьяных казачьих банд, и учитывая настоящий грозный момент в связи с его наступлением на Саратовскую губернию, где он хочет нахально воспользоваться обильным нашим урожаем, мы, крестьяне села Синенькие, клянёмся друг перед другом — всеми способами защищать нашу крестьянскую власть...»

Уже в 1918 году в Синеньких и в соседних сёлах появились первые сельскохозяйственные коммуны, а в 1928 и 1929 годах возникли небольшие колхозы: «Хлебороб», «Заря», «Стальной конь».

Вскоре хозяйства Синеньких, Бабановки, Несветаевки, Исеевки объединились в колхоз «Гигант», расставшийся из-за нарушения принципа добровольности вступления в колхоз.

В 1930 году около семидесяти хозяйств

составили колхоз «Завет Ильича». Его председателем был двадцатипятилетний из Княжеского затона Саратова Михаил Алексеевич Чечнев. В колхозе были установлены восьмичасовой рабочий день, выходные дни, общее питание.

Ещё в 1925 году в селе появился первый трактор марки «Фордзон». Он был приобретён кредитным товариществом и использовался крестьянами по найму. Этот трактор стал собственностью колхоза. Колхозники в первый год своего коллективного труда получили по два рубля пятьдесят копеек на трудодень и по три килограмма хлеба.

В 1933 году колхоз приобрёл первый комбайн первого выпуска Саратовского завода. Первым комбайнером в Синеньких стал Фёдор Иванович Герштейн.

В середине двадцатых годов к традиционным занятиям сельчан — земледелию и рыболовству — добавилось новое. В окрестностях Синеньких в районе Синяги и деревни Бабановки стала производиться разработка залежей фосфоритов, были открыты «Саратовские фосфорные рудники». Фосфориты добывали карьерным способом, подвозили к Волге автомашинами и в вагонетках и грузили на суда для отправки на переработку. Многочисленные старатели, съезжавшиеся летом в Синенькие, добывали фосфориты своими силами, в основном собирали по берегу Волги и сдавали за установленную цену. В послевоенные годы рудники закрыли: залежи пошли на значительной глубине.

С незапамятных времён здешние края славились гончарным искусством. До конца тридцатых годов гончарное дело велось кустарным способом, после построили цех «Керамика», работавший стабильно до шестидесятых годов. К сожалению, цех почему-то закрыли.

Старожилы вспоминают Ивана Филипповича Панфилова, Василия Никифоровича Шапошникова и других мастеров, которые по наследству передавали секреты замеса глины, составления глазурей, обжига росписи изделий. Эти мастера после революции работали коллективно.

В шестидесятые годы в селе выпускалось различной посуды на 250 тысяч литров общей ёмкости. Цех работал по заказам зверосовхоза, НИИ, Саратовского медицинского института. Декоративные горшочки закупали заводы городов области. По несколько тысяч изделий для национальной кухни закупали казахи.

В наши дни сельское хозяйство стало основным и едва ли не единственным занятием моих земляков. Рыбачья бригада, где трудились многие сельчане, постепенно мелчала и почти сошла на нет. Желающих вступить в неё не стало. Жители села работают в совхозе «Синенький».

Жизнь древнего села постепенно меняется. Асфальтовая дорога соединила Синенькие с автотрассой, проведён водопровод, начата газификация села, построена новая школа. Много строится жилья. Намечены работы по благоустройству семи малых сёл и деревень, входящих в совхоз.

Новые имена вносятся в многовековую историю села. Здесь родились Герой Советского

Союза Василий Иванович Караулов, Герой Социалистического труда Павел Иванович Сомов. Наш земляк Геннадий Васильевич Сарафанов стал лётчиком-космонавтом СССР, Героем Советского Союза.

В селе живёт и продолжает трудиться ветеран войны и труда, Почётный работник колхоза «Путь рыбака» Абызов Григорий Петрович, со своими коллегами — рыбаками. В Саратове работает шофёром уроженец села, внук последнего волостного старшины Виктор Сергеевич Сударкин, Михаил Александрович Смирнов — опытейший волжский капитан — завершает свою деятельность, передаёт речную профессию двум сыновьям, работающим с ним на грузотеплоходе.

...В 1986 году довелось познакомиться с Василием Степановичем Сухоруковым, бывшим приказчиком синеньского купца Муллина. Он охотно предоставил документы, связанные с историей села, для фотокопий, сейчас хранящихся у меня. Василий Степанович помог разобраться в архивных сведениях. Воспроизвёл много фактов и эпизодов из истории до-революционного села. За что ему низкий поклон. Рассказал он и о своём родственнике, уроженце села Синеньких, Полянском.

Сергей Полянский в революцию 1905 года служил матросом учебного судна «Рига», в числе других виновных в вооружённом восстании на корабле приговорён к каторжным работам. В 1907 году Сергей Михайлович совершил побег и скрывался за границей, изменив фамилию, и только в 1922 году смог возвратиться в Россию.

В двадцатидвухтомном географическом описании «Советский Союз», изданном двадцать лет назад, Синенькие упоминаются одной фразой: «Южнее Саратова, около села Синенькие, есть месторождение фосфоритов». Что, кроме этого, могут узнать люди о нескольких веках истории волжского села? Из каких источников? Чувство любви к родной земле заставило меня составить краткую историю этой земли, чтобы её продлили земляки-потомки и помнили добрую славу предков.

ВЛАДИМИР СУДАРКИН

Пиянза и Пенза

Город Пенза был назван по реке — небольшому левому притоку Суры протяжённостью всего шестьдесят километров, впервые упомянутому в «Книге Большому чертежу» (1627 год), то есть за тридцать шесть лет до основания крепости.

Среди топонимистов — учёных, занимающихся изучением географических названий, — нет единого мнения относительно происхождения гидронима Пенза. Высказывались предположения, что название реки переводится с мордовского как «конец, край» (владыч мордвы), от слова «пензака» — «топкая, болотистая». В последние годы опубликована гипотеза

теза, будто гидроним самодийского происхождения, появился ещё во времена неолита (!), то есть семь тысяч лет назад, и содержит в себе коми-ненецкое слово «пе» — «пересыхающий» и «нза» (прамарийское) «ручей».

Если первые две гипотезы неприемлемы из-за лингвистических неувязок, то третья, в сущности, вообще не имеет под собой никакой почвы. Предки ненцев — самодийцы — при неолите жили между Волгой и Уралом, а затем отошли далеко на восток, к Посурью не приближаясь. Нет в Коми АССР и в Ненецком национальном округе и рек с таким названием, они текут только лишь на территории, где проживала мордва: это гидронимы Пенза, Пензятка и Пейнзелейка. Видимо, истоки названия всё же следует искать в мордовских языках.

Увы, словари мокши и эрзи молчат. Термин, когда-то давший названия притоку Суры, давно вышел из употребления. Что же означает это странное имя?

Точного ответа дать невозможно, остаётся высказать гипотезу, укладывающуюся в рамки исторических событий в Посурье в годы новой колонизации верховий Суры мордовским населением в связи с хозяйственным освоением края после падения Золотой Орды.

На пустующие земли приходили мордовские земледельцы, охотники, бортники, вырубали на деревьях «знамёна» — знак собственности. В ту пору мордва ещё не приняла христианства, мужчины и женщины нарекались по древнему, языческому обычаю. Было у мордвы и имя Пенза. Правда, произошло оно по-разному, в зависимости от говоров и наречий, что зафиксировано в нескольких дошедших до наших дней мордовских исторических песнях и письменных источниках прошлого.

Вот несколько примеров. В 1508 году нижегородская мордва спорила, кому принадлежит один из участков леса. Свидетели сообщали: «...Леса, где мы стоим, истари великого князя Тумадеевского ухойей; а ходил его, господине, Шабала Пьянзин сын, мордвин». В исторической песне о встрече в неволе мордовского парня с давно угнанной в плен и не узнанной им сестрой брат отвечает на её вопрос: «Имя отца моего... Пьянза». Наконец, ещё в одной мордовской песне содержится прямое указание на то, что в первые годы после постройки города на Суре мордва произносила его название точь-в-точь как языческое личное мужское имя: «А у барина был друг, *пьянзенский* мужик. Он был головой над семью сёлами».

Все эти факты подтверждают возможность происхождения названия от антропонима.

Некий мордвин по имени Пьянза пришёл в верховье Суры и основал собственный ухойей, ставший впоследствии вятчинным. Участок леса, реки или земли стали называть по имени владельца, как это часто происходило и в более позднее время, когда, например, деревням присваивались имена помещиков.

М. ПОЛУБОЯРОВ

«Стоит с улыбкою недвижной...»

Со второй половины XI века степи Нижнего Поволжья стали заселять пришедшие с востока кочевые племена: русские источники называли их половцами, западные — команам, арабо-персидские — кыпчаками. Они входили в кимакский племенной союз, занимавший в X веке верхний Иртыш. Во второй половине XI века половцы совершают набеги на русские земли. С конца XI до начала XIII века они кочуют в Причерноморье, в степях Предкавказья, между Волгой и Яиком. Занятые ими степи стали называть Дешт-и-Кыпчак, русские летописи землю до Волги именовали Подем половецким.

В науке утвердилось мнение, что многочисленные каменные изваяния в восточноевропейских степях оставлены половцами. Ещё Рубрук в середине XIII века заметил: «Команы насыпают большой холм над усопшим и воздвигают статую, обращённую лицом к востоку» («Путешествие в восточные страны Платона Карпини и Рубрука». М., 1957, с. 102).

Больше всего каменных изваяний Восточной Европы концентрируется в районах Нижнего Днепра, Северского Донца и Дона, Северного Приазовья и Западного Предкавказья, где жили половцы. Есть каменные изваяния и на Нижней Волге. Саратовский областной краеведческий музей располагает хорошей коллекцией их.

Каменные изваяния, или бабы, как их до сих пор называют, в Астраханской области встречались в основном на севере, в Черноярском районе, где родился Велимир Хлебников. В 1888 году член Петровского общества исследователей Астраханского края К. Малиновский писал: «В Черноярском уезде есть и остатки каменных баб. По крайней мере, в сёлах Крестовской волости, по сведениям, доставленным сельскими властями, крестьяне находили каменных баб в рост человека, но без ног» (Государственный архив Астраханской области, ф. 857, оп. 1, д. 20, л. 2).

Прочтём поэму В. Хлебникова «Каменная баба» глазами историка.

«И, где хохочущей русалкой Над мёртвым мамонтом сидишь» — степи Нижнего Поволжья называют уникальным палеонтологическим складом. До сих пор в обрывах волжских береговых террас, особенно, когда вода после половодья, подмывает берега, отступает, в слоях земли можно увидеть кости древних животных, в том числе и мамонта.

«А девы каменные нивы — Как сказки каменной доски» — первая стадия работы над каменной статуей в ракушечном карьере заключалась в обработке прямоугольного блока необходимых размеров, который затем превращали в уплощённые стеловидные скульптуры.

«Камень кумирный», «Вас древняя воздвигла треба» — каменные изваяния стояли обычно в отдалении от могил в специальных святилищах, они изображали предков, им поклонялись и просили их о помощи. В конце XII века Низами, руководствуясь, вероятно, рассказами своей жены — половецкини Афак, создал картину покло-

нения кипчаков-половцев идолам:

И приходит кипчаков сюда племена,
И пред идолом гнётся кипчаков спина.
Пеший путник придёт или явится конный,—
Покоряет любого кумир их исконный.
Всадник медлит пред ним, и, коня придержав,
Он стрелу, наклоняясь, вонзает меж трав.
Знает каждый пастух, прогоняющий стадо,
Что оставить овцу перед идолом надо.

«Они суровы и жестоки» — нередко половцы приносили своим изваяниям и человеческие жертвы; верили, что уничтожение статуи ведёт к различным бедам. По мнению известного советского археолога С. А. Плетнёвой, отзвуки человеческих жертвоприношений каменным статуям сохранились в русских сказках. Так, помощник Ивана-царевича богатырь Булат (характерно тюркское его имя!), которого иногда называют Кощей, погибает, превращаясь в каменную статую (окаменеваёт). Оживить его можно, пролив на камень кровь детей (С. А. Плетнёва. «Половецкие каменные изваяния». М., «Наука», 1974, с. 73). Все проезжающие обязаны были приносить жертвы статуям и поклоняться им. Как утверждает С. А. Плетнёва, ещё в начале XX века в некоторых украинских деревнях каменных баб, стоящих у хат и ворот, мыли, белили и украшали перед каждым летним церковным праздником, при этом просили их о помощи на поле и в разных делах; верили, что бабы могут наказывать за непочтение к ним.

«Их бусы — грубая резьба» — бусы изображались на многих половецких статуях, хотя мода на ношение ожерелий половчанками не была повсеместной, большинство женских статуй изображалось без бус. Нагрудные украшения включали ожерелья из подвесок или из крупных грубо сделанных квадратных или круглых бусин.

«Стоит с улыбкою недвижной» — лица статуй индивидуализированы, обычно они округлые, с большими щеками, круглым полным подбородком, иногда даже двойным, рот — в виде небольшого овала с выемкой в середине, попадаетея и двугубая форма, изредка встречаются статуи с прочерченным тонким ртом, как бы улыбающимся.

«И на груди её булыжной» — половчанки играли заметную роль в политической и хозяйственной жизни, умерших женщин почитали как покровительниц семьи или рода. С. А. Плетнёва считает, что специально выделенные женские черты изваяния, в частности большая, как правило, обнажённая грудь, позволяют предполагать, что статуи имели и обобщённое значение благодетеля и покровителя семьи и рода. Грудь — символ жизни и силы. В сказках многих тюркоязычных народов богатырь, насосавших материнского «золотистого и густого» молока, становится непобедимым.

«Её развезанные косы», «Без гребня и без булавок» — статуи встречаются как однокосые, так и чаще двукосые или трёхкосые — причёска, действительно, «без гребня и без булавок».

«Серо-белая, она Здесь стоять осужде-

на» — статуи изготавливались в основном из сероватого мелкозернистого песчаника, мягкого, хорошо поддающегося обработке.

«Глаза — серые доски — Грубы и плоски» — часто у женских уплощённых статуй нет никаких следов глаз, бровей, носа и рта, иногда глаза прочерчены в форме петли или они треугольные, слегка раскосые.

«Дева степен уж не та!», «Ведь пели пули в глыб лоб...» — в конце XIX века статуи использовались крестьянами «вместо столбов в изгородях» (Государственный архив Астраханской области, ф. 857, оп. 1, д. 20, л. 2), тысячи статуй уничтожались или употреблялись для хозяйственных нужд, в войну они служили мишенями. Из тысячи изваяний, стоявших когда-то в южнорусской степи, сохранилось и дошло до наших дней несколько сотен.

Поэма «Каменная баба» — ещё одно подтверждение исторической достоверности произведений Велимира Хлебникова.

Е. ШНАЙДШТЕЙН,

В поисках «Слова...»

Стылый октябрь 1945 года. Наш товарняк затормозил на станции Николо-Полома Северной железной дороги. Две роты рабочего батальона разномастной толпой ринулись в вокзал отогреться. Через полчаса команда: «Выходи! По машинам!» Разбитая вздыг дорога привела к лесозаводу имени Долматова Антроповского, ныне Парфеньевского, района Костромской области. Директор лесозавода предложил самим подыскивать жильё. В ближайшей деревне Поломе я нашёл приют в доме Екатерины Ивановны Сошниковой.

Благодаря хозяйке дома я познакомился с Павлом Александровичем Сухановым — владельцем большого собрания старинных книг. Заметив, что я читаю Библию на славянском, которая была у Екатерины Ивановны, старик спросил: «А рукописи читал?» Я ответил, что приходилось. «А у меня есть одна старинная книга, — сказал Суханов. — Лет шестьсот ей, наверное. „Слово о полку Игореве, сына Олега“ в ней есть».

Честно говоря, меня не очень заинтересовали его слова. Но всё же я попросил Суханова дать почитать мне эту книгу. «Э, братка! То книжка не для таких грешников, как вы, безбожники! Это — святое писание, а не книжка про любовь. Такие охламоны, как ваш брат, поймут ли што в ней?» — «Пойму, Павел Александрович. Видите, в Библии разбираюсь. А это — самое святое из святых писаний». — «Ладно. Дам. Но, паря, не больше чем на одну ночь»...

Не скажу, что чтение рукописи произвело на меня тогда большое впечатление, никаких деталей я не запомнил, осталось только в памяти название.

В июле 1946 года меня направили учиться в Алапаевский геологоразведочный техникум. Эпизод с рукописью был прочно забыт. Учёба, затем экспедиции, прочие заботы и перипетии несладкой жизни бывшего детдомовца,

к тому же «члена семьи изменника родины» (отец был репрессирован в 1937, а реабилитирован посмертно лишь в 1958 году), менее всего настраивали на мысли о древней русской литературе. Вновь вспомнил я о книге в 50-х годах и лишь с конца 60-х начал систематический поиск виденного в юности фолианта. К великому прискорбию, Павел Александрович умер, а его библиотечка разошлась по рукам верующих, родных, друзей, знакомых и незнакомых...

Главным моим помощником в многолетних поисках была Екатерина Ивановна Сошникова. Мы исходили не один десяток вёрст по окрестным деревням и починкам: Истомино, Будино, Гремячий, Николо-Полома... Многое удалось собрать, но желанного рукописного сборника — не отыскали.

Из очередного вояжа в Полому и окрестности летом 1971 года я заехал в Ярославль, где встретил Лилию Афанасьевну Костерину, сотрудницу Ярославского музея-заповедника. Она — первый работник учреждения культуры, кому я рассказал о своих поисках. Она и подала мысль обратиться к учёным.

Зная по «Хрестоматии по русской военной истории» профессора Л. Г. Бескровного, поехал к нему в Москву. Благоклонно выслушав мой рассказ, Любомир Григорьевич сказал: «Рекомендую обратиться к академику Борису Александровичу Рыбакову. Сам я, к сожалению, не специалист по „Слову“».

Нашёл академика, объяснил Борису Александровичу цель обращения к нему. Судя по всему, он не поверил моему рассказу, лишь посоветовал продолжить поиск самому, разрешив беспокоить его, если у меня появится что-то новое, касающееся разыскиваемой рукописи.

Я рассказывал о том, что видел рукопись «Слова», учёным из института славяноведения и балканистики, Московского университета, но мои просьбы о широких поисках рукописи отвергались. Прекратив бесплодные попытки заинтересовать учёных, я не оставил надежды найти рукопись, но целиком отдался поискам не мог. Время жёстко ограничивало. А если быть до конца откровенным — не всегда позволял отправиться в вояж куцый семейный бюджет...

В этой хмурой беспросветности ясным лучом блеснуло письмо ныне доктора филологии Ю. К. Бегунова от 27 декабря 1980 года: «Глубокоуважаемый Михаил Тимофеевич!.. От Лилии Афанасьевны Костериной, сотрудницы вновь открытого музея «Слова» в Ярославском музее, я узнал о Вас и хотел бы, если бы Вы были столь любезны, продолжить Ваши поиски. Дело в том, что я летом 1981 года собираюсь в Кострому и область с экспедицией, помогающей Костромскому музею... Это письмо к Вам, стало быть, и от имени общественности, которая просит Вас поделиться своим рассказом. Вот вопросы:

1) Когда, где, у кого Вы видели рукопись «Слова»? 2) Держали ли её в руках, лично ли читали текст, и какой (хотя бы в пересказе, о чём)? 3) Есть ли у Вас полная уверенность, что это была именно Песнь об Игоре в походе? 4) Если уверенность точная

есть, то как Вы её можете обосновать, чем подкрепить? 5) ... как выглядела рукопись и всё о владельце её?..

Вы понимаете, конечно, что ответы на них имеют государственное значение, поэтому очень прошу Вас внимательно отнестись к моей просьбе.

С уважением к вам Юрий Константинович Бегунов».

Получив ответы на вопросы, Ю. К. Бегунов задавал новые и новые. В письме от 31 марта 1981 года: «...То, что Вы ответили и как ответили — обстоятельно, сердечно, искренне — убеждает меня в том, что зимой 1945/46 гг. Вы держали в руках подлинник, только вот как же Вы читали «Слово о полку Игореве», если не знали русской палеографии и не умели читать полууставный почерк? Что именно старик Вам говорил об этом сборнике и памятнике, понимал ли, что хранит, и если понимал, почему не отвёз его в Москву в юбилейном 1938 г.? И теперь, почему Вы спохватились через 10 или более лет, а не раньше?.. Сколько листов имел сборник? Его форма? Переплёт? Почерк — один?..»

Так как мои ответы Юрию Константиновичу могут послужить информацией для тех, кто всерьёз пожелает продолжить наши поиски, процитирую их:

«...Древнерусскую грамоту Ваш покорный слуга знал с дедомовских времён. В селе Дашеве (ныне посёлок городского типа Ильинского района Винницкой области УССР) наш детдом № 1 размещался в бывшем имении графа Чернецкого... В 1938 году «дитлахы», то есть мы, воспитанники, обнаружили в подземных казематах рукописные книги. Наплевавшее отношение воспитателей привело к гибели этой, видимо, бесценной для нашей истории находки. Книги были частью разобраны обслуживающим персоналом из верующих, считавших их святыми, частью разлетелись по листочкам вокруг усадьбы, частью торговки разобрали на обёртку. Несколько рукописных фолиантов забрал и наш конюх дед Цима — Тимофей. Он научил меня читать все почерка рукописных манускриптов наравне с молитвами. Отче наш, Богородица-дева и прочие. Потом, когда нас бросили на произвол судьбы, это здорово выручило меня: в селе Наливайке Кировоградской области я по найму пас людской скот и... читал псалмы над усопшими по ночам. Здесь тоже оказалась каким-то чудом рукопись хроники «с картинками» — лицевой свод, весьма похожий на Кёнигсбергскую рукопись. В 1953 году я вновь наведёлся туда. Поздно! Сын женщины, у которой хранилась книга, ничуть не раскаиваясь, признался: «Ту хламьдну книгу я сам спалыв, як тилькы маты помэрла». Можете понять моё самочувствие... Это произведение в своё время несколько раз перечитывал. Вот откуда идут мои познания древнерусских почерков, в том числе и полуустава, о коих в те времена Ваш покорный слуга и понятия не имел. Но юсы, ижицы, омеги, пси, эпсилонь и прочие для меня были такими же русскими литерами, как остальные: спасибо деду Циме!»

«Почему П. А. Суханов не отвёз рукопись

сборника в Москву в юбилейном 1938 году?» Потому что, во-первых, очевидно, и понятия не имел о его ценности, а во-вторых, боялся опалы... Да и мог ли он, православный христианин, отвезти своё сокровище; память о брате, монахе, кому бы то ни было? Увы! — я глубоко сомневаюсь уже потому, что книгу он и выносить из избы боялся. До сих пор не пойму, почему он заговорил о ней со мной. Почему дал прочесть, хотя и на одну ночь. Видимо, роль ключа «открытия души» сыграл фолиант Библии. Другой причины — не вижу. Да и столь ли это важно?!

Книга была написана на лощёной бумаге или пергамене (?), сильно запачкана каплями воска, с захватанными от листания нижними краями, почерк с юсами, титловкой, строчными знаками. Абзацы отделялись мальтийскими крестиками. Инициалы были выполнены тушью, слегка порывевшей, с отделкой серебряными чернилами. Отдельные абзацы и главы были написаны киноварью, местами выцветевшей до бледно-жёлтого или палевого. Вот всё, что я припоминаю. Уж больно мало времени была она у меня в руках. Ни сколько листов, ни разницы почерков — не припомню. По объёму — листов 450—500. С неровными обрезами, выпадающими листами. Переплёт — деревянные дощечки, обтянутые почерневшей и потрескавшейся кожей с элементами точечной орнаментовки на лицевой стороне, с оборванными петлями бронзовых застёжек. Кажется, бронзовыми угольниками — но это неточно. Верхняя обложка — оторвана: перетёрлись нитки. С начала не хватало нескольких листов, видимо, потерянных. Других примет — не помню.

«Почему вы спохватились через 10 или более лет, а не раньше?» Потому, что уехал учиться, а затем работать. Да и интерес к «Слову» возник гораздо позже. К тому же, откровенно говоря, ценности памятника не знал. Были и другие причины, о которых я вам расскажу тэт-а-тэт: они не для бумаги».

Я умалчивал о том, что был поднадзорным. Несколько раз меня пытались исключить из института, хотя я учился без отрыва от производства.

Чрезмерная занятость на основных службах не позволила нам с Бегуновым навестить По-

лому и другие грады и веси, в коих адреса и указанные в них люди оставались мною не проверенными. Ко всему прочему 4 апреля 1984 года меня сразил тяжелейший инфаркт миокарда. Мечты отыскать желанный манускрипт канули в Лету...

Я сообщил Ю. К. Бегунову адреса всех лиц, с которыми контактировал в розыске рукописи, дабы он мог продолжить начатое. А время шло... Вероятно, разочаровавшись в успехе сего почти безнадежного дела, мой адресат отзывался всё реже и реже и наконец затих.

Боясь, что, случись со мною непроправимое, многолетние усилия пойдут прахом, я 12 октября 1986 года все материалы продублировал Л. А. Костериной для сотрудников экспедиции «Слова» Ярославского музея-заповедника. В 1988 году туда же передал старопечатные и рукописные книги, со слов последних владельцев принадлежавшие П. А. Суханову, а также все собранные мною за прошедшие годы рукописные книги.

Письмом от 13 августа 1988 года сотрудница музея «Слова» Т. И. Гулина сообщила, что археографическая экспедиция в Полому и окрестности состоялась. Как первая ласточка не приносит весны, так и эта экспедиция не принесла успеха. Но члены экспедиции убедились, что предположения мои не беспочвенны, прислали ворох приветов от поломских знакомых и дорогих мне людей. И огорчила, известив о кончине одного из многих помощников — учителя Павла Ивановича Смирнова...

Первая археографическая экспедиция Ярославского музея-заповедника не нашла рукописи, но надеюсь и верю — найдутся и специалисты, и энтузиасты, которые не пожалеют времени, бескорыстного труда и сил для розыска рукописи, а их усилия вознаграждаются глубокой признательностью и благодарностью патриотов нашей великой культуры и Отечества.

М. ГОЙГЕЛ-СОКОЛ

От редакции: Если автор в юности держал в руках и не «Слово», а другую старинную рукопись, было бы непростительной ошибкой отказаться от дальнейших поисков.

О НАШИХ АВТОРАХ

□ Сергей Викторович **БАРДИН** родился в 1949 году, по образованию инженер-физик. Лауреат премии имени А. М. Горького за первую книгу «Целый день город». Автор книги «Мысли холодные пламя», публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Смена», «Сельская молодежь» и других. Член СП СССР. Живёт в Москве.

□ Юрий Васильевич **КРАСАВИН** родился в 1938 году в селе Мелковичи Новгородской области. Окончил Калязинский машиностроительный техникум и Литературный институт. Автор многих повестей и рассказов. Член СП СССР. Живёт в г. Конакове Калининской области.

□ Елена Николаевна **КРЮКОВА** родилась в Куйбышеве. Окончила Московскую консерваторию по классу фортепьяно и органа. Стихи Е. Крюковой печатались в журналах «Москва», «Нева», «Юность», «Студенческий меридиан», «Волга», «Крестьянка», в альманахах «Поэзия», «День поэзии». Автор книги стихов «Колокол». Живёт в Горьком.

□ Ольга Александровна **СЕДАКОВА** родилась в Москве. Закончила филологический факультет Московского университета, кандидат филологических наук. Книга стихов издана за рубежом (УМСА-PRESS, 1986). В Советском Союзе статьи, переводы, стихи публиковались в сборниках, в журналах «Русская речь», «Дружба народов», «Родник» и др. Живёт в Москве.

Алан Георгиевич **ЧЕРЧЕСОВ** родился в 1962 году в городе Орджоникидзе СО АССР. Окончил Северо-Осетинский университет. Кандидат филологических наук. Публиковался в журнале «Новый мир».

На титульной странице автолитография Е. И. Мальцевой «Окунёвая заводь»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. Г. БОРОВИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. В. БОЛКУНОВ (заместитель главного редактора), **В. Ф. ВОЛОДИН** (зав. отделом современной прозы), **В. Н. ПАНОВ** (зав. отделом публицистики), **В. Ю. ПОТАПОВ** (зав. отделом публикаций), **В. И. ПЫРКОВ** (зав. отделом поэзии), **А. Е. САФРОНОВА** (зав. отделом критики), **Н. В. ШУЛЬПИНА** (ответственный секретарь)

Технический редактор Г. И. Иванова

Корректор Э. Р. Полянкова

Адрес редакции: 410002, Саратов, набережная Космонавтов, 3

Телефоны: зам. гл. редактора — 26-44-92, отв. секретарь — 26-07-89; отделов журнала: прозы и публикаций — 26-15-35, публицистики — 26-07-98, поэзии и критики — 26-06-63.

Сдано в набор 23.02.90 г. Подписано в печать 29.04.90 г. НГ 53456. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная № 2. Офсетная печать. Усл. печ. л. 15,48. Усл. кр.-отг. 17,253. Уч.-изд. л. 19,045. Тираж 80 000 экз. Заказ 706. Цена 80 коп.

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59.

80 коп.

Индекс 73067